

ISSN 0132-0637

2
Октябрь

2001

Октябрь

2 2001

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

2001

ФЕВРАЛЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вячеслав ПЬЕЦУХ. Деревенские дневники	3
Давид МАРКИШ. Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля. Окончание	33
Владимир САЛИМОН. Фактура грубого холста. Стихи	96
Александр ХУРГИН. Воскресный троллейбус. Рассказ	102
Павел БАСИНСКИЙ. Высокая болезнь. Исповедь графомана	107

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Северное измерение

Валерий ПИСИГИН. Письма с Чукотки. Продолжение	113
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Кирилл АНКУДИНОВ.

Сдвиг

157

Панорама

Валерий ШУБИНСКИЙ о кн. Бориса Житкова «Виктор Вавич». * Борис КОЛЫМАГИН о кн. О. Проскурина «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест». * Дарья СУХОВЕИ о кн. Владимира Гандельсмана «Тихое пальто». * Максим КУЗИН об альманахе «Красные холмы». * Александр ЛЮСЫЙ о кн. С. С. Хоружего «О старом и новом». * Андрей ЛЕВКИН о кн. Кирилла Кобринина «Описание и рассуждения». * Владимир ШПАКОВ о кн. Адольфо Биой Касареса «Изобретение Мореля». * Н. ЛУКАС о кн. Николая Плотникова «Deutschland? Aber wo liegt es?». * Лариса ДАВТЯН о кн. О. А. Клинга «Текучесть твердых форм»

162

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.

Поэзия жизни. Зарисовки с натуры

180

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.

Табулатура

186

Титульный лист

Рубрику ведет Александр ЯКОВЛЕВ

189

Главный редактор

Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА

отв. секретарь

Алексей АНДРЕЕВ

зав. отделом прозы

Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

зав. отделом критики

Виталий ПУХАНОВ

проза

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации выкупает для библиотек России 853 экземпляра журнала.

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 850 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности

рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 25.12.2000. Подписано к печати 19.01.2001. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 6385 экз. Заказ № 3416. Цена 39 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Деревенские дневники

ОСЕНЬ

Прошлое нашей деревни загадочно и темно. Еще предвоенное время здесь помнится кое-как, но пора коллективизации-феодализации — это уже темно. Тем более удивительно, что среди местных крестьян живы некоторые обрывочные сведения, относящиеся Бог весть к какой старине, когда холера имела хождение наравне с разменной монетой и целые волости сидели на лебедь. Например, у нас говорят, будто бы в ближайшем селе Покровском, куда мы за хлебом ходим, в 1812 году крестьяне захватили отряд шаромыжников (это от французского *chêne ami*), который промышлял в наших местах насчет провианта и фуража. Еще говорят, что окрестные земли, деревни и землепашцы когда-то принадлежали помещику Владиславу Александровичу Озерову, поэту и драматургу, знаменитости начала XIX столетия, который написал «Эдип в Афинах», сошел с ума, заперся в своей тверской деревне, умер сорока семи лет отроду и был похоронен на родовом кладбище, у южной стены церкви Преображения-на-Ключах. Церковь, понятно, давно снесли, однако надгробный камень еще стоит. Посвоему удивительно, что этот камень еще стоит, хотя бы и попорченный инскрипциями непристойного содержания, особенно если принять в расчет, что накануне революционных преобразований орловские землепашцы разрыли могилу Фета, выкрали из его гроба уланскую саблю и пропили оную в кабаке. Когда основана наша деревня, не знает никто, скорее всего давно, может быть, еще при Михаиле Тверском, поскольку место уж больно приветное в рассуждении красот и разного рода выгод.

Затруднительно угадать, откуда у нашего крестьянства эта девичья память и явное небрежение своим прошлым. Видимо, вот откуда: минувшее в родовом сознании русского земледельца настолько отвратительно, что лучше о нем забыть.

Размышления этого рода, может быть, к месту перед обедом, а с утра пораньше они — обуза, поскольку с утра пораньше нужно думать не про девичью память нашего крестьянства и не про уланскую саблю Фета, а про то, как продолжить фразу: «Однажды холодным осенним утром...» — которая накануне как-то не задалась. Паниковать по этому поводу пока не приходится, ибо даже у такого мастера, как Тургенев, бывали дни, когда он напишет: «В один прекрасный день...» — потом вычеркнет «прекрасный», потом «один», наконец «день» и в сердцах выведет на листе известное национальное ругательство из трех слов. Как бы сегодня не впасть в эту многоуважаемую методику...

Солнце только-только поднялось из-за рощи и облило деревню холодным золотом, которое как-то болезненно, знобко отозвалось в траве, схваченной инеем, в пергаментных листьях клена, в крышах изб, поседевших за ночь, и особенно в гроздьях рябины, возбуждающих метафорическое чутье: похоже, точно за деревьями забыли пожарный автомобиль. Студено, не студено, но в смысле температурного режима немного не по себе, да еще в рукомыльнике, приколоченом к склизкому телу березы, льдинки стучат друг о друга и, кажется, перешеп-

тываются, как раки в лукошке,— брр! Кстати, о раках: в конце сентября они начинают ползать по каменистому дну нашей речки и, если не поленишься, их можно пробасть наловить при помощи обыкновенного марлевого сачка; из раков варится славный суп, только уж больно канительное это дело, раковое масло нужно из панциря выжимать, особым способом варить зелень, так что в другой раз предпочтешь просто сварить их и съесть под пиво. Кстати, о пиве: чудные дела твои, Господи, в соседней деревне Козловке продается в розлив превосходное немецкое пиво, и это обстоятельство навевает такую мысль: все-таки жизнь не стоит на месте, все-таки жизнь худо-бедно идет вперед; ведь вот какой субъективный идеализм — немецкое пиво свободно продается в утомленной тверской деревне, в то время как тут и лен уже не растет, в то время как тут еще не простыла память о деревенских ребятишках, щеголяющих в отцовских кирзовых сапогах, о налоге на яблони, о сельмаге, в котором налицо водка, весовая килька, галоши и в мягкой обложке биография Каменного Вождя.

На деревне покуда тихо, даже петух соседки Егоровны покуда не на посту. Чуть позже, когда уже выкушаешь утреннюю ложку меда, тягучего и благоуханного, похожего на расплавленное золото, вдруг услышится, как в ближней роще невидимый дятел оттянет стремительную барабанную дробь, оттянет — и замолчит. Кстати, о меде: мед мы берем в деревне Сенцово за четырнадцать километров, у одного древнего старика, бывшего комбрига Кручинкина, который держит каких-то особых пчел. Говорить он может только о своих питомцах-кормильцах, единственное его горе — это если рой улетел; самое сильное чувство — ненависть к производителям балованного меда; о трех кампаниях, в которых дед принимал участие, он не помнит решительно ничего. То же по-своему счастливый человек, даром что поздновато нащупал истинную стезю.

Так вот, по осенней поре, когда деревня пустеет, устанавливается какая-то праздничная и одновременно сторожкая тишина. Поэтому каждый новый звук — событие и всякий шум в радость, даже если просто ветер звенит в электрических проводах. В другой раз вслушиваешься, вслушиваешься в окрестности — ничего; а иной раз вдруг мотор заурчит — Ефимыч на уколы поехал, или на дальнем конце деревни давеча кто-то недогулял и с утра пораньше поет частушку:

Меня милый провожал
Вон до той орешины,
Если вы не верите,
То там штаны повешены.

Или Егоровна поднимется ни свет ни заря и ну давай честить своего черного петуха:

— Сволочь ты, а не птица! Ты чего наделал, гад такой?! Ты чего, я тебя спрашиваю, натворил?!

Голос ее звучит до того драматически, и так в нем чувствуется слеза, что невольно подумаешь: интересно — а чего он действительно натворил?..

Итак: «Однажды холодным осенним утром...» — хорошо, а что дальше? Дальше-то что, собственного говоря? А всё шаромыжники, драматург Озеров, немецкое пиво, налог на яблони, комбриг Кручинкин и уланская сабля Фета.

У меня в мансарде висит на стене портрет Федора Михайловича Достоевского, который обыкновенно смотрит на меня несколько иронически и с укором, точно желает сказать что-нибудь неприятное, например: «Ну чего ты дурью маешься? Всё равно тебе не написать — “Было так сыро и туманно, что на силу рассвело”». А я и не спорю: конечно, не написать. Зато я литератор положительных убеждений, на поляков и евреев не в обиде, принципу самодержавия не сочувствую, слепо исповедовать православие не дано. Хотя вот, например, Герцен — тоже был литератор положительных убеждений, однако он скорее всего, не задумываясь, поменял бы свои положительные убеждения на способность сочинить фразу: «Было так сыро и туманно, что на силу рассвело».

Есть люди, давным-давно ушедшие в мир иной, с которыми охота поговорить. В ряду таковых я числю Александра Ивановича Герцена, и даже, может быть, он из первых, с кем охота поговорить. В частности, я бы его спросил:

— Что вы имели в виду, когда утверждали, будто русский крестьянин — человек будущего?

— Сейчас объясню... Видите ли, в то время как социальное движение на Западе пришло к самоотрицанию, единственно русская крестьянская община внушает надежду на лучший мир. Почему?.. Да потому, что наша община от века сложилась таким образом, что она представляет собой зародыш, или, если угодно, модель предбудущего, по мере возможности справедливого общественного устройства. Из коллективного труда на основе выти, из почти ежегодного передела земель по числу тягол вытекают естественный коммунизм русского крестьянина и принцип федеративного устройства государства, по которому когда-нибудь пойдет мир.

— Ну положим, по этому пути мир никогда не пойдет или пойдет в таком отдаленном будущем, которое приближается к понятию «никогда».

— Отчего же?

— Да оттого, дорогой Александр Иванович, что общинность, коммунизм тож представляет собой тупиковый путь развития, если учесть наличные производительные силы и главным образом наличную нравственность нашего мужика. Ведь что такое община? А вот что: я хоть и пропьянствую посеvную, а все равно мир не даст мне с голоду помереть. И лелеять свой надел я не стану, лишней телегой навоза его не уважу, «троить» или «ломать», про это и думки нет, потому что в будущем году на ней корячиться будет уже сосед...

— Вы всё об экономической стороне дела, между тем цель существования крестьянской общины — отнюдь не успехи земледелия...

— А что же?

— А вот что... Видите ли, у русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма. Следовательно, община есть прежде всего условие и гарант существования нации как здорового нравственного организма, ибо за рамками общины русский мужик хитрован и вор. С другой стороны, коллективное начало заключает в себе огромную силу самосохранения, недаром благодаря общине русский народ пережил монгольское варварство, императорскую цивилизацию, немецкую бюрократию и тысячу мелких бед. Из всего этого вы видите, какое счастье для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной. Какое это счастье для нашего народа, что он таким образом остался вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину, а вместе с ней и общественную мораль. Потому-то русские крестьяне и держатся за общину, как апостолы за Христа.

— Полагаю, уважаемый Александр Иванович, русский крестьянин потому обеими руками держится за общину, что он крайне несамостоятельный человек. И воспитала его таким именно ваша драгоценная община, для которой характерны круговая порука, безответственность, прохладное отношение к труду, небрежение собственностью, коллективное времяпрепровождение под водочку и резкая антипатия по отношению ко всякому деятельному элементу, особенно к сельскому кулаку. Какая же это нравственность? Это, прошу прощения, не нравственность, а разврат! Потому русский человек ни в грош не ставит личную свободу, без которой немислим никакой прогресс, потому он всегда с легким сердцем передоверял административную ответственность шведам, грекам, монголам, немцам и людям без национальности, каковыми были наши большевики. И потом: если земледельческая община не преследует своей главной целью успеха в земледелии, то это уже будет вместе Фихте и ламаизм. Если бы речь шла о религиозной секте, тогда понятно, но ведь община есть прежде всего хозяйственный организм! Одним словом, налицо чисто русские чудеса: лучше перебиваться с петельки на пуговку, но только чтобы необременительно, душевно и со-обща. А я-то, Иван-простота, гадаю: чего это у немцев на песках урожайность шестьдесят центнеров зерновых с гектара, а у нас на черноземах от колоса до колоса не слышать бабьего голоса...

— Пожалуй, оно и так. Да только в том-то все и дело, что европейский путь развития, который зиждется на свободе личности, совершенствовании произво-

дительных сил, получении избыточного продукта, обеспечивающего свободу личности, — это путь бесперспективный и даже гибельный, ибо в рассуждении количественного результата человек давно свои возможности исчерпал. Не даром нынешний европеец и одет чисто, и смотрит гордо, а в сущности, он пожилой ребенок, который как наисерьезнейшими делами озабочен форменной чепухой. Так вот, истинный путь развития, видимо, должен быть направлен на уничтожение социальных противоречий как источника всяческой заразы и вместе с тем как препоны нравственному прогрессу. В этом смысле надежней, действительно, чтобы наг да благ.

— Что наг — это понятно, а вот что благ — это еще вопрос. У нас почему-то думают, что бедность чуть ли не главный источник нравственности, а я считаю наоборот: нет у нравственности более страшного врага, чем бедность, которая человека унижает, расслабляет, ожесточает, а главное, подчиняет воле проходимца и дурака. Оттого у нас и фермеров жгут, оттого у нас Циолковский проходил под рубрикой городского дурачка, футбольные поля кукурузой засеивали, оттого наши колхозы — в сущности, те же крестьянские общины — наиболее органичная форма хозяйствования на селе, оттого русский крестьянин, повторяю, существо слабое, несамостоятельное и склонное к витанию в облаках.

— То-то и хорошо! Если человечество поймет, а оно в конце концов неизбежно должно понять, что спасение не в техническом прогрессе, но в благоустройстве общества, то все преимущества как раз оказываются на стороне существа слабого, несамостоятельного и склонного к витанию в облаках. Согласитесь, что такой человек, воспитанный в правилах коммунизма, более предрасположен к участию в духовном движении, чем европейский бургер, то есть индивидуалист, делец, скряга и интриган... Одним словом, нельзя не порадоваться тому, что Россия сильно отстала от Запада на пути социально-экономического прогресса, на котором, например, Франция рванула да обожглась.

— Да чему же тут радоваться, позвольте?! Ведь в конце завоюет нас какой-нибудь Лихтенштейн!

— А пускай завоюет! Во-первых, лихтенштейнцы принесут с собой дисциплину и совершенную агротехнику, а во-вторых, они очень скоро разделят судьбу татар, которые давно по-татарски не говорят, водочкой увлекаются и не чужды витанию в облаках.

— Сила русского яда общеизвестна, но, в общем, у нас получается ерунда. То есть у нас получается, что русский народ задолго до Гегеля пришел к выводу: что налево пойдешь, что направо пойдешь — одинаково погибать. Отсюда единственный источник счастья в качестве отсутствия несчастий — сиди и жди.

— Именно поэтому я и утверждаю, что человек будущего — русский простой мужик.

— Как говорит один заведующий водонапорной башней: «Die Zukunft uns* рассудит».

— В этом сомнений нет.

Между прочим, и в самом деле заведующий водонапорной башней в колхозе «Передовик» зачем-то долго учил немецкий язык, да так и недоучил. Оттого всякий спор, хотя бы о преимуществах колхозного строя на селе перед частной собственностью на землю, он заканчивает туманной фразой «Die Zukunft uns рассудит» — и таким образом оставляет собеседника в дураках.

А ведь как подумаешь, действительно за последние пятьдесят лет русский крестьянин сделал беспрецедентный рывок вперед. Он теперь на полунемецком говорит, в то время как еще пять десятилетий назад не знал культуры отхожего места и был настолько не развит, что не понимал родной фразы, если в ней было больше четырех слов.

Ну хорошо, а что же у нас в итоге? А то и в итоге, что: «Однажды холодным осенним утром...» — более ничего.

* Будущее нас

В те дни, когда не задается литературная работа, когда, бывает, за несколько утренних часов из головы не выдавишь ни строки, так гадко становится на душе, точно ты совершил мелкое, но постыдное преступление, как-то: вывалил соседу за забор мусорное ведро. Просто иной раз хочется отравиться, но не совсем, а например, чернилами, как травилса Борис Леонидович Пастернак. По крайней мере есть в такие дни вовсе не хочется, даже если фантазия подсказывает тебе: возьми голавлика, который в изобилии водится в нашей речке, развали его вдоль на две половины, обваляй в муке с яйцом и мелко-пемелко порубленной зеленью и поджарь; если подать к рыбе, приготовленной таким образом, пару-другую печеных картофелин со своего огорода, сладко дымящихся, распространяющих бодрый дух, то даже может произойти некоторое помутнение в голове.

С горя хорошо бывает попить чайку с медом от комбрига Кручинкина да пойти на зады поискать себе какое-нибудь мужское занятие, чтобы не так советно было жить. Солнце светит как-то квело и смотрит так, точно ему самому студено, небо белесое, как будто оно выгорело за лето, откуда-то тянет томнопьяющим дымом — то ли баньку где топят, то ли опавшие листья жгут, — светятся в пожелтевшей траве светло-зеленые яблоки, на заборе сидит сорока и мерно помахивает хвостом. С другой стороны, это удивительно, какое пиршество осени совершается на задах: картофельная ботва стоит в каре плотно, как подразделение егерей, свекла цвета свернувшейся крови чуть не наполовину вылезла из земли, стручки русских бобов так тяжело налились, что того гляди лопнут, помидорные кусты распространяют тяжелое благоухание, кабачки бледными бомбами виднеются из-под листьев, которые больше похожи на лопухи. Так: можно собрать кабачки, обмыть и положить на просушку, можно напилить дров для камина, привести в порядок дверь баньки, забухшую от дождей, залатать прохудившуюся крышу сарая, поправить обвалившуюся поленницу, а то — гори всё синим огнем: лукошко в руки — и по грибы.

Дорога к грибным местам лежит через гречишное поле, где любители сморчков еще в мае протоптали тропинку, узкую и целеустремленную, как стрела, потом березовой рощей, где в июле чуть ли не мешками собирали колосовики, потом овсами, уже обсыпающимися, которые давно пора убирать; наконец, тропинка заводит в лес, до того знакомый, что тут знаешь местоположение каждой консервной банки. Кстати заметить: вроде бы глухая тверская глушь, дорога на нас кончается, и все-таки русский человек сумел себя доказать — столько всякого мусора валяется под ногами, точно это парк культуры и отдыха, а не лес. Всю Тевтобургскую чащу пройдешь насквозь, спички обгорелой не увидишь, а у нас русачок почему-то пренебрежительно трактует родную землю, то ли оттого, что ее много, то ли оттого, что он на нее в претензии: дескать, как ни потей, а все равно выходит двенадцать «центнеров с га».

Лес уже окончательно осенний — притихший настолько, что шелест сухих листьев под ногами мешает думать, видно далеко, свет сквозь полуголые кроны деревьев пробивается какой-то пожухший и матово, словно нехотя, отражается в консервной банке, в гроздьях бузины, в зеленоватой коре осин. Ноздри волнуется явственный грибной дух, которым тянет от низин, на пути то и дело попадает паутина, усаянная капельками росы и оттого похожая на ожерелья из крошечных бриллиантов, сосны скрипят, как двери.

Мало с чем сравнимое удовольствие, такое же острое, как если у тебя на руках восемь взяток, а в прикупе два туза: вдруг углядеть в траве темно-оранжевую шляпку подосиновика или темно-коричневую шляпку боровика; окопать такой экземпляр вокруг ножки, на вид преплотной, точно деревянной, глубоко подрезать, аккуратно очистить от землицы и в старинное лукошко его, с которым еще при Александре III Миротворце здешний этнос хаживал по грибы. Мало того что это занятие увлекательно, оно еще и в высшей степени полезно для психического здоровья, ибо разного рода гражданские треволнения, включая падение курса рубля, приобретают характер как бы марсианский и уже не так отравляют кровь. Вместе с тем грибочество, так сказать, наравне с огородничеством, бортничеством, охотой и рыбной ловлей до некоторой степени обеспечивают человеку автономность существования, сводят до минимума его зави-

симось от наших кремлевских звездочетов и недотеп. Ну что мы можем противопоставить их мерам по стабилизации экономики? Только дары природы: они зайдут с расширенного рублевого коридора, мы кроем бочонком соленых рыжиков, они под нас засуху в Поволжье, мы отобьемся тушонкой из кабана, они из рукава — неоплатные заграничные займы, а мы по козырям, то есть годовым запасом меда от комбрига Кручинкина — в результате, глядишь, это они в дураках с погонами, а не мы. Поскольку иные способы противостояния властям предрержащим в лучшем случае малоэффективны, а в худшем опасны для психического здоровья, самое разумное будет отгородиться от рукоделия временщиков, как Китайской стеной, тушонкой из кабана.

Когда воротишься из леса, то первым делом растопишь печь ольховыми дровами, которые еще называют «барскими» за то, что они производят приятный дух; за стеклами дождь хлещет, подгоняемый резким ветром, а у тебя в печке уютно трещат дрова, мало-помалу распространяется какое-то пахучее, женское тепло, да еще грибы, приготовленные для сушки, дают такой волнующий аромат, с которым разве что сравнится воспоминание о первом «да».

В нашем колхозе праздник: закончена операция, которая называется постановкой скота на зимнее содержание, и по этому поводу назначен большой загул. Сначала всей компанией едем на Мудышкину гору, которая так называется оттого, что некогда понизу стояли мельницы купца Мудышкина, первого здешнего богача; собственно, это не гора, а крутой обрыв с выходами бледного известняка; сверху только небо, приближенное на высоту птичьего полета, внизу наша речка, прозрачная, как стекло, спереди неоглядные дали, выкрашенные защитной зеленью хвойных, темным золотом и багрянцем, сзади сосновый лес. Только-только налюбуешься этим видом, как, глядь,— уже и костер пылает, разложенный для тепла, и разливается в граненые стаканы русское столовое вино, охлажденное до консистенции постного масла, и свежая баранина, предварительно вымоченная в уксусе, жарится на углях; впрочем, это своего рода увертюра, самое интересное впереди.

Продолжение следует в деревне Козловка, в избе у егеря Самсонова, которая оборудована по европейскому образцу, однако национальная экзотика тут тоже имеет место: например, в сенцах, в углу, наметен мусор, да так и оставлен, и в нем, к немалому удивлению, обнаружишь вставную челюсть, например; в горнице под тумбочкой с японским телевизором сидит кот и, не торопясь, доедает мышь. Отколовшиеся в свою очередь составляют пеструю и многочисленную компанию: присутствует сам Георгий Иванович, председатель колхоза «Передовик», все главные специалисты, директор школы, баянист Каховский, пять лет назад эмигрировавший в Мексику, Зиновья, глава местной администрации, один настоящий голландец, торговец спиртом, два писателя либеральной ориентации и наш резидент в Республике Гондурас. На столе селедка с горячей картошкой, студень из убоины, малосольные огурцы; под столом ящик водки и ящик какого-то кисленького винца.

Везде люди как люди — выпьют рюмочку-другую, поговорят о тарифах и разойдутся, а по нашим повадкам нальются горячительной — и пошло...

— Это что же делается, мужики? Ведь на ладан дышит родной колхоз!

— Может быть, это и к лучшему. Вот вы посудите: в Европе шесть процентов населения, занятые в сельском хозяйстве, кормят целый континент, а у нас в России чуть ли не половина населения загнана в колхозы, а толку чуть!

— Это потому, что колхозам развернуться по-настоящему не дают. Ты обеспечь меня запчастями, предоставь кредит на льготных условиях, наложи вето на импорт хлеба, и чтобы водку продавали не каждый день. Тогда я такую покажу урожайность твердых сортов пшеницы, что в Канаде случится Октябрьский переворот!

— Если дать колхозам по-настоящему развернуться, то мы окончательно сядем на лебеду.

— Между прочим, коли ее правильно приготовить, то это будет... Ну не деликатес, конечно, но срубашешь за только так.

— А по-моему, во всем виновата свобода слова. Раньше мы слыхом не слыхивали про европейские шесть процентов и спокойно существовали на трудовни. Я вообще так скажу: без этой самой свободы слова было как-то приветней жить!

— Это точно! А при рыночных отношениях просто досрочно хочется помереть...

— Смерть смертью, а крышу крой.

— Я и крою...

— Вот, блин, и крой.

— Нет, я согласен с предыдущим оратором: совсем разболтался простой народ! Раньше, бывало, как подойдет к тебе младший лейтенант Востриков, как скажет: «Ты, товарищ, к какой диверсионной группе принадлежишь?» — так сразу придешь в себя!

— Вот кой-то с горочки спустился...

Наверно, милый мой идет...

— Как это ни печально, но без свободы слова, как без воздуха, не могут существовать только горлопаны и главари. Людям же сколько-нибудь дельным она и на дух не нужна, между тем в первую очередь для них свобода оборачивается смятением и бедой.

— Дело не в свободе слова, а в том, что она писана не про нас. Нация мы еще несовершеннолетняя в гражданском отношении, и по-хорошему от нас свободу нужно покуда прятать, как прячут от детей.

— Свобода не нужна, когда она есть. А когда ее нет, то вдруг оказывается, что она представляет собой единственное средство против шарлатанов и дураков!

— На нем защитна гимнастерка...

— Во всяком случае, Александр Иванович Герцен в свое время писал, имея в виду французов: «...всеобщее избирательное право, навязанное неприготовленному народу, послужило для него бритвой, которой он чуть не зарезался». И еще: «...как ни странно, но опыт показал, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы» — вот после этого и толкуй!

— Она с ума-а меня сведет...

— Это про какое время от написал?

— Про 1848 год.

— А у нас сейчас конец двадцатого века катит в глаза... Стало быть, мы плетемся в хвосте у Европы с задержкой примерно на двести лет...

— Ну это только в гражданском отношении, а если взять душу на исследование, то получится, что они по сравнению с нами — типа как ефрейтор и генерал.

— Или как Конфуций и его сын Боюй. У Конфуция был сын, полный идиот, звали его — Боюй.

— Вот я гляжу: очень мы правильно говорим. Вообще во всем надо доходить до исходной точки, до самого пункта А. Вот как подумаешь, что корова — это, собственно говоря, прирученная антилопа, так сразу куда интересней жить!

— Что-то мы за разговорами совсем пьянку позабросили, мужики! Я предлагаю выпить за процветание нашего родного колхоза «Передовик»!

— Да погоди ты! Я вот что хочу сказать: у нас в России, в стране мечтателей и бандитов, всегда существовала свобода слова — это хотите верить, хотите нет. Вы хоть знаете, как раньше назывался наш колхоз. «Веселый бережок» — это хотите верить, хотите нет. Еще когда колхозы только-только начинались, мои родители принципиально оставались единоличниками, потому что они предлагали колхозу название «Беззаботный бережок», а начальство соглашалась только на «веселый» — это хотите верить, хотите нет.

— Ну и чем дело кончилось?

— А ничем... То есть все же пришлось вступать в «Веселый бережок», но за это мои родители порезали скотину и написали в ЦК партии ругательное письмо.

— Это точно: отчаянный мы народ!

— А все почему? Все потому, что «голый, как святой, беды не боится».

Тем временем егерь Самсонов храпел, притулившись между углом печки и телевизором, баянист Каховский рыдал, положив голову на стол, видимо, ему во

всей остроте открылось, как много он потерял, эмигрировав в свою Мексику, голландец, на лице у которого значился восторг, смешанный с испугом, вращал глазами и открывал рот, но сказать уже ничего не мог, Зиночка всё танцевала с нашим резидентом в Республике Гондурас.

Поздно уже; выйдешь на крыльцо покурить — моросит, половина черного неба затянута темной мутью, а на другой половине обнажилась мелкая сыпь Млечного Пути, и оттуда то и дело падают звезды — чиркнет по небу, как незажигающаяся наша спичка, и пропадет. Подумаешь: вот так и вся жизнь наша с точки зрения вечности — чиркнешь и пропадешь. Но зато сколько счастья вмещает в себя это мгновение, если ты, конечно, способен именно как счастье понимать каждую секунду личного бытия.

ЗИМА

Около обеденного времени 26 февраля 1917 года студент С. умер от счастья. Когда так называемый революционный народ высвобождал узников из Крестов, в числе уголовных, инсургентов, несостоятельных должников вышел за тюремные ворота и студент С., сидевший по делу о пропаганде среди солдат, вышел, посмотрел в небо и свалился замертво на панель.

Как это понятно! То есть понятно, что в иные минуты жизни человек способен впасть в такое пронзительное чувство счастья, от которого можно запросто помереть. Хорошо еще, что нормальная психика обыкновенно дробит это опасное состояние, не допуская до критической массы чувств, а иначе высокоорганизованные люди мерли бы как мухи, не достигнув расцвета лет. В самых удачных случаях острое состояние счастья равномерно распадается на восемнадцать часов бдения, но это при условии, что у тебя имеются увлекательные занятия и в то же время ничто не мешает сосредоточиться на себе. Увлекательное занятие можно найти даже в одиночной камере, но только в деревне ничто не мешает сосредоточиться на себе.

И зимой в деревне просыпаешься чуть свет, однако это уже будет что-то часу в девятом, когда окошки окрасятся густой и тяжелой синью, которая почему-то навеивает подозрение, что однажды может не рассвети. Отчего с утра пораньше в голову приходит такое апокалипсическое соображение — не понять, но, может быть, оттого, что в городе мало сочувствуешь чужой жизни, то есть вообще жизни, включая бытование собаки и мотылька, и никого-то, кроме себя, не жаль, а в деревне — жаль. Даже при том жаль, что если ты панически боишься смерти и родился в России, то тебе сказочно повезло. Между тем постепенно развидняется: уже различим оранжевый цвет абажура, низко висящего над столом, уже матово светится упитанный бок самовара, который стоит на печи, а сама печь наплывает из сумрака и растет.

Если не считать апокалипсического соображения, утро начинается с того, что не без содрогания выбираешься из-под одеяла и принимаешься топить печь. Сначала сложишь в топке четыре березовых полена, что называется, колодцем, потом сунешь посредине пригоршню стружки и скомканную газету «Ржевские новости», положишь поверх щепы, наконец, чиркнешь спичкой, и через минуту огонь в печи уже беснуется и трещит, так что багровые отблески пожарно шевелятся на потолке. Усядешься напротив в кресло-качалку и зачарованно смотришь на огонь, обласканный чувством тепла, покоя и тишины. Дрова потрескивают, от печи тянет побелкой и пряным духом горения, ходики тикают — хорошо!

О чем думаешь в эту пору?.. Да вот, например, о том, что одиночество весьма продуктивно в художественном отношении, ибо оно донельзя обостряет ощущение мезальянса между «я» вникающим и «они», которые, похоже, сошли с ума. Отсюда страстное желание быть услышанным, хотя бы ты внушал читателю относительно чепуху. Но, может быть, вовсе не чепуху, так как «я» вникающее ратует за общедоступное счастье, которое, в частности, обеспечивает деревенский модус вивенди, а «они» пишут на спичечных коробках: «Череповец — порт пяти морей» — ну это ли не бедлам! Или такая мысль: поскольку в бытий-

ном мире нет ничего такого, что было бы стопроцентно исключено, жить надо так, словно и Бог, точно, есть и загробный мир есть, а то как бы не прогадать.

Так: теперь поставить на плиту воду для кофе, достать из подпола баночку сливок, густых, как сметана, а пока то да сё, взять ружье и сходить по малой нужде на двор. Ружье в этом случае необходимо по той причине, что давеча пастух Белобородов оповестил, будто бы с того берега Волги на наш перешла немалая стая волков и следует ждать беды. Вдруг такое зло возьмет на предков-славян, кривичей да древлян, что соответствующие железы начинают вырабатывать избыточную слюну. Ну действительно, кой черт дернул их осесть на этих невзрачных просторах, шесть месяцев в году занесенных снегом, где то сушь стоит, то стужа, волки бродят, как при Владимире Мономахе, так что цивилизованному человеку без ружья по малости не сходить, где избы заметает метелью по подоконники и светает в девятом часу утра... В сущности, человек должен жить только там, где в любое время года можно безмятежно разгуливать нагишом, а если судьба-злодейка распорядилась иначе, если тебе суждено полгода валандаться на печи, вообще ты подпадаешь под растлевающее влияние русских зим, то нечего и роптать: двенадцать центнеров зерновых с гектара — это нормально, засилие босяков в Государственной Думе — естественное явление, размытая грань между своим и чужим — медицинский факт.

На деревне тихо, даже как-то мертво, точно все давным-давно разбежались по городам. Еще только две избы топятся, не считая моей, и пускают в небо жемчужный дым. Куда ни помотришь, повсюду белым-бело: и поля окрест белые, и облачность белая, разве того оттенка, который еще дает несвежая простыня, и крыши деревни белые, и даже лес, хвойный наполовину, оказывает слегка заштрихованную белизну. Галок, и тех не видно, лишь кое-где на снегу заметны трехпалые путаные следы. Тишина стоит плотная, как вещество, которое можно попробовать на язык.

Почему-то придет на мысль: счастливики те писатели, которые длинно пишут, им картошку сажать не надо.

За окном зима, морозы стоят такие, что воздух не шелохнется, а в избе тепло, на столе курится фаянсовая чашка кофе, который распространяет терпкий, ненашенский аромат, в каретке заправлен чистый лист бумаги, холодный-враждебный и какой-то выжидательный, как зима. Итак: счастливики те писатели, которые длинно пишут, им картошку сажать не надо, — это соображение на поверку оказалось наваристым, продуктивным, хотя бы потому, что оно возбудило один коренной вопрос. Ведь еще и такие счастливики бывают, которые в состоянии извлечь тему из того, что иные писатели длинно пишут, ибо нынче длинно писать нельзя. То есть можно, конечно, но это не в духе времени, и тут сам собой встает один коренной вопрос: представляет ли собой литература нечто неизменное, навеки закрепленное в единстве формы и содержания, или она развивается как знание, как наука, как, собственно, всё развивается?

С одной стороны, сколько существует литература, начиная от «Сказания о Гильгамеше», писатели вечно что-нибудь воспевают или же порицают сообразно понятиям своей молодости, и конца этой практике, кажется, не видать. Изредка им удается вывести аномальное явление психики в качестве так называемого нового человека, например, хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского, у которого потом появляются вольные или невольные последователи — смотря по симптоматике их чудес. Но гораздо чаще писатели просто отображают жизнь своего времени, чему-то симпатизируя, а чему-то нет, то есть с тенденцией, а также моделируют типичных представителей той эпохи, в которую им довелось пожить.

С другой стороны, литература за последнее столетие претерпела такую метаморфозу, что уже затруднительно определить ее направление и предмет. Скажем, про что написано «Муму» — ясно как Божий день, а вот возьмем «Доктора Живаго» — это попробуй сказать, про что... Во всяком случае, проза определенно расплывалась с функциями ей несвойственными, например, давно перестала искать ответ на вопрос «что делать?», потому что, в сущности, делать-то

нечего, ничего ты не поделаешь с диалектикой природы — сиди и жди. По крайней мере проза достигла той степени зрелости, когда ей уже стало неинтересно отражать действительность и типизировать человека, когда для нее сделалась насыщенной фантазия, краткая реальности, явление — персонажу, художественная идея — знанию о себе. Новая литература еще тем отличается от классической традиции времен Тургенева и «Антон-горемыки», что в техническом отношении на смену акварели пришло что-то вроде химической реакции, когда в реторту закладывается одно, а в результате получаешь совсем другое, причем это превращение может быть моментальным, в фазе какого-нибудь придаточного предложения, и поэтому собственно реакция как процесс, которая прежде представляла собою всё, альфу и омегу литературы, отступает на задний план.

Вот есть у Тургенева один сюжет, за смертной болезнью не воплощенный, на котором можно доходчиво показать различие между литературой сегодняшней и вчера... В поезде, следовавшем маршрутом Санкт-Петербург — Женева, познакомились две сестры-смолянки и молодой дворянин, кандидат Московского университета, который направлялся в Европу, что называется, просто так. Знакомство это продолжилось за границей, и скоро обе сестры по уши влюбились в своего давешнего попутчика, равно как и он почувствовал себя влюбленным, вот только не мог понять, в которую из двоих. В конце концов это тройственное чувство стало настолько невыносимым, что кандидат, не желая окончательным выбором огорчить одну из сестер, собрался наложить на себя руки и тем самым решить вопрос. Но вдруг ему попадает на глаза газетное сообщение о начале гражданской войны в Америке, тогда он легко разбирается с сестрами, говоря, что долг либерально ориентированного человека выше личного счастья, пересекает Атлантический океан, вступает в борьбу за освобождение негров и скоро погибает в сражении как герой.

Разумеется, и сегодня на этот сюжет можно было бы сочинить предлинный роман с описаниями природы, как у Тургенева, с портретами персонажей, пространственными диалогами, где первое слово «здравствуйте», а последнее «до свиданья», только вот, спрашивается, зачем, если литературного вещества тут максимум на рассказ, да еще коротенький, да еще ироничный, как анекдот. Выглядело бы это примерно так...

«Сестры и кандидат»

Однажды осенним московским вечером, когда уличное освещение у нас смахивает на свечное, в поезде, следовавшем маршрутом Москва — Таллин, судьба невзначай свела сестер Битюговых, Веру и Леру, учившихся в Гартуском университете, и Сергея Ивановича Мыслева, кандидата юридических наук, который направлялся в Эстонию развеяться и вообще. Долго ли, коротко ли молодые люди познакомились и разговорились о том о сем. Поскольку русские люди не с погоды начинают, а сразу берут быка за рога, сначала потолковали о закате культуры, потом о кризисе монетаризма в России, а потом Сергей Иванович объявил:

— До чего же изменчива жизнь в нашей стране — это просто какой-то мрак! Мой прадед за свободу братьев болгар с турками воевал. Отец был капитаном НКВД. Я, помню, еще в пионерском галстуке ходил и почему-то думал, что Сталин вообще не пользуется уборной. А у моего младшего брата есть вилла на Корсике и израильский автомат!.. Я думаю, эта метафизика объясняется только тем, что русские — самый одаренный народ на свете, в смысле превращений как мастерства.

По той простой причине, что русскую девушку ничем так не обворожишь, как широтой мысли и тароватостью на слова, у обеих вдруг екнуло сердце, и на закате того же дня их осенило, что они без памяти влюблены: Это тем менее удивительно, что в молодые годы не много надо, а чаще достаточно даже одного существительного, вроде «сублимации», или манеры под острым углом вдруг поглядеть на собеседника, чтобы на время приятно сойти с ума. И странное де-

ло: кандидат Мыслев, в свою очередь, тоже почувствовал что-то неладное, будто бы легкий жар, в который иногда бросает человека, если на него внимательно посмотрит милиционер. Скорее всего ему как-то передалась влюбленность сестер Битюговых, как scarlatina передается, ибо так называемое ответное чувство в большинстве случаев возбуждается от источника, а не возникает само по себе, иначе взаимная страсть представляла бы собой слишком большую тайну, даже мучительную для аналитически настроенного ума. Мыслев подумал-подумал и пришел к заключению, что влюблен.

Это новое чувство оказалось особенно мучительным потому, что он никак не мог для себя решить, в которую из сестер именно он влюблен. Посмотрит на Верочку — вроде бы она, посмотрит на Лерочку — нет, она... Такое тоже бывает в жизни, хотя и довольно редко, и в этих исключительных случаях брожение чувств порой достигает таких пределов, что невыносимо бывает жить. Путем описать это состояние невозможно, именно за его исключительностью невозможно, однако известно точно, что коллежский советник Яков Столетов умер во цвете лет не по причине какой-то неизлечимой болезни, а оттого, что он был без памяти влюблен в Пушкина и собственную жену.

После уже, в Таллине, где молодые люди поселились бок о бок, на пятом этаже блочного дома по улице Вабадузе, их тройственное чувство достигло такой степени интенсивности, что и вправду затруднительно стало жить. Когда вечерами сестры Битюговы и кандидат Мыслев сходились вместе за чашкой чая, то всех троих охватывало какое-то внутреннее электричество, и, чтобы рассеять его, Сергей Иванович заводил по обыкновению монолог:

— Как всё нелогично в этом мире, — например, начинал он. — Ну почему в метре сто сантиметров, а в часу шестьдесят минут?..

Собственно, заводил он эти монологи только на тот предмет, чтобы каждый момент общения был наполнен, чтобы, не дай Бог, не образовалась страшная пауза, когда непременно нужно будет сделать глазами: «Я люблю вас, Вера» или: «Я люблю, Лера», — и, таким образом, нанести одной из сестер удар. Кроме того, произнести эти слова значило разрешить неразрешимое, вроде вопроса о вечной жизни, прояснить который в состоянии только смерть.

Кстати, о смерти: в сознании Сергея Ивановича сестры Битюговы давно слились в единое существо, и, сообразив, что его влюбленность принимает формы, близкие к помешательству, он решил бежать или покончить жизнь самоубийством, выбросившись со своего пятого этажа. Дальше захолустной Португалии бежать было некуда, так как в России стояла тогда зима, и поэтому кандидат Мыслев остановился на самоубийстве; принять это малодушное решение ему было нетяжело, поскольку свежие правовые идеи Сергея Ивановича перестали интересовать, в Москве «сгорела» его посредническая контора и отец, служивший в НКВД, наложил на себя руки во время оно, когда ему стали являться привидения осужденных по делу о диверсии на молокозаводе имени 10-летия Октября. В ближайший понедельник, около полудня, кандидат Мыслев надел выходной пиджак, настезь открыл окошко, постелил на подоконник газету, чтобы не наследить, и, прежде чем ступил на нее ногой, увидел мельком крупно набранное сообщение: маленькая, беззащитная Абхазия подверглась агрессии со стороны воинственного соседа, то есть наконец-то началась очистительная война.

На душе у него вдруг сразу сделалось весело и светло. «Вот ведь как мило! — подумал он. — Наконец-то выпадает возможность послужить настоящему делу, познать сладость риска и завести множество интересных знакомств, потому что под знаменем свободы наверняка соберется масса отчаянных, незанятых мужиков». И ему пришло в голову, что эта война затеялась исключительно для того, чтобы он, кандидат юридических наук Сергей Иванович Мыслев, отложив суицидальные намерения, отправился бы на Кавказ искать славы на поле брани, а тем временем любовный треугольник рассосался бы сам собой. Он тотчас же отправился к сестрам Битюговым, застал их за вторым завтраком и объявил, что личное счастье не может идти ни в какое сравнение с долгом благородного человека и что давно пора показать миру, как русские интернационалисты умеют сражаться и умирать. Сестры были неприятно удивлены, причем Вера всплакнула, а Лера сделала симпатические глаза.

На другой день кандидат Мыслев собрал чемоданы и улетел. Воевал он недолго, недели две, но прижился в Батуми и год спустя умер от дизентерии, напившись сырой воды. В год его смерти Вера Битюгова вышла замуж за биржевого маклера Стрелетова, а Лера за какого-то бандита из Зеленограда, который, правда, вскоре спился с круга, но зато оставил ей порядочный капитал.

Вот таким образом, часа за три, за четыре и выстроился рассказец, обвинивший сюжетную линию, выдуманную Тургеневым, и, в сущности, родившийся не из чего иного, как из того, что в наше время длинно писать нельзя. Правда, общечеловеческое значение его гадательно и, возможно, заключается только в том, что он показывает: литература тоже не стоит на месте, а развивается как знание, как наука, как собственно человек, от лабазника до мецената или от романтика до торговца по мелочам.

После трудов праведных выйти на двор продышаться и заодно поглядеть — не найдется ли какого-нибудь мужского, положительного занятия, которое поможет скоротать день. Над деревней висит туман, не туман, а что-то похожее на туман, откуда-то галки поналетели, возле калитки стоит сосед Ефимыч и задумчиво смотрит вдаль.

— Ожидаете кого-нибудь? — спрашиваю его.

— Да нет... Это мне на уколы ехать. Борис Иванович машину сулил прислать.

— Борис Иванович — чуткий человек.

— Борис Васильевич будет чутче.

Между тем мысль работает по инерции, не отпускает, хотя и слегка поутихла, как в другой раз не отпускает ноющая боль в районе четвертого позвонка. Думается: все люди как люди, делом занимаются, на уколы ездят, а ты сидишь за пишущей машинкой с семи часов утра до изнеможения и сочиняешь небылицы, которые нужны ли, нет ли — это еще вопрос. Хотя, с другой стороны, ты, как ни крути, производишь продукцию, несущую в себе высокую потребительскую стоимость, признанную даже на внешнем рынке, ибо Россия по-настоящему ничего не может производить, кроме совершенных инструментов убийства и совершенных же творений духа человеческого в области театра, литературы, музыки и кино. Кроме того, вот еще что нужно принять в расчет: даже когда у нас на каждую статистическую единицу населения будут производить по тонне картошки и по одному гаечному ключу, человек не станет ни счастливее, ни безвредней, и в то же время одному Богу известно, сколько прибавила в объеме твоя душа после того, как ты Чехова прочитал. То есть счастье человеческое намного сложнее, нежели предполагают господа социалисты (Ф. Достоевский), и, может быть, это так кажется, будто на Земле наступит всеобщее благоденствие, как только каждый из нас обретет по гаечному ключу.

Нет, кажется, ничто не требует твоих рук, ну разве что дополнительную дорожку расчистить от заднего крыльца до рябины, а так всё истома, снега, стылость и тишина. И то сказать, январь на дворе: собаки, и те не брешут, коровы, и те молочного не дают. Вообще зимой в деревне... не то чтобы скучно, а как-то именно томно — мужичкой работы нет, телевизора, этого проклятого изобретения Зворыкина, не держим принципиально, угадывая в нем начало конца культуры, и поэтому сколько-нибудь деятельному человеку остается лишь книжки читать вечерами напролет да мудрствовать по гастрономической линии, то есть часами готовить себе более или менее экзотическую еду.

По зимней поре, когда топить печку приходится дважды в день и по избе ходишь в валенках, пища предпочтительна жирная и обильная, иначе просто студено жить. Уж если рыбная селянка, то из головизны, уж если картошка, то на сале и так, чтобы пришлось по сковородке на едока. Рыбная селянка, кстати замечать, приготавливается следующим образом... Варишь в большой кастрюле голову осетра, которая потом разбирается, точно какой-нибудь агрегат, одновременно в сковороде томятся жареный лук и полкило соленых огурцов, сдобренные томатной пастой, сушеной травкой и ломтиками лимона, после содержимое сковороды вываливаешь в бульон — и готово дело, только добавить в кастрю-

лю некоторое количество каперсов, оливок, маслин, толченого перца и лаврового листа. Если потом настоять это варево в русской печке, то по избе распространится такой лакомый дух, что непривычного человека может хватить удар.

Что же до чтения, то это вообще избранное удовольствие для тех немногих людей, которые в удовольствиях знают толк: круглый год читаешь и как бы дополнительно существуешь, а зимой, замечу, читается исключительно хорошо. После обеда, когда наступают сумерки, вкрадчивые, светло-синие, как мировая скорбь, бывает затопишь печку, откроешь дверцу топки — это скорее для вещей приютности, чем тепла, — уляжешься напротив на диване, возьмешь в руки книгу... ну хотя бы дневники Толстого, Льва Николаевича и прочтешь:

«Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранил этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не обещайся неразрешимых вопросов: и зачем я на свете? и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то покорно благодарю и вам того желаю».

Прочтешь и в затылке начешишься, размышляя: а ведь действительно ничто так не смущает культурного человека, до такой степени не лишает его душевного равновесия, которое, собственно, и называется счастьем, как вопросы горькие, безответные да еще и самого отвлеченного образца. Вот только русский человек устроен таким образом, что не нужно болезней, бедности, невозможных утрат, измен и злых соседей по этажу, а достаточно двух простоев за смену по случаю отсутствия комплектующих, чтобы он замучил себя вопросом: «Как же так, я когда-нибудь да умру, а отдел снабжения по-прежнему будет жить?..» Французы говорят, что есть два способа разбогатеть: добыть много денег или воспитать в себе скромные потребности, — следовательно, русскому человеку для счастья нужно либо так организовать производство, чтобы он только-только доплетался до любимого дивана, либо раз и навсегда разделаться с вопросами отвлеченного образца. Поскольку на производство надежды мало, остается до конца и бесповоротно проникнуться мыслью: смысл жизни заключается в самой жизни (И. К. Лафатер), как смысл вращения Земли вокруг Солнца заключается во вращении Земли вокруг Солнца, и ни на йоту ни в чем ином. Заслужи у потомков репутацию выдающегося государственного деятеля, оставь по себе полное собрание сочинений или пройди по земле заурядным техником-смотрителем — все равно качество твоей жизни определяется только тем, в какой степени ты умел либо все еще умеешь ее ценить. Вернее, в какой степени ты постиг, что жизнь есть величайшая удача, выпадающая раз на квинтиллион притязаний ее познать, что жизнь есть величайшее счастье, хотя и ограниченное во времени, но осмысленного и единичного бытия. Тогда сам собой снимается вопрос «зачем я на свете?», ибо тебе ясно как Божий день: затем, чтобы десятилетиями наслаждаться возможностью осмысленного и единичного бытия, — и вопрос «зачем весь мир?» снимается, ибо ясно: затем же, зачем любимые, эхо и зеркала. Тогда же придет на мысль, что ведь, в сущности, это полные синонимы — слово «счастье» и слово «жизнь»...

По той причине, что истины эти простые и стародавние, сдается, что постичь их дано не всем, а предположительно только тем, кто воспитан на высокой музыке, прошел школу нашей великой литературы, вообще не поленился обогатить генетический минимум того рода знанием, который через десятые руки передается от Вседержителя и Творца. Коли так, то, в частности, чтение обеспечивает не приятное времяпрепровождение и не пищу для приверед, а представляет собою средство строительства личного счастья за счет чужой, единственно устроенной головы.

После уже, когда тебя охватит послеобеденная истома, вдруг подумаешь, что иногда литература преследует и чисто эгоистический интерес, например, ты сам сочиняешь то, что тебе хотелось бы прочитать.

Ближе к вечеру топим баньку. Покуда не смерклось, прежде всего натаскать воды; занятие это трудоемкое и муторное, поскольку приходится подновлять прорубь, сначала топором, потом дном ведерка, от порога до проруби мет-

ров сто, воды нужно много, тропинка к реке крута. И так, топор за пояс, ведра в руки, ноги в валенки — и вперед.

Видно, что скоро сумерки, воздух уже как-то отяжелел, снег посинел, тишина задубела, как белье после стирки, вывешенное на мороз, студено не студено, а градусова пятнадцать, должно быть, есть вот еще маленькая беда: обжег палец, нечаянно прикоснувшись к лезвию топора.

На обратном пути, утопая в снегу, вдруг слышу: трактор шумит, по всей видимости, кто-то из «Передовика» едет по ржаную солому, скатанную в валки. Этой соломы у нас видимо-невидимо торчит по опушкам, обочинам и непосредственно по полям. Вообще она употребляется на подстилки, но поскольку с сеном в нашем колхозе плохо, почему-то из года в год плохо, у нас соломою кормят скот. И правда: пяти минут не прошло, как вижу — Девяткин едет на тракторе и поет.

— Ты чего это распелся? — спрашиваю его, когда под острым углом сходятся следы моих валенок и трактора «Беларусь».

— А чего у нас вообще поют? — отвечает Девяткин, по плечи высунувшись наружу. — С горя, конечно, других оснований нет.

— Это что же опять за горе?

— Сейчас скажу... — Девяткин утер кулаком рот, печально прищурился и завел: — Вот в газетах пишут, будто на Землю движется какая-то комета, и обязательно она рухнет на Центральную Америку, там даже точно пишут: либо на Доминиканскую республику, либо на Гондурас. Конечно, это от нас далеко, но ведь и там, поди, люди живут, сельскохозяйственное производство, керосинят по праздникам и вообще... Я что имею в виду: ну совершенно невозможно жить в таких условиях, хоть ты что! Я, предположим, наострил лыжи жениться, денег поднакопил, и вдруг мне на голову сваливается космическое тело размером с маленький магазин!..

Больше Девяткин ничего не сказал, только опять утер кулаком рот, дал газу и стал удаляться, удаляться, а я по той причине, что зимою всякая встреча в радость, разговор вдвойне, провожал его глазами, как на войну.

После того как в четыре ходки заполнится котел баньки, принимаюсь ее топить. Окошко еще светло, но внутри сруба давно уж мглисто, и темно-оранжевое пахучее пламя, которое дает высушенная ольха, производит неотчетливое и страшное освещение, предположительно как в аду. Однако: час топишь, два топишь, а в баньке, кажется, холоднее, нежели на дворе.

Пока то да сё, приготовить ужин. Вечерним делом хорошо съесть что-нибудь необременительное, например, чашку бульона с яйцом и зеленью, немного рыбного салата, который готовится почти так же, как «оливье», и кусок холодной телятины с брусничным вареньем, не то чтобы сладким, но все-таки с сахарцом. Снедь эта пойдет под русское столовое вино № 21, ибо Александр Васильевич Суворов нам завещал: «После баньки исподнее продай, но выпей» — и на эту диспозицию русак всегда отвечает: «Есть!»

В то время как занимаешься постным салатом, на память приходят разные забавные случаи, связанные с деревенской банькой зимнего дела. Так, в прошлом январе у нас случилось одно комичное происшествие... нет, не так. Начать нужно с того, что наша деревня — не деревня, а в своем роде V Интернационал. Не считая русских и евреев-полукровок, у нас водятся два немца, один поволжский, другой немецкий, англичанка, два финна, «новый» русский и армянин. Что примечательно: русский, он и в штате Огайо бензин водой разбавляет, а цивилизованный иностранец, надышавшись деревенского воздуха, немедленно становится на нашу отъявленную стезю.

Так вот, в первых числах прошлого января, когда роман между немецким немцем и англичанкой вошел в полную силу, надумала эта пара попариться вместе в баньке, и все бы ничего, как не тот дефис, что немец о ту пору был крепко пьян. В какой-то момент времени, трудно сказать, в какой именно, понадобилось ему выйти по малой нужде на двор. Выйти-то он вышел и от порога баньки отошел не то чтобы далеко, а, прямо скажем, сделал не более двух шагов, однако обратной дороги, как ни пыжился, не нашел. Ну нет нигде баньки — ни справа,

ни слева, ни если посмотреть вдаль. Вообразите себе картину: среднерусская ночь, январь, луна цвета плесени, снега кругом лежат, озаренные жемчужной голубизной, а на задах бродит голый немец в поисках потерянного рая и постепенно теряет надежду его найти. Долго ли, коротко ли, потоптал он смородиновые кусты, завалил забор соседу, ушибя при этом шейные позвонки, наконец, был обнаружен, доставлен в избу, всячески оприючен и обогрет. Наутро просыпается он как ни в чем не бывало, даже с выражением тихого счастья на лице, только шея у него побаливает, и по-своему говорит:

— Хорошо вчера посидели.

Я ему по-нашему отвечаю:

— Исключительно хорошо.

К этому стоит добавить, что немец охотно вкрапляет в свою природную речь наши обиходные ругательные слова и, как только слышит романс на стихи Сергея Есенина, сразу присаживается к радиоприемнику кукусьтаться и вздыхать.

Тем временем банька протоплена, настоялась и самая пора идти париться, прихватив с собой чистое белье, которое всегда пахнет странно, но хорошо. Разоблачишься в предбаннике, утеплившись покрыться гусиной кожей, затеплишь свечу в подсвечнике и, дернув забухшую дверь, ввалишься в деревянное, пробирающее тепло. И сразу тебя охватывает ощущение как бы не своего времени, старины, допетровщины какой-то, в ноздри даже ударит запах ладана, а в небо — привкус тюри и лебеды. В маленькое запотевшее окошко глядит студеная чернота, слышно, как снег хрустит под ногами соседа, а в баньке знойко, шевелятся по стенам ненормально большие тени, благоухает веник, положенный в шайку с крутым кипятком, и ошалевшая муха колотится о стекло. Теперь навести в ковше квас пополам с водой, плеснуть толику этой смеси на раскаленные булжники, тающиеся дымоходе, и тут наружу вырвется обжигающий хлебный дух.

В конце концов до того напаришься, что, несмотря на крепкий мороз, возвращаешься в избу обутый на босу ногу и в ватнике, по-казацки накинутом на белье.

По возвращении из баньки нимало не мешкая сесть за стол, включить для порядка радио, по которому передают последние известия, налить себе стаканчик русского светлого вина № 21 и первым делом Суворова помянуть. У них там думские слушания по поводу законопроекта о понижении роли личности в истории, а у нас: словно после стаканчика у нас внутри рассыпались горячие диаманты, сердце помолодело, печень очистилась, и в голове рождается такое ощущение, будто вот-вот сочинится гимн. Но думается почему-то о низком: вот, дескать, какая странность, сколько слов в русском языке, а ни одно понятие не имеет такого количества синонимов, как та часть нашего тела, под которую приспособлены стулья, диваны, кресла, пуфики, банкетки и канапе.

Между тем над деревней стоит полная ночь, безмолвная и какая-то стеклянная, как сосуд. В окошко видны мелкие, но ясные звезды, которые точно висят на ниточках, луна зашла, и поэтому тьма такая, что своего штaketника не видеть. Зато теперь думается о высоком: действительно, везде, где можно жить, можно жить хорошо (св. Вас. Великий). Правда, есть мнение, что как раз в России-то жить нельзя, но это, положим, глупости — по нашей формуле крови только в России и можно жить.

ВЕСНА

Вон из Москвы! сюда я больше не ездук.

А. Грибоедов.

А ведь как подумаешь, действительно в Москве стало совсем невозможно жить. И прежде-то наша Первопрестольная была мало приспособлена для бытования культурного человека, теперь же, когда буржуины и плохиши застроили ее теремами удручающе топорной архитектуры, даже отдающей несколько в ламаизм, когда нам прямо дали понять, кто здесь настоящий хозяин бала, в Москве стало совсем невозможно жить. Ну разве что в метро нынче способней ездить, ибо оно заметно попустело, ибо бандиты переключились на лимузины,

которые не по карману среднему европейскому буржуа. А так... ну чужой город неведомый и опасный, какой-то Чикаговавилон для иногородних с сильно выраженной азиатчиной, в котором родного, московского, — ни на грош. Ах, где вы, пирожки с *котлетами*, кружка пива на углу Кривоколенного переулка, знаменитый сумасшедший с улицы Горького, увешенный орденами, которые он самосильно вырезал из консервных банок, добродушные милиционеры, таскавшие завтраки в кобурах, таксомоторное сообщение за три рубля из конца в конец? Нету, так прочно нету, как если бы обаятельные эти частности когда-то пригрезились наяву.

Короче говоря, нужно куда-то перебираться, если хочешь еще пожить. Лучше всего в деревню, да поотдаленнее, да поглуше, поскольку психически здоровый человек нуждается в пустоте, в некоем свободном пространстве, окружающем духовное его «я». Имеется в наличии такое живительное пространство, и ты ощущаешь себя определенной величиной, единицей мироздания, которая на общих основаниях вращается во Вселенной, и при этом ежеминутно чувствуешь, что ты не что-нибудь, а живешь; не в метро давишься, не в очереди томишься, не мелким оптом занимаешься — а живешь. Живительное пространство еще обеспечивает камера-одиночка, где даже самые закоренелые урки мало-помалу приходят к Богу, но, понятное дело, в деревне лучше, хотя бы потому, что тут гораздо больше коров и деревьев, чем головорезов и торгашей. Следовательно, так называемое счастье в личной жизни — это довольно просто: обретаешь живительное пространство, которое защищает духовное твое «я», и сразу становится ясно, что на свете нет ничего увлекательнее простого самоощущения, когда ты подробно отслеживаешь каждое движение своей мысли, каждое побуждение, каждый шаг. То есть счастье хранится в тебе самом и заключается оно в умении осознать, что ты час за часом совершаешь действие единственного в своем роде и неповторимого бытия, — а с этим ничего не могут поделаться ни Государственная Дума, ни плохиши с буржуинами, ни закон.

Вообще о счастье у простаков сложилось превратное впечатление: кто полагает, что счастье обеспечивает политическая карьера, кто думает, что его составляет неиссякаемое богатство, кто считает, что счастье — это когда здоровые дети и не особенно пьющий муж. А на самом деле вот что такое счастье в самом наглядном виде: положим, идешь панелью Суворовского бульвара, мимо дома в строительных лесах, и вдруг сверху падает обрезок металлической трубы, да мимо, метрах так в двух он с бешеной силой ударяется об асфальт — вот это и будет счастье в самом наглядном виде, между прочим, дающее некоторое понятие о благополучии вообще. И, видимо, таковое есть категория, нам присущая изначально, поскольку горе всегда подразумевает нечто утвердительное в себе, например, *любимая изменила*, а счастье всегда подразумевает частицу «не»: скажем, тебя во время оно не посадили за слепое преклонение перед Западом, не послали воевать в чужие края, и удар покуда тебя не хватил, и не жена от тебя ушла, а ты от нее ушел. Коли так, то счастливых людей, сдастся, гораздо больше, нежели мы думаем, и даже огромное большинство людей счастливы, только они об этом не знают, а по-настоящему несчастны лишь уголовники и больные; первые потому, что они по-своему тоже больные люди, а вторые по той причине, что им слишком понятна французская пословица: «Единственное действительное несчастье — это собственная смерть». В городе такое разветвленное соображение ни за что не придет на ум, а в деревне — свободно, поскольку здесь достаточно времени и пространства для самых вальяжных дум.

Положим, просыпаешься рано поутру, часиков, скажем, в шесть, и первая мысль не о дебатах в Совете Федерации и не о повышении цен на коммунальные услуги, а о том, что впереди у тебя длинный-предлинный день. Вышел на двор: солнце еще путается между березами, едва-едва взявшимися свежей зеленью, лес за ближайшей околицей виден насквозь и как-то приближенно, точно через увеличительное стекло, изредка налетит ветерок, который явноственно пахнет одеколоном, и тишина такая, что если в трех километрах от нас прошумит по шоссе ранний молоковоз, то кажется, будто сосед завелся, — это, наверное, потому, что деревня покуда спит.

Кстати, в двух словах о деревне, где я живу вот уже пятый год. Расположена она на востоке Тверской губернии, по-над маленькой быстрой речкой, неподалеку от того места, где эта речка впадает в Волгу, предварительно разветвляясь на несколько рукавов. Сама деревенька наша сравнительно небольшая, в двадцать дворов, если не считать полуразвалившейся постройкой, в которой обитали некогда егеря. Живут тут и природные деревенские, и так называемые дачники, преимущественно москвичи, именно художники, профессора, военные, один фотограф, один бухгалтер и наш резидент в Республике Гондурас. Дачники существуют по принципу: украшая собственное жилище, ты украшаешь свою страну; деревенских же мало заботит внешняя сторона жизни, но зато в погребах у них таятся несметные припасы на случай революций и катастроф.

Покуда деревня спит, поскорей умыться — и марш наверх, за пишущую машинку, от которой нет спасения и во сне; вода в раковине, приколоченном к столбу возле баньки, по утреннему времени пронзительно холодна, после — столовая ложка меда на завтрак, которая освежает и вяжет рот, после закуливаешь первую, пьянящую сигарету, и дымок от нее, за безветрием, тонко струится вверх, постепенно раслаиваясь на миниатюрные облака. Вот уже где-то топор ткнул по дереву раз-другой, кто-то закашлялся на задах, потом выходит на двор соседка Егоровна и принимается кормить кур. Делает она это с чувством, не торопясь, и притом человечно разговаривает со своими пернатыми, главным образом с петухом.

— Ты давай, Петя, держи свою мужскую линию, — слышится из-за покосившегося заборчика, — не дури, а то что же это такое: опять у нас по итогам дня всего-навсего три яйца!..

В остальном на деревне сравнительное безмолвие, даже для собак еще не пора. Слышно вдобавок, как неподалеку шумит наша речка, в которой, заметим, водится хариус — для центральной России диковинка, даже и чересчур, а то вдруг галки поднимут грай, но эти гармонические звуки суть как бы не звуки даже, а некий контрапункт, только усиливающий впечатление покоя и тишины. Такое вокруг, как посмотришь, благоустройство, словно это сама материализовавшаяся Божья воля, и сразу покажется невероятным существование подкомитета по ценовой политике и союза семиреченских казаков.

Солнце между тем уже поднялось над рощей, обдав деревенский вид тем радостным светом, который еще излучает сплав золота и серебра под названием электрон. Отчего-то придет на ум: если поглядеть на солнце с той стороны галактики, то наше огромное светило увидится крошечной яркой точкой, и этот эффект вроде бы расставляет все по своим местам: и Егоровну с ее курами, и подкомитет по ценовой политике, и союз семиреченских казаков; ан нет: поскольку на той стороне галактики наверняка холодно и мертво, настоящий вселенский смысл приобретает, например, Егоровна и ее куры, тем более что она с пернатыми по-человечески говорит.

Однако время идет наверх; завариваю себе кофе со сливками, которые любовно снимаю по вечерам, иду к себе на чердак, сажусь за стол, пододвигаю поближе пишущую машинку, делаю губы поцелуем и засматриваюсь в окно: далеко видать Россию, мерещатся даже кособокие крыши нашего уездного городка, яблоневая ветка ломится в окно, где-то всюду тюкают топоры. Отчего-то придет на ум: если астрофизики утверждают, что через шесть миллиардов лет Солнце поглотит Землю, то зачем я, спрашивается, пишу?..

В сущности, литературное дело не сложнее любого другого умственного занятия, единственно — оно подразумевает некоторую скособочность извилин головного мозга и специальный, пристальный, что ли, настрой души. Особенно по русской жизни это занятие немудреное, потому что проза, собственно, почти не приходится сочинять, потому что она, как говорится, валяется под ногами, знай подбирай, ибо русский человек живет не то чтобы совсем уж по законам искусства, но уж точно что не по законам природы, как это сложилось у народов романо-германского естества.

Вот, например, случилась у нас в деревне такая история: мужики вырыли на задах у вдовы Силовой сорокалитровую флягу бражки и три дня пили в мертвую, пока жены при помощи даже грубой физической силы не растащили их по домам. Но самое главное тут не история, а так называемая предыстория, которая состоит в том, что как раз год тому назад помер от цирроза печени пастух Силин; так вот, незадолго до смерти он закопал у себя на задах сорокалитровую флягу бражки, причем наказал жене, чтобы в годовщину его кончины мужики откопали флягу и помянули почившего собутыльника, как это водится у людей. Поступок понятный, даже по-своему благородный, как бы не тот дефис, что по следам этих поминок двоих мужиков прихватил инфаркт. Таким образом, банальная пьянка уже приобретала в моих глазах некую художественную подоплеку, связанную нервной тканью с русским способом бытия, и решить этот материал в ключе изящной словесности значило только проследить ниточку, обнажить с обеих сторон нервные окончания и это самое... намекнуть. Ведь, в сущности, вся серьезная литература стоит на том, чтобы это самое — намекнуть; ну что, например, стоил бы обворожительный рассказ Чехова под названием «Дом с мезонином», если бы не заключительный стих «Мисюсь, где ты?», который делает весь рассказ...

Стало быть, берем историю про сорокалитровую флягу бражки и разглядываем на просвет. Так: четверо мужиков пьют в мертвую, в то время как их односельчане гнут хребет, завершая посевную кампанию, — это раз; пункт второй состоит в том, что один из пьяниц — довольно сильный шахматист, другой — душа-человек, третий, именно Генка по прозвищу Астроном, пишет стихи сентиментального направления — давеча он прочитал мне балладу о жеребенке, которого сдали на колбасу; как наши односельчане ни гнут хребет, то у них лен почему-то не уродится, то овес сгниет на корню, а между тем в соседнем колхозе «Передовик» зерновых берут с гектара по двадцать восемь центнеров — это три; наконец, пункт четвертый по счету, но, может быть, самый главный: покойный Силин наперед знал, что его поминки кончатся драматически, и, следовательно, исхитрился напасть на односельчанам, уже находясь в гробу. В итоге эти четыре вектора образуют такую художественную доктрину: в отличие от народов, организованных унитарно, вроде немцев, у которых даже нет понятия «непорядочный человек», русские представляют собой нацию крайне пеструю в рассуждениях духовных и нравственных установок или отсутствия таковых; то есть Германия — слаженная, устремленная «птица-тройка», а Россия существует по дедушке Крылову: кто наострился вспясть, кто в омут, кто в небеса. Но оно-то и хорошо: очевидно, что пути из России никогда не будет, так она и останется до окончания века «царством грабежа и благонамеренности» (Михаил Лунин), но зато жить в России всегда крайне интересно, жутко, уповательно и смешно.

Теперь остается задрапировать эту доктрину посредством разных художественных приемов, как-то: картинками великорусской природы, диалогами, жанровыми сценками, чтобы вышло акварельно и озорно. Что до диалогов, то вот, например, есть такая заготовка в записной книжке: «Вон ежик бежит, — сказал Николай. — А ведь он даже не знает, что он ежик, из разряда млекопитающих, так и мы. Я думаю, что я — Николай, а на самом деле, может, никакой я не Николай, а герцог аравийский или пуговица от штанов». Что до картинок природы, то вот она, за окном: Волга, тальник сливового цвета по этому берегу и острозеленые озимые по тому, а то взять просто бочку дождевой воды, запорошенную яблоневыми лепестками, как речка по ранней весне шугой. Что до сценки, то давеча видел сценку в соседней деревне Козловка: пепелище, именно обуглившиеся бревна, разметанные вокруг фундамента, черный остов печки, разный скукожившийся инвентарь, а на ведре, перевернутом вверх дном, сидит погорелец и с серьезным видом наигрывает на баяне «Турецкий марш». Вообще стилистика нашей жизни и алгоритмы нашей литературы до такой степени сблизилась между собой, а местами даже переплелись, что эта диффузия навевает такую мысль: если бы ветер, пронесся в кронах деревьев, наиграл 40-ю симфонию Моцарта, то эта мистика была бы сродни факту существования нашей чудной Руси.

Обыкновенно я вылезаю из-за стола около часу дня. Голова, что называется, чугунная, в районе шестого ребра подозрительно пульсирует какая-то жилка, координация движений несколько нарушена, но на сердце весело — может быть, оттого, что уж больно день хорош и впереди много приятных дел. Но сначала — перекусить; по-ихнему это ланч, а по-нашему будет полдник, поскольку тут подразумевается пища, которую ешь в половине дня. На полдник хорош кулеш с салом, приготовляемый следующим образом: сначала варишь гречку на молоке и даешь ей настояться в русской печке не менее трех часов, потом обжариваешь свежее сало с луком, помидором и чесноком, потом выкладываешь в равной пропорции то и другое в большую кузнецовскую тарелку — собственно, вот и всё. Такая прочная пища требуется потому, что крестьянский труд — это все же не литература, особенно косьба, особенно если ты не крапиву выкашиваешь для порядка, а воспитываешь газон. Но до косьбы еще далеко, пока на повестке дня, как говорят наши деревенские, *картошку содить*, — впрочем, это тоже увлекательное занятие, особенно если на дворе стоит ведро, особенно если ты довел свою землю до состояния пуха и она годится праведников хоронить. Но только достал из сарая штыковую лопату, только ее напильником отточил — глядь: к той стороне заборчика прилачился пропащий мужик Семен. Он смотрит в небо и говорит:

— Хорошо бы похмелиться...

— Никто не спорит, — отвечаю. — Похмелиться — это, как правило, хорошо.

Семен понимает, что у меня он спиртным не разживется, и на его лицо напоздаст тень.

— Прямо хоть на мухоморы переходи!.. И, видимо, перейду, поскольку в колхозе пятый месяц пенсию не дают. Да еще, говорят, от Чубайса пришла бумага, пишет: давай совсем распускай колхоз!

— Хорошо. А мухоморы-то тут при чем?

— Ну как же! Если мухомор часика три варить, то от него балдеешь, как примерно от первача!

Этот Семен до такой степени жалок, что деревня снисходительно относится и к безобразному его пьянству, и к вечному попрошайничеству, хотя и ходят такие слухи, будто бы в глухую зимнюю пору он обкрадывает пустующие дома. В прошлом году у нас три дома разорили, в частности, пострадал полковник-артиллерист; у него украли две подушки, икону, байковое одеяло, электрический фонарик, шесть глубоких тарелок и полное собрание сочинений Дюма-отца.

Между тем народ в нашей деревне главным образом работающий, даже по-своему артистичный в крестьянском деле; скажем, любо-дорого наблюдать, как мужики убирают рожь: идут косяком четыре комбайна, громадные и огнедышащие, как механические драконы, идут с геометрической слаженностью, парадно, минута-другая — и перед глазами одна стерня; если этой работе случатся зрители, то мужики уведят свои комбайны примерно так, как тенор уходит со сцены, отдав поклон.

— Видно, идти в Козловку, — меж тем говорит Семен. — Там у них вчера была пьянка, может, чего и перепадет...

— По какому поводу пьянка-то? — спрашиваю его.

— По поводу дерева имени Пушкина, — был ответ. — Заодно узнаю: чего это Чубайс распускает родной колхоз?..

— Так ведь его и так фактически нет!

— Все равно обидно...

Как выяснилось впоследствии, в деревне Козловка действительно состоялась большая пьянка в связи с присвоением старому клену имени Пушкина, родоначальника серьезной литературы. Вероятно, отсеялись мужики и затосковали, иначе не понятно, какая муха их укусила, чего это им вдруг взбрело в голову сочинить, будто под старым кленом, стоящим на углу деревенской улицы и шоссе глубоко местного значения, во время оно отдыхал Пушкин по пути к своим друзьям Вульфам, ибо на Руси все заковыристые дела делаются с тоски. По слу-

чаю этой выдумки мужики обнесли клен штакетником, сколотили стол, поставили две скамейки, укрепили памятную табличку и уселись под дерево пировать. День пили, два пили, а на третий день как раз заявился пропащий мужик Семен. Мужики, конечно, налили ему стакан, хотя они и не одобряют односельчан, любящих выпить на дармовщину, а Семен посидел-посидел, как-то приготовительно хмуря брови, потом зло сверкнул глазами и говорит:

— И никакой здесь Пушкин сроду не отдыхал! Я в этих местах целую жизнь прожил и про никакого такого Пушкина не слыхал! Вы, конечно, извините меня, товарищи, но я эту вредную иллюзию должен разоблачить!

Пропащий мужик Семен говорил долго и убедительно, упирая преимущественно на то, что и публициста Васильева он знает, и прозаика Холмогорова, а вот про Пушкина не слыхал. Мужики хмуро слушали его, глядя по сторонам, наконец, один из устроителей мемориала набылчился и сказал:

— Весь праздник испортил, гад!

Впрочем, клен имени Пушкина до сих пор стоит на перекрестке дорог, единственно — кто-то украл памятную табличку, хотя как ее можно в хозяйстве употребить, это для всех темно.

Ну так вот: только пропащий мужик Семен отлип от заборчика и взял направление на Козловку — лопату в руки и знай до самого вечера налегай. Рубашка вся пропитается хорошим, здоровым потом, руки-ноги нальются горячей кровью, а голове — свежо, поскольку *картошку сбрить* — это все же не литература, а главное, именно в эту пору тебе дается вся полнота самоощущения, то есть счастье, если понимать его как продолжительный праздник личного бытия. Да еще ты чувствуешь себя непосредственным участником таинства природы по сотворению манны небесной, в конкретном случае корнеплода, из ничего. Хотя какое тут особенное таинство: кальций, натрий, микроэлементы плюс фотосинтез — получается урожай.

Ох, мало у человека осталось тайн! Вероятно, он и опростился-то, опошлится только по той причине, что уж больно мало осталось тайн. То ли дело прежде: если на Благовещенье дождь, то уродится рожь, а почему — тайна; вот у работающего мужика сын вышел алкоголик — опять же тайна; или такая тайна — русский человек пять тысяч лет ковыряется в черноземе, а хлебушка собирает столько, точно у него под ногами вечная мерзлота. Посему очень хочется сказать соотечественникам: соотечественники, на наш век тайн еще хватит, и поэтическое в жизни не так скоро придет к нулю. Возьмем хотя бы тайну всеобщего среднего образования: кому оно нужно-то, среднее да еще и всеобщее, если обывателю решительно все равно, круглая наша Земля или она имеет форму утюга, каковы особенности устройства желудка у жвачных животных, почему телевизор работает, из чего делается бензин, тем более что в школах учат чему угодно, только не порядочности (Блез Паскаль). А то возьмем тайну опять же всеобщего, прямого и тайного избирательного права: сколько жизней пресеклось досрочно, сколько судеб сломано того ради, чтобы в России утвердилось действительное избирательное право, а на поверку выходит, что оно не только никому не нужно, а даже вредно, поскольку народ наш, отягощенный образованием и алкоголем, норовит опять привести людоедов к государственному рулю. Посему вот что еще хочется сказать соотечественникам: соотечественники, бойтесь своих доброжелателей, как раз надуют, и даже не по злomu умыслу, а невольно, ибо не добра следует желать русскому человеку, а двенадцатичасового рабочего дня и по возможности мягких зим; кроме того, от благодетелей потому ничего хорошего не приходится ожидать, что таков уж злокозненный русский грунт: посеешь огурчика, а вырастет разводной ключ.

Часов так в пять пополудни шабашишь, смываешь пот и принимаешься за обед. Весенним делом на первое хорошо — щи, да с мозговой костью, с антоновским яблоком и жареными помидорами, причем не забыть столовую ложку сахара и полбанки сметаны, которую бухаешь прямо в кастрюлю, — в противных вариантах это уже не щи. На второе предпочтительны котлетки из трех видов мяса, именно говядины, баранины и свинины, с неременной сырой картошкой и пшеничным хлебом, предварительно замоченным в молоке. На сладкое — сигарета, которую выкуриваешь, сидючи на крыльце.

После обеда — по нашему национальному обычаю — прикорнуть. Но прежде на веранде растапливаешь камин — это, впрочем, для приятности, а во-все не для тепла, — потом заваливаешься на старый топчан ногами к огню, который сердито потрескивает и шипит, берешь в руки какую-нибудь нелепую книгу, вроде монографий «Сновидения у собак», и вот оно, счастье, в его перво-зданном виде, которое наверняка было не доступно ни египетским фараонам, ни Александру Македонскому, ни членам фракции социалистов-трудовиков.

Александра Македонского почему-то душевно жаль, все-таки из хорошей семьи, у Аристотеля учился, элегии сочинял — и вдруг такое мальчишество: взял и завоевал полмира, основав лоскутную, нежизнеспособную империю, и спрашивается, зачем? А вот социалистов, желающих осчастливить народы, совсем не жаль, во-первых, потому, что «человеческое счастье — это гораздо сложнее, чем полагают господа социалисты» (Федор Достоевский), а во-вторых, кого и как может осчастливить глубоко несчастное существо, у которого ни кола, ни двора, ни образования, ни племени, ни профессии, ни семьи... Однако мысли уже начинают путаться, налезать друг на друга, и вскоре сознание гасит сон. Снится всегда какая-нибудь ерунда, положим, будто ты выгуливаешь собаку в Столешниковом переулке, а тебе навстречу идет фараон Джосер...

Кажется, только прикорнул, как уже кто-то стучит в окно.

— Эй, хозяин, дрова нужны? — Это Пашка Сидоркин из нашей деревни, который, вероятно, украл у бывшей супруги тележку дров. Я отвечаю решительным отказом, и тогда он зовет меня покурить.

Наискосок от моей усадьбы третий год строится некто Елена Сергеевна, предпринимательница из Твери, и вокруг постройки валяются сосновые бревна, на них-то мы и усаживаемся курить. Сидоркин заводит свой козырной сюжет...

— Сколько раз я ей говорил: на хрена, говорю, Сергеевна, тебе эта санатория, построила бы домик с *марсандой* — самое было б то!

— Для человека главное, — отвечаю, — это живительное пространство, в котором себя вольготно чувствует твое «я». Недаром настоящий крестьянин всегда норовил прикупить земли.

— Ну это, наверное, при царе Горохе существовала такая мода, сейчас колхознику земля и даром-то не нужна.

— Удивительное дело, — говорю. — Неужели у вас на весь колхоз не нашлось ни одного мужика, который решил бы завести собственное хозяйство?!

— Ну почему? Нашелся один такой, землю взял, телят завел, сушилку свою построил — все, как полагается у мироеда и кулака...

— Ну и что?

— Убили.

— Как так убили?!

— А так: приехал какой-то хмырь с того берега Волги, вытащил из багажника двустволку и застрелил.

Солнце уже давненько перебралось на ту сторону реки и, точно с устатку, присело на кроны деревьев, произведя неожиданное, золотисто-салатовое свечение, молодая трава, еще нечувствительная к движению воздуха, потемнела, да и ветер стих, галки угомонились, слышатся только соседские, по-вечернему умиротворенные голоса. Вот уж, действительно, как подумашь, благодать.

По вечерам обыкновенно бывают гости. Поскольку слышимость в наших местах противоестественная, то о приближении гостей из соседних деревень я узнаю задолго до их появления, когда они еще только въезжают в Козловку, а это за рощей, гречишным полем, речкой Козловкой же и предлинным оврагом, который почему-то называется — Сухой Ключ. По голосу двигателя я даже распознаю, кто именно едет в гости: то — Логиновы на «девятке», сё — Диодорovy на «рено».

Положим, вечерним делом сию у Генки-Астронома на скамеечке у ворот. Заметим, что Астроном он прозывается вот по какой причине: за малой приспособленностью к хозяйству жена Татьяна частенько посылает его сторожить утят; сидит Генка на берегу маленького вонючего пруда, затянувшегося тиной

яхонтового оттенка, и смотрит в небо: не ровен час, ястреб налетит и нанесет урон сонму его утят. Разумеется, такое меланхолическое занятие на могло не сказаться на его умонастроении, во всяком случае, понятно, отчего он пописывает стихи. Подозреваю даже, что Генка по-своему обогатил поэтическую традицию, по крайней мере он обошел японскую культуру тристишия «хокку», ибо наострился сочинять вирши, состоящие из двух строк. Например:

Того и жди
Пойдут дожди.

Или:

Внутри бьется, чуть дыша,
Молодежная душа.

Так вот, сидим мы с Генкой-Астрономом на скамеечке у ворот; я люблюсь на закат, грозно-багровый, волнующий, как дурное предзнаменование: запад придавила темно-лиловая туча, оставив голубую полосу по-над горизонтом, и солнце оттуда выглядывает, словно глаз, налившийся кровью,— Генка по инерции смотрит в небо.

— Ген,— говорю,— сколько молока надоил сегодня?

— Литров шесть,— отвечает он,— а вчера было полно ведро. Ну с каждым днем всё хуже и хуже, то есть вся Россия помаленьку идет к нулю! В позапрошлом году продали лен? Худо-бедно продали, а в прошлом году льнокомбинат ни копейки не заплатил, и, можно сказать, пошел по миру наш колхоз. Так надо думать, что в этом году вообще лен сеять не будем, вот до чего дошло!

У Генки-Астронома три коровы, две свињи, десяток овец и птицы не сосчитать, но он аккуратно голосует за коммунистов и после очередного поражения левых сил напивается так, что начисто пропадает, и Татьяна, вооружившись совковой лопатой, идет по деревне его искать.

Невольно подумаешь: русская жизнь, взятая среднеарифметически,— это сплошной какой-то «Вишневый сад», а взятые среднеарифметически русские люди — сплошные фирсы, которых защемило по двум кардинальным пунктам, именно: *человека забыли, и куда было лучше при господах*. Ну не умеет — или не желает — наш соотечественник жить сегодняшним днем, а предпочитает существовать либо днем завтрашним, либо вчерашним, не важно, что завтра для него чревато всеневистными демократическими свободами, а вчера он, высунив язык, гонялся по Москве за любительской колбасой. Но то, что мы называем «сегодня», собственно, и есть жизнь, и, стало быть, русский человек просто-напросто не очень-то любит жить, что проясняет многие особенности нашего быта и национальной истории, например, почему мы-таки победили в Великой Отечественной войне.

Итак, сидим мы с Генкой-Астрономом на скамеечке у ворот, разговариваем, вдруг явственно слышу, что гости едут: вот Диодоровы на «рено», вот Логиновы на «девятке», да к тому же еще и Холмогоровы на «Оке». Благо, по деревенской жизни всегда найдется, чем угостить, вплоть до самодельного кальвадоса из райских яблочек, и покуда соседи минуют овраг, гречишное поле, рощу — на маленькую полянку позади дома будет вынесен пластиковый белый стол со стульями, а на столе появится свеча в стеклянном подсвечнике, четвертная бутылка кальвадоса, соленья-варенья и большое блюдо жареных окушков. И десяти минут не пройдет, как, перецеловавшись по московскому нашему обычаю, усаживаемся за стол; разливается по стаканам яблочная водка, зажигается свечка — и вдруг увидится картина поразительной, ненынешней красоты: еще не ночь, но воздух прозрачно-темен, на востоке низко висит изумрудная Венера, звезда весенняя, и точно смотрит, чуть в стороне, у забора, белеет вишня, похожая на тучное привидение, а недвижимое янтарное пламя свечки озаряет лица каким-то библейским светом; даже собаки не брешут, разморенные тишиной, ну разве майский жук налетит, жужжа, и слышно плюхнется в смородиновые кусты. Говорить не хочется, и так хорошо, но мало-помалу кальвадос развязывает языки.

— Вот интересно,— говорю,— сколько лет нашей деревне? Вероятно, лет двести, а может быть, и пятьсот.

Логинов говорит:

— Вы представляете себе: пятьсот лет тому назад, еще при Иване III, сидели вот так же здешние мужики, от которых и костей, наверное, не осталось, и говорили о том о сем...

Я:

— И один другому говорит: не ндравятся мне теперешние порядки, вот татар зачем-то прогнали, а, спрашивается, зачем?!

— В том-то все и дело,— вступает Диодоров,— что не там мы ищем истоки вековой своей беды. У русского человека во всем климат виноват или англичане, а сам он нечаянно падший ангел, который по недоразумению питается лебедой.

Мы так, замечу, давно знакомы, что тезисами говорим, опуская связующее звено, но все равно получается примерно «Вишневы сад».

— Истинная правда! — меж тем соглашаюсь я.— Если бы мы поменьше думали о правительственном кризисе в Доминиканской Республике, а побольше заботились о себе, Россия давно бы стала столицей мира.

Помолчим немного, разомлевшие от прелестного майского вечера и вина. Слышно, как неподалеку неустанно шумит река, в березовой роще вдруг страшно крикнет птица, на дальнем конце деревни пикнет и замолчит не совсем трезвая гармонь, и такое внезапно нахлынет ощущение счастья, что горло запрет какой-то хороший спазм.

Потом Холмогоров скажет:

— Между прочим, генерал Лорис-Меликов, которого с ног до головы обогнала советская историческая наука, был выдающийся государственный деятель и замечательный человек. Но обратите внимание: на Берию ни одного покушения не было, в Сулова только раз бросили бутылкой из-под портвейна, а на Лорис-Меликова народовольцы открыли форменную охоту. О чем это говорит?

— Это говорит о том,— отзывается Диодоров,— что человечество еще не преодолело стадию поздней дикости и ему до сих пор неизвестно, что к чему. У человека, положим, за плечами высшее образование и кандидатский минимум, а он не отличает либерала от стукача!

— По этой же причине,— добавляет Логинов,— люди ищут решение проблемы жизни и смерти в коммерческой деятельности, в занятии искусствами и особенно в политической борьбе, глупее которой человечество ничего не выдумало, если не считать танцы.

Я:

— Между тем Лафотер еще двести лет назад открыл, что смысл жизни заключается в самой жизни, как смысл вращения Земли вокруг Солнца заключается во вращении Земли вокруг Солнца, а вовсе не в том, чтобы можно было выжигать по дереву через увеличительное стекло. Ведь простая, кажется, вещь: «Когито ерго сум», то есть живешь постольку, поскольку понимаешь, что ты живешь. И сразу самая простецкая жизнь приобретает глубокий смысл...

Ну и так далее в том же роде. Небо над головой тем временем почернело, и звезды давно высыпали, злорадно намекающие на то, что пространство беспредельно, а время имеет счет. Действительно, подумается, если через шесть миллиардов лет Солнце поглотит Землю, то зачем я, спрашивается, пишу...

ЛЕТО

На самом деле жизнь человека задумана и организована так премудро, что, как уже было отмечено выше, «единственное настоящее несчастье — это собственная смерть».

Несколько лет подряд просыпаюсь с такой вот гнетущей и одновременно веселой мыслью, и это неудивительно, ибо когда человеку за пятьдесят, его, воленс-ноленс, увлекают думы о смерти и о дальнейшей судьбе души. Впрочем, и то верно, что самые мрачные соображения, как правило, продуцируют люди

благополучные, и скорее всего эту глубоко французскую поговорку выдумал какой-нибудь бонвиван, который не ведал иных несчастий, кроме как порезаться при бритье.

Опыт же возьмем меня; живет человек в деревне, дышит вольным воздухом, настоящим на цветах, пьет ключевую воду с повышенным содержанием серебра, трудится в свое удовольствие, занимаясь, в общем, невредным делом, одним словом, как сыр в масле катается, и вот поди ж ты — каждое утро его угнетает мысль: жить, конечно, хорошо, особенно в деревне, но однажды этому делу придет конец. С другой стороны, сознание конечности личного бытия представляет собой главный, если не единственный, возбудитель литературы, и, следовательно, именно смертной думе мы обязаны тем, что у нас есть книга, да еще в качестве универсального средства от всех воздействий, потому что она, когда надо, развеет, а когда надо, насторожит. Таким образом, не бреди наш разум последний час, человечество вряд ли вышло бы за рамки ритуального танца и пищалки «уди-уди». Отсюда, между прочим, вытекает еще такое соображение: Отец, сотворив человека смертным, тем самым дал жизнь богоподобному гению и творцу, который способен отделять, в частности, свет от тьмы,— к чему бы это, ежели не к тому, что слово писателя есть опосредованная воля Божья, мановение, переведенное на язык...

В то время как мысль обретается высоко, набирает обороты простая жизнь: вот за стеной мансарды завозились галчата, которые аккуратно каждое лето рождаются под крышей дома, — значит, пора вставать. Седьмой час утра, небо еще бледное, молодое, солнце едва выпросталось из-за линии горизонта и дает какой-то свежий, румяный свет. Все кругом зелено, по-июньски зелено, так сказать, на юношеский манер: и ржаное поле за околицей, которое упирается в березовую рощу, куда подернутую туманом, и овсы за рекой, и трава у заборов, и разросшиеся на задах крапива да лебеда. Еще видно, как там и сям дымятся черные крыши сараев и мерцает в траве обжигающая роса. Слышно же только речку, а чуть позже отдаленные звуки стада, которое уже погонят нашей деревней два пастуха: долговязый Виталик Девяткин и маленький Серега Белобородов по прозвищу Борода.

Поскольку вода в рукомойнике за ночь не остывает, летом хорошо умыться непосредственно из реки. Тропинка пересекает деревенскую улицу, огибают маленький пруд, полузросший яхонтовой тиной, минует поляну, усыпанную цветами, которые производят сложные парфюмерные запахи, и круто спускается вниз к реке. Вода в ней быстрая, говорливая и настолько прозрачная, что даже в ветреную погоду будет хорошо виден нарочно брошенный пяточок. Стало быть, усесться на корточки у мостков, запустить в реку обе ладони и долго, с чувством орошать помаленьку оживающее лицо. Глядишь: вон метрах в пятидесяти левее цапля внимательно разгуливает меж камней, что-то тяжело плюхнулось в воду у противоположного берега, а вон рак порскнул в сторону, но зато набежали и роятся отчаянные мальки. Единственная мысль, тоже свежая, как бы умытая, даже розовеющая от свежести: хорошо.

По возвращении весело бывает ревизовать свои зеленя; картошку, однако, пора по второму разу окучивать, укроп хотя и скелетист, но уже распространяет задорный дух, кабачки кустятся так, что любо-дорого посмотреть, равно и морковка отменно развивается, и свекла, и бобовые, и редис. И все-то на усадьбе в порядке, все ровно-гладко, как на параде, ни один посторонний гвоздь не валяется, точно это не пятнадцать соток угодий, а любовно прибранное жильё. Единственно подумаешь, что через три тысячи лет тут будет дно морское, или землю закатают асфальтом, или на наш Зубцовский район распространится пустыня Гоби, и тогда такая мысль ядом разольется: нехорошо.

В силу теории относительности, которая представляется почему-то особенно результативной относительно сельского способа бытия, время от пробуждения и до той минуты, когда садишься писать за стол, кажется чрезвычайно протяженным и чувствительным, хотя тот отрезок составляет максимум полчаса. Возможно, так кажется потому, что солнце в эту пору совершает самую приметную часть пути: еще давеча оно светило сквозь кроны

деревьев, а теперь уже перевалило за нашу речку и волнами распространяет тепло, похожее на прикосновение, или на приступ стыдливости, или на легкий жар. Впрочем, в моей мансарде по-прежнему прохладно и так уютно, что все бы писал, кажется, и писал; диван, маленький стол, на котором едва умещается пишущая машинка системы «Оптима», деревянное исполкомовское кресло, рублевская Троица, подсвеченная лампадкой, модель двухмачтовой шхуны своей работы и собственного же дела тяжелые полки книг. Из превходящего: трубочка и кружка крепкого кофе со сливками, которое веселит обоняние и приятно тревожит ум. Знай себе удовольствуйся и пиши.

И писал бы, кабы не тот дефис, что вижу — в деревню ввалилось колхозное стадо, которым предводительствуют Виталик Девяткин и Серега Белобородов по прозвищу Борода. Последний, по всем признакам, уже опохмелился, несмотря на сравнительно ранний час, поскольку он неуверенно орудует кнутом и не совсем твердо держится на ногах. Виталик Девяткин мимоходом облокотился на мою калитку и говорит:

— Вчера отдохнули маленько...

— Святое дело,— потрафил я.

— Сейчас Борода, я так понимаю, где-нибудь рухнет спать.

— Полный вперед.

— Ты посмотри, чтобы его собаки не покусали или машина не наехала...

— Посмотрю.

Девяткин протяжно вздохнул, достал из-за рукава сигарету и закурил.

— Дурную какую-то водку стали выпускать, прямо, хрен ее знает, не водка, а чистый яд. Я думаю, это правительство решило окончательно избавиться от народа — по-другому ихнюю политику не понять.

С недавнего времени как-то нехотя пишешь прозу; во-первых, совестно водить читателя за нос, выдавая свои фантазии за былое, а во-вторых, стали вдруг раздражать условности, на которых держится литературное ремесло, например, необходимость выдумывать для персонажей экзотические фамилии или неизбежный порядок слов. Вообще художественная проза — это слишком игра производителя с потребителем, чтобы ею было извинительно заниматься в зрелые годы, тем паче на склоне лет. Хочется говорить с соотечественником без околичностей, напрямки, как Христос завещал: «Да — да; нет — нет; а что сверх этого, то от лукавого». Слава Богу, писателю всегда есть, что сказать в ракурсе «да» и «нет», на то он и писатель, что видит острее, объемлет шире, вникает глубже, чем дано от природы нормальному человеку, по крайней мере он способен сформулировать то, что все понимают, а изложить своими словами — это ну никак...

С одной стороны, такой переворот смущает, ибо он навеивает предположение, что, может быть, ты просто-напросто исписался, но, с другой стороны, лестно делается, едва вспомнишь, что через него прошли такие титаны, как Николай Гоголь и Лев Толстой. Правда, в обоих случаях переворот дал сомнительный результат: Гоголь в итоге написал книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», которая может быть интересна только специалистам, а Толстой, как известно, ударился в терапию, хотя доподлинно известно: «Литература — редкое лекарство, но всегда — боль» (А. Герцен).

Так вот уже года два пытаешься что-то сделать на стыке прозы и публицистики, полагая в этом алгоритме выход из тупика. Не исключено, что тут открывается решение обещающее, продуктивное, тем более что в наше время у соотечественника иссякло желание следить за развитием отношений между Петрушей Гриневым и Машей Мироновой, а если ему нынче и есть дело до художественного слова, то это слово должно быть какое-то непосредственное и веское, как «батон». Поскольку центральная фигура в России сейчас борец от нечем себя занять, писать хочется о борце, то есть о разбойнике, причем разбойнике крайне вредном, особенно если он главным образом ратует за народ.

Тема эта, в общем, неблагоприятная, во-первых, потому, что освоенная, во-вторых, потому, что по бедственной русской жизни сия аксиома не требует

доказательств, а в-третьих, потому, что за окном едва приметно покачивается ветка яблони, сквозь нее видно речку, овсы соседнего колхоза «Передовик», высокий берег Волги, заросший елью, осиною и сосной, а дальше только синее-пресинее небо, похожее на театральный задник, по которому плывут куда-то ватные облака. Впрочем, в нашем деле что важнее всего? Слова... Вернее, порядок слов и то, как они пригнаны дружка к дружке, плюс, конечно, хорошо иметь в знаменателе такой дар, чтобы действительность делилась на него без остатка, как, положим, делится пять на пять. Ведь можно сказать и так: наступил октябрь, уже рощи отряхнули последние листья со своих нагих ветвей, дохнуло осенним холодом, дороги замерзли... ну и так далее, а можно сказать и так: «Октябрь уж наступил — уж роща отряхает/ Последние листы с нагих своих ветвей...» — то есть слова вроде бы те же самые, а разница такая, как между понятиями «миссия» и «мессия».

Итак, вставляем в каретку лист, вздымаем кисти рук над клавиатурой «Оптимы» — и вперед: «Когда вождей Конвента с шумом и стрельбой арестовывали в Парижской ратуше, по некоторым сведениям, Макс Робеспьер воскликнул: «Республика погибла, разбойники торжествуют!» Что до республики, затеянной булочниками, которые начитались энциклопедистов, то, может быть, туда ей и дорога, тем более что 9-го термидора, по существу, вор у вора дубинку украл, а вот о разбойниках хочется говорить».

Хочется-то — хочется, а что, собственно, говорить?.. Пока то да сё, можно ручки по-новому переложить, заточить карандашик и понаблюдать из окна за соседским псом, который нежится на солнце и смешно отгоняет мух. Ну разве что так... Вчуже разбойников понять можно: действительно, куда увлекательней шататься по свету, шокировать публику свежими моральными нормами, отстреливаться и скрываться, нежели битых восемь часов простаивать у станка. Только в том-то вся и штука, что борьба за совершенное общественное устройство есть занятие в высшей степени бессмысленное и коварное, ибо, например, всеобщее избирательное право нельзя завоевать путем вооруженного восстания, его можно только заслужить или выслужить,— Россия вон обрела наконец действительно всеобщее избирательное право, но поскольку она доросла много если до конституционной монархии древнеанглийского образца, то законотворчеством у нас занимаются преимущественно лоботрясы и чудаки. Оно и понятно, коли принять в расчет, что наш излюбленный персонаж — бандит Степан Разин, который, в частности, сжег Дербент.

Следовательно, хирургическое вмешательство в естественный ход вещей — дело вредное, поскольку, например, личностное, общественное и имущественное неравенство, увы, категория естественная, и оттого вечная или около того, поскольку, например, человечество и помимо учения о диктатуре пролетариата развивается, уповательно, в сторону всеобщего благоденствия, во всяком случае, оно уже проделало некий путь от царя Ирода до Робеспьера и от Робеспьера до наших дней. Да вот беда: революционерам закон не писан, и, скажем, наши большевики будут мутить воду до скончания своих дней, потому что большевизм для них — целое веселое занятие, которое дает хлеб насущный, известность и приложение злостных сил, потому что, кроме как вод мутить, они не умеют решительно ничего. На Западе знать не знали про шесть условий товарища Сталина, Бог миловал романо-германцев от коллективизации и борьбы против безродных космополитов, и «Моральный кодекс строителей коммунизма» никто у них не читал, а между тем по ту сторону Эльбы сам по себе сложился тот общественный строй, о котором мечтали наши большевики, причем мечта эта осуществилась в условиях частной собственности на средства производства и эксплуатации человеческого труда; а что же по сю сторону Эльбы, где и народ обитает смиренный, хоть веревки из него вей, и черноземы самые тучные в мире, и нефти хоть залейся, и злата пропасть таится в недрах, и, главное, начальство с утра до вечера ратует за народ, а загодя записывались на галоши, и муку давали не каждый день.

Итак, очевидно, что борцы за социальную справедливость — это в своем роде лишние люди, не приспособленные к положительному труду, которые безобразничают потому только, что как-то надо себя занять. Макс Робеспьер, самозванный защитник «попранной невинности» и «угнетенной добродетели» при помощи гильотины, на поверку оказался особой, до такой степени далекой от прозы жизни, что когда он задумал покончить самоубийством, то всего лишь прострелил себе нижнюю челюсть, так как отродясь не держал в руках ничего опаснее столового серебряного ножа; Жан-Поль Марат, лекарь-самоучка, дорвавшись до власти, первым делом закрыл Французскую академию, за то что «бессмертные» издевались над его научными трудами, вроде «О причинах радужной расцветки у пузырей»; Дмитрий Каракозов, открывший охоту на царя-освободителя, был недоучившийся студент и клинический неврастеник; Андрей Желябов даже в бахчеводстве не преуспел; Ульянов-Ленин — неудавшийся адвокат, Троцкий даже среднего образования не получил, правда, он пробовал себя в живописи и перевел басни Крылова на украинский язык; Сталин, в сущности, — раз и навсегда обиженный кавказец, которого выгнали из семинарии за курение табака. Спору нет — люди всё это были совсем не глупые, по-своему даже мудрые, только на обескураживающий манер: они были из тех мудрецов, кто способен измыслить изощренную программу, выработать тонкий план, принять самые хитрые меры на тот предмет, чтобы осушить Тихий океан или вывести Юпитер из состава галактики Млечный Путь. Поскольку задачи эти, по всей видимости, нелепы, постольку все революции имеют одну судьбу: от абсолютизма к абсолютизму, через кровь, муки и талоны на колбасу. Особенно же в России этот заколдованный путь жесток, возможно, по той причине, что у нас слишком своеобразно понимается социальная несправедливость: это когда корова у соседа двух телят принесла. Кроме того, у нас чересчур много опирается на слова; академик Павлов еще когда высказал «свой печальный взгляд на русского человека»: «Русский человек,— писал он,— имеет такую слабую мозговую систему, что он не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действительностью, а со словами». Уж это ни дать ни взять: положим, говорят нашему Иванову, что социализм есть равенство всех людей, и он вопреки таблице Менделеева будет до скончания века стоять на том, что если и мне плохо и тебе плохо, то это и будет социализм. Даром что наш Иванов живет в бараке и сидит на пайковом хлебе, он уже счастлив тем, что пошли всё новые, радостные слова, и в принципе даже можно сказать «товарищ» наркомму ужасных дел. Похоже на то, что эпоха большевистского царства была самым счастливым периодом в отечественной истории, поскольку тогда господствовали органичные складу русской души понятия и слова. Что ни говори, а Россия — больное дитя в семье народов; впрочем, напрямки об этом не следует говорить.

Прежде подобные рассуждения просто-напросто втискивал в уста того или иного литературного персонажа, но с течением времени стало ясно, что это прием вызывающе искусственный, вроде снов Веры Павловны, и в дальнейшем прибегать к нему не с руки. В дальнейшем дело строилось таким образом: рассуждения — это от автора, в качестве контрапункта к ним — какой-то простой сюжет плюс веселые диалоги, имеющие отдаленное отношение к главной теме, а в финале — пересечение линий по Лобачевскому в заранее намеченной точке координат. Ну и проследить, чтобы каждый период имел собственную округлость, которая достигается определенной последовательностью слогов и в результате так смыкает прозу с поэзией, как заданный ритм смыкает поэзию с музыкой, но не так, как смыкаются фотографии и кино. Именно нельзя написать: «А ведь как подумаешь, совсем стало невозможно жить в Москве», — но следует написать: «А ведь как подумаешь, в Москве стало совсем невозможно жить». Впрочем, это делается автоматически, как-то само собой, словно есть в тебе лишний орган, похожий на камертон. Другое дело — к чему эти изыски, если

читатель пошел нетребовательный, а редактор — невникающий, во всяком случае, редко когда чувствующий музыку языка.

И все-таки самое главное — это придумать простой сюжет. И придумал бы, надо полагать, кабы не тот дефис, что гляжу: соседский пес подозрительно скалит зубы на мирно спящего пастуха Серегу Белобородова по прозвищу Борода. Пришлось спуститься вниз и отогнать животину прочь — в результате этого мелкого происшествия настроение, конечно, уже не то.

Время около часу дня, дом давно проснулся и живет по обыкновенному распорядку, то есть Ирина Борисовна, дражайшая половина, занимается по хозяйству, собака Кити, ротвейлер породой и болонка по воспитанию, самозабвенно гоняет галок, кошка Маша сидит на подоконнике и делает туалет. Поскольку в голове от усталости непорядок, хорошо с полчаса посидеть под калиной в плетеном кресле, чтобы мало-помалу прийти в себя.

Солнце почти в зените и, хотя оно стало заметно меньше, источает жаркий зной, резко пахнет травами и как будто горелым хлебом, но если потянет воздухом от реки, то кувшинками и прохладой, а если с северо-запада — то горячим сосновым духом, который дает новая банька, стоящая на задах. Хотя в нашей деревне круглое лето живет около сотни душ, ее без малого не слышать: ну изредка машина проедет, и сразу станет противно дышать, ну заголосит в омутке соседская ребятня, в худшем случае на дальнем конце деревни кто-нибудь заведет электрическую пилу. О чем думаешь в эту пору? Опять же о равенстве, вернее, о том, что архитектор Шехтель был сыном повара из саратовских волгарей, о том, что патриотизм в современном виде подразумевает незаконченное среднее образование, о том, что бы такое съест на полдник, и еще о том, что весь ход развития человеческой цивилизации направлен к тому, чтобы олухам было удобней жить. На полдник, или, если угодно, на второй завтрак, который бывает в полдненный час, сочиняю следующее меню: жареная колбаса, яйца по-английски, то есть с горчицей, яблочные оладьи с вишневым вареньем плюс разбавленное вино. Но сначала пойти проверить, как там живет-может пастух Серега; а ничего: сидит в теньке под столетним вязом и усердно, продолжительно трет глаза.

Увидев меня, он хорошо зевнул и поинтересовался:

— Насочинял чего сегодня?

— Как же! — отвечаю. — Насочинял...

— А про что?

Я призадумался:

— Вот так сразу затрудняюсь сказать, про что...

— Живут же люди! — воскликнул Борода и снисходительно ухмыльнулся, пощуриваясь на солнце.

А я подумал: в его глазах я, вероятно, человек ненормальный, что-то вроде деревенского дурачка.

Когда с полдником покончено, принимаюсь за разные хозяйственные дела. Перво-наперво воды наносить из речки; деревня наша, как это ни удивительно, стоит на известняковой плите и, следовательно, обходится без колодцев, посему для полива своих угодий ежедневно запасает до двадцати ведер речной воды. После — косьба, хотя это и против правил, поскольку народная мудрость гласит: «Коси, коса, пока роса», — но в росные часы я как раз пишу. Заточиваю вороненое лезвие оселком до такой степени остроты, что на него даже посмотреть и то оторопь берет, и начинаю выкашивать маленькую полянку, которая простирается от задней веранды до плантации кабачков. Если не для козы сено запасать, а воспитываешь газон, то косьба — дело тонкое, предполагающее крестьянское звено в генетическом коде, приверженность европейской цивилизации, гордыню и достаточно крепкий торс. Кошу я, правда, не ежедневно, но дважды в неделю, как правило, я кошу.

Из-за того, что силы уже не те, больше двух-трех соток в один прием обработать не удается: перед глазами начинают ходить оранжевые круги, хороший пот обливает тебя с головы до пяток, руки и ноги точно из чугуна. Тем не менее заодно уж забор подправить, ножи наточить, разбить колуном старую березо-

вую колоду, залатать куском рубероида крышу сарая, проредить морковку, выгresti золу из камина, натянуть за банькой веревку для сушки белья, докопать выгребную яму, подкачать у «копейки» правое переднее колесо.

Наконец, с легким сердцем можно идти купаться, прихватив мыло в мыльнице, початую бутылку шампанского и бокал фальшивого хрустала. Удивительное наслаждение, равное которому поискать: залезть голышом в нашу мелкую, прозрачную речку, усесться на песчаное дно, так, чтобы только голова торчала среди кувшинок да рука по локоть с бокалом фальшивого хрустала, и потягивать прохладное шампанское, щурясь на солнце и говоря себе внутренним голосом разные значительные слова; например, говоришь о том, что по мирному времени счастье напрямую зависит только от воображения и больше ни от чего. Или можно порассуждать на такую тему: вот и крестьяне, и горожане, и чиновничество, и ворье совершенно гармонизируются с нашей национальной традицией, и только интеллигенция выпадает из слаженного ансамбля. К чему бы это, если учесть, что русский интеллигент представляет собой наиболее нравственный, деятельный, вообще сложившийся элемент? Похоже на то, что наша интеллигенция есть особая нация внутри нации, то-то она искони в оппозиции окопалась и ей все в России не по душе. Поэтому, в частности, Серега Белобородов для меня что-то вроде бельгийца, а я для него — индус. То есть это не то удивительно, что я вполне понимаю бельгийца, а он меня — нет, а то удивительно, что трудно добиться взаимности у русского пастуха.

Солнце между тем приметно заваливается за Волгу, и, хотя оно выглядит несколько пожухшим, все еще отражается ослепительными оранжевыми бликами на воде. Время идти обедать; на обед в такой знойкий день хорошо отведать салата из разных видов зелени с прошлогодней брусникой, зеленые щи из щавеля и крапивы с цельным крутым яйцом, а на жаркое — холодной телятины со свекольным хреном и свежим картофельным пюре, от которого идет сумасшедший дух. После обеда — трубочку выкурить, сидя под калиной в плетеном кресле и глядя стекленеющими глазами на поле, рощу и сизый лес. О чем думаешь в эту пору? Да, собственно, ни о чем.

Около пяти часов пополудни иду рыбачить. Прилаживаюсь на берегу возле мостков, подстелив под себя старый ватник, насаживаю на крючок жирного червяка, закидываю удочку и вдруг вижу: у противоположного берега, среди кустов тальника, сидит в надувной лодке и тоже удит бригадир Потапов из колхоза «Передовик». Спрашиваю из вежливости:

— Как дела?

— Как сажа бела, — отвечает мне бригадир. — Вчера последний комбайн сгорел.

— Отчего же он сгорел?

— А ни от чего! Стоял-стоял, а потом сгорел.

— Вот я и говорю: вся наша жизнь состоит из тайн. Вернее, из вопросов, на которые нет ответов. Ну со времен Салтыкова-Щедрина вопросы есть, а ответов нет. Кстати, вот тебе цитата из этого автора: «Везде мальчики в штанах, а у нас без штанов; везде изобилие, а у нас — «не белы снега»; везде резон, а у нас — фюить!»

— Ну, положим, у иностранцев тоже бывают проколы на ровном месте. Вот мне дед рассказывал, будто еще при царе арендовали землю у здешнего помещика Безобразова два англичанина — Том и Боб. И задумали они ввести в хозяйстве сенопрессовальную машину, чтобы, значит, прессовать сено и продавать. Только умылись наши англичане, потому что мужики стали совать в машину разные посторонние предметы для веса, например подковы и кирпичи. Если сено на возу, то в нем всегда различишь лишнюю вещь, а если оно спрессовано — то ни в жизнь. В результате наше сено получило такую славу, что его никто даже спьяну не покупал. Ну и умылись наши англичане, не солоно хлебавши убрались новаторы — Том и Боб...

После мы с бригадиром долго молчали, уставясь на поплавки. Вот опять же тайна: не клевало, хотя день был подходящий и время для ужина в самый раз.

Жил-был в прошлом веке такой Константин Фофанов — горький пьяница и поэт. Незадолго до этого выдалась годовщина его рождения, и мы, хотя и с некоторым опозданием, решили отметить юбилей, собравшись у Думанянов в деревне Новой. Деревенька эта, всего-навсего в пять дворов, отстоит от нас в полутора километра; дорога туда какая-то лирически-задумчивая, сначала идет по полю, потом сосновой рощей высоко по-над речкой, затем открывается пространственная поляна, и тут увидятся на пригорке эти самые пять дворов.

В светлых брюках, в темном клубном пиджаке, при игривом галстуке и с бутылкой русского столового вина № 21 под мышкой выхожу за калитку и беру курс на деревню Новую.

Задумавшись, даже не заметил, как миновал поле, которое простирается так далеко на запад, что смешанный лес, обнимающий его серповидно, похож на приближающуюся грозу. Дальше дорога берет правее и вводит под своды сосновой рощи, где господствуют песок, бугорчатые корни, о которые спотыкаешься почем зря, запахи навоза, смолы и хвои. Вот уже и роща вся вышла, открылась покатая поляна, аккуратно подъеденная коровами, только там и сям торчат мрачные лопухи. Если взобраться повыше, увидишь пасмурного цвета Волгу, скучные деревеньки на том берегу и сельский погост, который почти ежегодно заливают осенью и весной. Невольно придет на мысль: счастье в техническом отношении — это просто, то есть смотри себе и смотри.

Тем временем все наши уже сидят на веранде у Думанянов; самовар пышет жаром и как будто светится изнутри, на столе горит свеча, ветви яблонь лезут со всех сторон, точно норвят присоединиться к компании, а наши сидят в кружок и говорят, говорят, по обыкновению перескакивая с одного на другое и несколько горячась...

— Если бы Фофанов в рот не брал хмельного, мы бы еще посмотрели, кто Фофанов, а кто Блок!

— Так ведь и Блок пил горькую, еще как!

— Ничего удивительного! Если ты настоящий русский художник, то ты по определению пьяница, потому что конструктивно воспринимать нашу действительность можно, только хорошенько залив глаза! Это так же верно, как ноль минус четыре будет опять же ноль.

— Что ноль минус четыре будет ноль, это еще понять можно, а вот как из Кирово-Чепецка можно позвонить в Женеву — это понять нельзя.

Воздух еще светел, но как-то загустел, запад окрасился в кардинальские цвета, именно в лиловое с малиновым, видимо, завтра занепогодит. Отчетливо виден полусгнивший сарай неизвестного назначения, стайка берез, обглоданных буренками примерно до половины, коровник с провалившейся крышей и фрагмент металлической винтовой лестницы, который неведомо как попал в нашу тверскую глушь. Нет, Россия — точно большое дитя в семье народов, но оттого-то ее и любишь так, как уже ничего не любишь, до смятения и тоски.



Стать Лютовым

ВОЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ИЗ ЖИЗНИ
ПИСАТЕЛЯ ИСААКА БАБЕЛЯ

Часть вторая. СЛАВА. СЛЕЖКА. СТРАХ

Вокруг была Германия. Поезд шел через лес — добротнейший немецкий лес, не какой-то там расхристаный ельник на болоте. Каждое дерево — будь то сосна, дуб или бук — вполне могло быть пронумеровано, оценено и занесено в специальный реестр. Лес, таким образом, являлся не только собранием деревьев, но и строго определенной суммой денег. Это было немного противно, но, с другой стороны, вызывало своего рода уважение к необыкновенному лесу и к тем, кто привел его к такому благоустроенному состоянию... Из окна международного вагона, с обтянутого вишневым бархатом дивана Иуда Гросман глядел на немецкие деревья, за которыми впереди стоял на речном берегу город Берлин.

В вагоне было тихо — в соседних купе никто не пел песен и не играл на гармошке, и только равномерный перестук колес на добротных европейских стыках нарушал замечательную тишину. И пьяные мешочники не буянили, и не скандалила проводница. Это была другая страна, и это был другой поезд — без мешочников, без воря и отвратительной шпаны. Терпеливые пассажиры не достают здесь из дорожных сумок завернутых в газету жареных цыплят, и приветливые бабы в головных платках не выносят на насыпь, к поезду, вареную белую картошку с укропом и соленые огурцы в эмалированных ведрах. Иуда вдумчиво вспомнил этих милых толстопярых баб, их круглые краснощекие лица, их крепкие крестьянские ноги под темными подолами и ощутил сладкое прикосновение тоски. Потом другое пришло: жирные пятна на газете, разостланной вместо салфетки на лавке замызганного, грязного вагона, гогот случайных попутчиков, пьяных уже не первый день... Здесь этого нет, потому что здесь это невозможно. Вот ведь действительно чудо-юдо рыба-кит: вместо обходительных до приторности, благовоспитанных германских бюргеров звероподобные мужики с кружками в руке над бутылкой мутного самогона режут что-нибудь вроде «Там сидела Мурка в кожаной тужурке». Сама мысль показалась нелепой, смешной, и, глядя в окно, Иуда Гросман рассмеялся. Сначала он смеялся тихонько, удерживая пузырьки смеха в горле, во рту, а потом всё громче, громче, и хлопал себя руками по коленям, и хохотал уже безудержно, сняв круглые очки и подбирая клетчатый носовым платком катившиеся из покрасневших глаз слезы... Действительно, смешно получалось: немцы в своей пивной с клетчатыми занавесочками режут нестройным хором дикую песню.

Знаменитый писатель Иуда Гросман, направляясь в Париж, ехал через Германию, и это было хорошо и приятно. Приятно было, собственно говоря, знать про себя, что ты знаменитый русский писатель и что именно это обстоятельство сделало возможным поездку в Европу в международном вагоне, в отдельном купе, отделанном бронзовыми цацками, начищенными до солнечного блеска. Кто еще ездил в Европу? Раз-два — и обчелся... А ведь сколько в России писателей хороших, очень хороших, но не знаменитых! Стать знаменитым — это уда-

ча, это судьба. Это, если угодно, отчаянная дерзость — быть знаменитым в России. Не у каждого, ох, не у каждого достанет отваги высунуть голову из отечественного дерьма: могут ведь и палкой стукнуть, могут и отстрелить думающую часть тела, чтоб не придумала на свежем воздухе что-нибудь такое-сякое, особенное... А ему можно думать, можно говорить и молчать, можно ездить в Берлин и Париж, потому что он Иуда Гросман.

Поезд рывком выскочил из леса без опушки и бежал теперь по равнине. Среди аккуратных, ювелирно подогнанных друг к другу полей располагались усадьбы: крытые малиновой черепицей особнячки и добротные каменные сараи. Иуда Гросман, рассеянно глядя, сравнивал, на что приятней смотреть: на лес или на эти домики в зелени и цветах. Выходило, что на домики, и тянуло заглянуть в окна: кто там, как.

Иуда прилег на диван, прижался затылком к круглому жесткому валику. До Берлина оставалось еще часа два с половиной, но не хотелось ни читать, ни дремать, а хотелось лежать вот так, с удовольствием впитывая в себя, в каждую теплую клеточку праздного тела плавный бег поезда.

В дверь тихонько постучали.

— Да! — сказал Иуда. — Кто там?

На пороге, с милой улыбкой на бритом круглом лице, стоял малого роста толстяк в сером мятном костюме.

— Можно? — по-немецки спросил толстяк, входя. — Позвольте представиться: Зигфрид Мюллер, торговец недвижимостью. А вы герр Иуда Гросман? Я видел вашу фотографию в газете. — С такой же интонацией он, наверно, спросил бы: «А вы герр лев Толстой?» — Я вас сразу узнал. А мы соседи: я тут в двух купе от вас еду.

— Тоже в Берлин? — дежурно поинтересовался Иуда. — Как будто подъезжаем...

— В Берлин, в Берлин! — почему-то обрадовался Иудиной сметливости Мюллер. — Мое агентство имеет отделения во всех крупных городах, но центральная контора, конечно, в Берлине.

— Вы продаете замки? — уже с любопытством спросил Иуда. — Рыцарские? Да вы садитесь, садитесь...

— Это можно устроить, — сказал Мюллер, привольно садясь на бархатный диван. — Сейчас нелегкие времена, аристократические фамилии разоряются, распродают... Вы хотите купить замок?

— Хочу ли я купить замок? — с приязнью глядя на Мюллера, повторил Иуда. — Да, я хочу замок — с бойницами, башенками и подъемным мостом. На Рейне. С травяным лугом, по которому скачут лошади и собаки. Но хотите, дорогой герр Мюллер, это еще не означает купить. — Иуда с удовольствием говорил по-немецки, то и дело произнося слова на идишский манер.

— Значит, вы не можете купить у меня замок, — без улыбки подвел итог Мюллер и пожал плечами. — Но я ведь к вам пришел по другому делу. Я читал про вас в газете, там написано, что вы знаменитый писатель и ваша книжка вышла у нас по-немецки. Я хочу купить у вас эту книжку с автографом. Продайте! Я дам магазинную цену.

— Но я не торгую книгами, — с интересом глядя на Мюллера, сказал Иуда. — Я их пишу.

— Да, да! — согласился Мюллер. — Сначала пишете, а потом уже продаете. Если бы вы их только писали и складывали в сейф, вы бы ничего не заработали. У вас есть книжка? Здесь, с собой?

— Есть, — сказал Иуда Гросман.

— Так продайте же мне ее! — убедительно сказал Мюллер. — И разницу между себестоимостью и магазинной ценой вы положите себе в карман. И напишите: «Герр Мюллеру, его жене Грете и детям Гансу, Вольфгангу и Эве на добрую память».

— Да не могу я, уважаемый герр! — уже сердясь, воскликнул Иуда Гросман. — Неужели вы не понимаете? С какой стати я должен торговать книгами? Купите книгу где хотите, приходите завтра в наше торгпредство — я там буду, и я вам ее напишу. Вам, детям. Но я не стану вам ничего продавать!

— Подумайте сами! — терпеливо предложил Мюллер. — Я должен идти в книжный магазин, искать, тратить время. А зачем? Где тут здравый смысл? Ведь книжка — у вас, и вы можете получить у издателя другой экземпляр, по самой низкой цене. Вы же просто выбрасываете деньги на ветер!

— Знаете, с вами довольно-таки трудно говорить, — натянуто улыбаясь, сказал Иуда Гросман. — Дело тут, понимаете ли, не в издателе. Дело во мне. Я ведь не лоточник, герр Мюллер! Знаете что? Я подарю вам книгу, напишу и подарю. И закончим это дело.

— Ну, если вы настаиваете... — Мюллер задумчиво пожевал губами. — Но я прошу вас учесть, что я пришел к вам с самыми честными намерениями.

— Как, вы сказали, зовут жену? — Иуда потянулся к карману за вечным пером.

— Грета, — сказал Мюллер. — И дети: Ганс, Вольфганг и Эва. Вы делаете мне прекрасный подарок, герр Гросман! Я сохраню вашу книжку и буду показывать ее моим друзьям. Мы культурная нация, у нас тоже есть знаменитые писатели. Сейчас не самые лучшие времена, поверьте мне. Приезжайте лет через пять-шесть, и вы увидите новую Германию!

— Да? — Иуда снова глядел с интересом. — Новую? Какую же новую? Социалистическую?

— Национал-социалистическую! — мягко поправил Мюллер. — Мы поможем миру справиться со старыми болезнями.

— Да что вы говорите! — искренне развел руками Иуда. — А мы в России хотим того же самого.

— Хотеть — это еще не значит делать, — наклонив голову к плечу, улыбнулся Мюллер. — Не так ли, господин Гросман? Это ведь ваша мысль.

— Лечить — трудная задача, — сухо заметил Иуда. — Врачи не святые, они иногда ошибаются.

— Когда порошки не помогают, надо пользоваться хирургическим ножом, — убежденно сказал Мюллер. — И тогда уже не будет никаких ошибок.

— Да мы и пользуемся, — сказал Иуда Гросман. — А вы как думали?

— В таком случае позвольте вас сердечно поблагодарить за подарок, — подымаясь с дивана, сказал Мюллер. — Приезжайте через несколько лет, и мы пойдем с вами в добрую германскую пивную пить доброе баварское пиво.

Через несколько лет доброе баварское пиво в добрых германских пивных пили крутые ребята в черных военизированных рубашках со свастиками на рукаве. Пили родное пиво, ревели хором «Хёрст Вессель» и торжественно обещали очистить Германию от евреев и гомосексуалистов. Декорации быстро меняются, удивительно быстро. Едва ли партайгеноссе Зигфрид Мюллер был бы обрадован, увидь он в пивной Иуду Гросмана, направляющегося к нему с распротертыми объятиями.

А книга знаменитого писателя Иуды Гросмана с сдартственной надписью пережила и мировую войну, и крушение тысячелетнего рейха, и самого Иуду. Эту книгу, вовремя извлеченную из надежного тайничка, раскаявшийся геноссе показывал и американским следователям в фильтрационном лагере, и распоясавшимся внукам, корившим тупого деда за нацистское прошлое. «Милому Зигфриду Мюллеру на добрую память»... Так какой же он, Зигфрид Мюллер, нацист и антисемит? Как все, так и он. Его нагло обманули, объегирили, задурили ему голову. И ведь в конце концов не он, милый Мюллер, расстрелял замечательного писателя, а сами русские. Так чем же, спрашивается, Сталин лучше Гитлера?

Под стеклянными сводами вокзала было тепло и сыро, как в оранжерее. Люди, растерянно улыбаясь, высыпали из вагонов и, вертя головами, выискивали встречающих. Вышел и Иуда Гросман и рассматривал толпу на перроне.

Его ждали. Молодцеватый фронт в пиджаке с квадратными плечами, с букетом цветов протиснулся и, протягивая руку, сказал:

— Товарищ Гросман? Еремеев, из торгпредства. Багаж в купе? Эй, носильщик! Автомобиль ждет.

«Еремеев, — подумал Иуда Гросман, — Еремеев из торгпредства. Как быстро люди учатся жить по-человечески! “Эй, носильщик!” И ждет автомобиль».

— Заедем к нам, а потом в гостиницу,— ворковал меж тем Еремеев.— Торгпред ждет, коллектив подготовил встречу. План пребывания составлен. Опера, дизельный завод, зоопарк. Диспут «Демократические традиции и народная литература». Контакты с собратьями по перу. Убытие в Париж.

— Завод — нет,— сказал Иуда Гросман.— Впрочем, об этом потом... А ипподром тут есть, в Берлине? А дождик шел утром?

Еремеев улыбнулся заговорщицки, промолчал. Носильщик, с ног до головы увешанный Иудиным багажом, умело погрузил чемоданы, сумки и коробки в синий торгпредский «хорьх». Безмолвный шофер в форменной фуражке положил руки на перламутровое колесо руля, машина тронулась.

— Весело у вас тут в Берлине? — с жадностью глядя в окно на привольно двигающихся по тротуарам женщин и мужчин, спросил Иуда.

— Народные массы зреют медленно,— обдумав вопрос, дал справку Еремеев.— Ситуация сложная. Да что тут говорить? Немец, он немец и есть. В том смысле, что тугодум по сравнению с нашими.

— Ну да,— кивнул Иуда Гросман.— Куда им! И, потом, что русскому здорово, то немцу карачун. Тем более что думать вообще вредно, от этого голова болит. Не так, что ли?

— Так точно! — поспешно согласился Еремеев.— Кроме того, бытовой фактор выпирает: то да сё, да верхний трикотаж.

— Это в каком же смысле? — зачарованно разведаль Иуда Гросман, с восторгом собирателя запирая в памяти вот это — про фактор и про трикотаж.

— Внешнее изобилие,— со знанием дела объяснил Еремеев.— Пролетарское сознание от этого затуманивается очень сильно.

Особняк торгпредства стоял за высоким — пики с наконечниками — чугунным забором, в солидном квартале, недалеко от городского центра. В нижнем холле вокруг александровского стола с малахитовой столешницей громоздились угловатые кожаные кресла. Во второй этаж вела широкая мраморная лестница с парой высоких китайских ваз у основания.

На втором этаже, в приемной перед кабинетом торгпреда, сидела за пишущей машинкой девушка по имени Катя Мансурова. При появлении Иуды Гросмана девушка поспешно поднялась из-за стола и улыбнулась гостю, как доброму старому знакомому.

— Добро пожаловать в Берлин! — подавая Иуде маленькую сухую ладошку, сказала Катя.— А у нас с вами есть общие знакомые.

Иуда почему-то обрадовался этой новости — первой в Берлине, если не считать еремеевское сообщение о верхнем трикотаже.

— Кто же? — спросил он, с любопытством щурясь на Катю.

Но тут отворилась высокая дверь кабинета, и на пороге возник торгпред.

— Потом скажу! — услышал Иуда Катины слова, произнесенные тихонько.

А торгпред гудел, разведя сильные руки для приема знаменитого гостя в надежные объятия:

— Милости, милости прошу! Входите, присаживайтесь, почувствуйте себя как дома. Кофе, чай? Может, бутерброды? А? Икра, севрюжка? По рюмочке с дороги?

Иуда Гросман держался с достоинством, если не с прохладцей, и от объятий решительно уклонился.

— Нет-нет,— сказал он, мельком оглядывая кабинет,— я не пью. Вот чайку — это можно, да. Прекрасный вид тут у вас открывается из окна. Не Волга, конечно, но всё же... Вам, кстати, привет от наркома, просил кланяться.

— Нарком еще в прошлом месяце уведомил меня о вашем приезде,— потирая зачем-то руки, сказал торгпред. Глядя на бегающие розовые пальцы, Иуда благодарно вспомнил маленькую, упругую, как рыбка, ладошку машинистки и улыбнулся доброй улыбкой.

— Ну да я ведь на день-другой,— прохаживаясь вдоль стен кабинета, на которых развешаны были довольно-таки посредственные пейзажи и натюрморты, сказал Иуда Гросман.— Так что я вам в тягость не буду, да у меня и несколько встреч намечено в Берлине.

— Мы тут для вас целую программу составили! — с гордостью сообщил торгпред.— А как же иначе!

— Мои встречи намечены в Москве, — пристально глядя на торгпреда, сказал Иуда. — И одобрены.

— Тогда извините, — смешался торгпред. — Мы, значит, поспешили... Извините!

— Да ничего, ничего! — отмахнулся Иуда. — Вы же знать не могли... Гостиница мне заказана?

— Ну, конечно, — сказал торгпред. — Здесь, в самом центре. Товарищ, который встречал на вокзале, вас доставит.

— Ну как же, Пантелеев? — спросил Иуда.

— Еремеев, — без нажима поправил торгпред.

— Да, Еремеев, — вспомнил Иуда. — Политически подкованный товарищ. Молодец. Пусть прямо сейчас везет мой багаж в гостиницу, а я немного пройду. — Какая ладошка была у машинистки, какая ладошка! Крепенькая, теплой нежной кожи, на узком цыганском запястье... И Германия вдруг отодвинулась, отъехала на задний план, как декорация на вращающемся кругу сцены.

— У нас тут проверенные товарищи работают, — услышал Иуда ватный голос торгпреда и еще что-то про передний край борьбы с империализмом. Как видно, привет от наркома, который почему-то велел кланяться, сделал свое дело.

— Мне тут нужно кое-какие справки навести, — деловым тоном сказал Иуда Гросман. — Я могу воспользоваться услугами вашей секретарши?

— Что за вопрос! — как бы с негодованием отводя любое другое решение, взмахнул рукою торгпред. — Катя! Катя, помоги товарищу Гросману навести кое-какие справки, он не совсем хорошо ориентируется в Берлине. Пошли Еремеева с багажом в гостиницу «Корона». Покажи товарищу Гросману, как туда пройти пешочком. Скажи Валуевой, чтоб подменила тебя здесь, у меня.

«Комиссарил, — подумал Иуда, — в гражданскую комиссарил торгпред где-нибудь на Украине, может, даже по соседству с Первой конной. Хорошо командует, знакомый почерк. Новое пролетарское чиновничество. А Еремеев? Тот от сохи, и это его козырной валет. Он со временем, пожалуй, сгрызет этого торгпреда, схрустит со всеми костями. Как быстро они научаются вывязывать узлы галстуков — вот ведь что интересно! Как быстро научаются, так быстро и разучиваются. Десять лет прошло с Октября, а в Бога разучились верить, торговать разучились со вкусом. А научились, помимо галстуков, врать не по вдохновению, а за страх, научились дальтонизму, новую религию выучили — безбожие, со своими идолами, такими же кроваво вызолоченными, как старые боги. Изменились, обновились люди — все, и я тоже! Так, наверно, и должно быть. Только разбойники с большой дороги какими были, такими и остались: у них свой закон».

— Вы Катя, я знаю, — сказал Иуда Гросман, выйдя от торгпреда. — А я, выходит дело, Иуда. Вам поручено мне помогать. Но если вы не хотите — скажите, и будет по-вашему... Хотите или не хотите?

— Хочу, — сказала Катя.

— Тогда сматываем удочки, — сказал Иуда Гросман. — Найдем таксомотор, поедем кататься. Кататься — и всё. Я покажу вам Берлин.

— Можно вопрос? — сказала Катя, когда они вышли за ворота.

— Лучше два, — сказал Иуда. — Вопросов всегда больше на один, чем ответов.

— Писать — трудно? Быть писателем? — спросила Катя.

Катя Мансурова, москвичка, каучуковая девочка. Как там значилось, в свидетельстве о смерти? «Скончалась от сердечной недостаточности, в возрасте 32-х лет, в г. Москве, в Загородной больнице Лечсанупра Кремля. Вскрытие не производилось. 26 июля 1938 года». Вот так.

— Не знаю, — сказал Иуда Гросман. — Не с чем сравнить, вот ведь в чем дело... — Множество раз совершенно разные люди спрашивали его об этом: трудно ли писать книги? Иуда действительно не знал, иногда он прикидывал походя: а трудно ли? — и, не находя ответа, легко забывал о спрошенном. Писание доставляло ему наслаждение, как женщина. Трудно ли быть с женщиной? Дурацкий вопрос.

Катя легко ступала на своих стройных ногах, каблучки ее туфель-лодочек цокали по каменным плитам тротуара. Она шла справа от Иуды, и он с удоволь-

ствием ощущал, что вся его правая сторона — плечо, бок — как бы погружена в медовое солнечное тепло, а слева помещается берлинское прохладное пространство, пронизанное предвечерним слабеющим светом. Иуда скосил глаза под очками и взглянул на Катю взыскательно.

— Писатели должны быть умнее всех,— сказала Катя.— Они, например, умней актеров, не говоря уже о певцах.

— А вы откуда знаете? — удивленно спросил Иуда Гросман.— Про актеров и певцов?

— А я с ними знакома,— объяснила Катя.— Если я служу секретаршей в торгпредстве, это еще не значит, что все мои знакомые — официантки и дворники.

— Среди официанток и дворников тоже встречаются иногда милые люди...— пробормотал Иуда.— А кто глупей — актеры или певцы?

— Танцоры глупей,— сказала Катя.— Хуже никого уже нет. У них всё, совершенно всё уходит в ноги.

— Иногда это идет на пользу ногам,— сказал Иуда.— Особенно у балерин.

— Ваша жена — балерина? — спросила Катя.— Писатели почему-то любят жениться на балеринах.

— Ну почему только писатели...— с сомнением улыбнулся Иуда.— По закону жанра вы должны мне теперь сказать: «А вы тоже женаты на балерине?» И погрозить пальчиком. Ну?

— И не подумаю,— сказала Катя.— И потом я никому не грожу пальчиком, никому.

— Тогда кулаком? — разыгрывая испуг, спросил Иуда.

— Да нет же! — сказала Катя.— Это жеманство, кокетство, как хотите. Это мне не нравится. А я хочу жить, как мне нравится.

— И получается? — заботливо спросил Иуда.

— Не всегда,— сказала Катя.

— Да, это трудно...— согласился Иуда Гросман.— А что это вы говорили насчет общих знакомых?

— Григоровича знаете? — спросила Катя.— С бородой, высокий.

— Наркомпросовский? — уточнил Иуда.— Сева? Ну, конечно! Он одно время курировал библиотеки, потом театры. Этот?

— Этот,— сказала Катя и удовлетворенно кивнула головой.

— Хороший парень, но слишком старательный,— сказал Иуда.— Зануда. Станет наркомом когда-нибудь, ему это подойдет.

Иуда Гросман ошибся. Одиннадцать лет спустя, в июне 1938, Всеволод Григорович, осужденный за левотроцкистскую контрреволюционную деятельность и шпионаж в пользу Франции, умер от цинги в лагерном бараке, на Колыме. Его семья была сослана на бессрочное поселение в Центральную Сибирь. Освободившись из ссылки после смерти Сталина, его сын от второго брака эмигрировал в Израиль в середине 70-х годов, стал там раввином, возглавил радикальную религиозную группировку «Праведные мстители» и 3 августа 1993 года погиб в стычке с арабами в древней столице Израильского царства Хевроне.

— А я раньше жила в Париже полгода,— сказала Катя.— Прежде чем меня сюда перевели.

— Да? — сказал Иуда.— Ну вам везет... Давайте зайдем куда-нибудь перекусить, а потом поедem кататься.

— Вы, правда, хотите кататься? — спросила Катя.

— Нет,— сказал Иуда.— Чего я сейчас хочу — так это держать ваши руки в своих. Или в Берлине не принято так говорить девушке сразу после знакомства?

— Тут за углом ваша гостиница,— сказала Катя и просунула свою ладошку ему под локоть.— Идемте.

Руки ее были душистые, яблоневые. В зеркале, с наклоном висевшем против кровати, он видел, как она обнимала его: доверчиво, бережно. И маленькие твердые ладошки плавали по его нескладному телу.

— Это смешно — быть вместе и называть друг друга на «вы»,— сказала Катя.— Но ведь вы Иуда Гросман!

— Верно,— сказал Иуда.— А вы Катя Мансурова, каучуковая девочка... Кстати, почему?

— Занималась гимнастикой,— сказала Катя.— Могу сложиться в серп и молот, у меня даже грамота есть.

Она спрыгнула с кровати и, без усилия встав на руки, на ладошки, торжественно глядела на него снизу вверх. Распушенные ее волосы, легкие, темно-ореховые, упав, почти касались пола, розовели ровные крепкие соски маленьких круглых грудей, и над плоским сильным животом, как резное навершие, темнел выпуклый треугольник.

— Красиво,— сказал Иуда.— Ну вставай, вставай. Хватит.

За окном стояла темнота, неяркий свет торшера заливал просторную комнату. На стене, оклеенной золотистыми обоями, висела картина в широкой золоченой раме: распластанный фазан с откинутой мертвой головкой, красное вино в бокале, охотничий нож с рукояткой из ножки косули, с черным раздвоенным копытцем.

— Иди сюда,— сказал Иуда, садясь на край кровати.— Можешь встать ко мне на руки?

Она взглянула непонимающе, сказала:

— Могу.

Ему хотелось бережно сжать ее маленькие, великолепной лепки ступни в своих руках, ощутить округлость золотистых яблочных пяток и нежную, летучую тяжесть всего ее стремительного тела. Он вытянул руки, уперся локтями в колени и просительно раскрыл ладони.

— Давай!

— Подойдя и чуть изогнувшись в поясе, она коснулась пальцами его плеч и шагнула вверх, легко оттолкнувшись от пола. Руки его задрожали от напряжения. Он хотел подняться, пройти, держа ее на руках, по комнате, по ковру — и не смог. Уловив его желание и его немощь, она спрыгнула на пол и уселась рядом с ним на краешек кровати.

— Пойдем ужинать, милый? — спросила она и погладила его по лысеющей голове.— Я останусь с тобой до утра, если хочешь. Я могу.

Он поглядел на нее, улыбнулся благодарно.

— Знаешь,— сказал Иуда,— я иногда жалею, что чего-то не сделал в жизни.

— Ты? — то ли удивленно, то ли недоверчиво спросила Катя.— Иуда Гросман? Жалеешь?

— Да, я,— сказал Иуда.— Вот сейчас я пожалел о том, что никогда уже не стану цирковым гимнастом. Ни-ко-гда.

— А я жалею о чем жалею? — спросила Катя.— Что не доживу до двухтысячного года. 31 декабря, елка, тысячелетие кончается... Может, это глупо.

— Нет, я понимаю,— сказал Иуда.— Но это интересно: Берлин, добротная кровать в гостинице «Корона», русская девочка думает о конце века... Ты одна, у тебя никого нет?

— Я тебе рассказывала про Григоровича,— водя босым пальцем по узору ковра, сказала Катя.— Помнишь?

— Ну да,— сказал Иуда.— Сева Григорович.

— Это мой муж,— сказала Катя.— Но мы уже целый год не живем вместе. Это он меня сюда устроил.

Новость не укладывалась в голове, не клеилась, не вязалась: правильно-нудный наркомпросовец Григорович — и Катя, каучуковая девочка.

— Ты его бросила? — с любопытством спросил Иуда Гросман. Он был благодарен Кате за то, что она бросила Севу Григоровича.

— Разошлись,— уклончиво сказала Катя.— У него все люди делились на положительных и отрицательных. Он хотел, чтобы я была положительным персонажем. Чтоб я играла на скрипке после работы. Или носила очки.— Она вдруг сообразила, что Иуда Гросман без очков — не Иуда Гросман, и смутилась.

— Да, да,— сказал Иуда.— Я понимаю... Хочешь послушать кое что, один кусочек? Вчера в поезде сидел, писал.— Не дожидаясь ее согласия, он потянулся к пиджаку, достал записную книжку в домашнем ситцевом переплете.— Ну слушай.

«Она вернулась после восьми. Он ждал ее прихода. За окном смеркалось, живая жара дня ушла вместе со светом. Свежий ветер летел низко над землей, обтекая дома, тихих людей, безымянное дерево с его гигантскими лакированными листьями, как будто вырезанными из зеленой жести.

Что-то с ней случилось, что-то такое, чем она не желала с ним делиться, а больше делиться в большом доме было не с кем, разве что с собакой. Эта тяжелая новость жизни тяготила, взгляд ее, утром чистый до бессмысленности, сделался теперь хмур и жесток. Они поперекачивали слова, как камешки в кармане, и пошли спать.

Ночью она проснулась. Собака в углу шлепала языком, вылизывая под хвостом, противно ныли в темноте комары. Она заерзала, отыскивая местечко для своего маленького ладного тела.

Он спросил очевидное:

— Не спишь?

— Сон приснился... — сказала она нехотя, и он с отвращением представил себе этот сон — черную бездонную дыру без вспышек и бликов, а потом подумал, что не снился ей никакой сон, а просто мучит ее что-то — то, может быть, с чем она тяжело вернулась домой.

Выprostавшись из-под одеяла, она сбросила ноги на пол и села на краю кровати.

— Прими порошок, — сказал он, — и заснешь.

— Я тебе мешаю? — сердито спросила она, а потом, расслышав сухую резкость своего тона, добавила: — Вот мы всегда так: каждое слово понимаем по своему, что-то нам такое кажется...»

Иуда захлопнул книжку, положил ее рядом с собой на простыню.

— Это вы про себя? — тихонько спросила Катя. — И про нее? Она плохая?

— На «ты», на «ты»! — прикрикнул Иуда. — Ну не про тебя же... А ты хорошая? Очень?

— Она злая? — сказала Катя. — А когда это выйдет?

— Никогда, — сказал Иуда. — Если я это опубликую, меня сотрут в горчичный порошок. Тебе будет жалко?

— Да, — сказала Катя. — А почему сотрут?

— Потому что у нас всё разложено по полкам, — сказал Иуда. — Я пишу о своем, Олеша — о своем, Платонов — о своем. И всё вместе это составляет духовную пищу для строителя социализма — кирпичного силача с очень капризным желудком. Если я начну писать о семейной скуке, то общественное пищеварение нарушится и меня объявят отравителем.

— Даже тебя? — с сомнением спросила Катя.

— Даже меня, — кивнул Иуда. — Всяк сверчок знает свой шесток, пусть он и весит, как я, целых семьдесят кило.

— Ты сильный, — сказала Катя. — Вон какие руки. — И потянулась к чулкам, прозрачной шелковой горсткой лежавшим на ковре.

Решили идти ужинать в национальную харчевню, в народную среду. Иуда Гросман решил.

Не зря говорят в народе «ложиться на голодный желудок», а не «на голодное брюхо дневать» или «с утра сосать лапу», хотя голодуют люди и на заре, и в полдень, и на розовом закате. Но с утра есть еще надежда у рта сжевать что-нибудь, пропитаться до того критического часа, когда проклянутся первые алмазные ростки в черном небесном поле, в то время как с наступлением ночи голодному остается только угрюмо идти спать и видеть во сне поросенка с хреном или куриный бульон с кнейделах. «Бог даст день, Бог даст пищу». А если нет, если забудет почему-то — значит, остается надеяться на себя: до темноты, может, что-нибудь да обломится... В крайнем случае «поспишь — пообедает», хотя это и не факт.

Но ужин — это святое. Как красиво! После дневных трудов и хлопот собирается семья, отец сидит во главе стола, тихая мать несет на блюде гуся с гречневой кашей, крупно нарезанные помидоры с белыми поясками лука и пирожки с тушеной капустой. И это вечернее насыщение клана, торжественное, уходит лучом в глубь старых веков и до медного дна высвечивает связь поколений.

Но нет гуся, и нет блюда, и тихой матери нет.

Укрывшись от вечернего ветра за выступом скалы, Блюмкин сидел на коричневом тибетском камне, на гребне узкого горного перевала один и невнимательно разглядывал долину, лежавшую в ущелье глубоко внизу. Спуск в долину был крут, почти отвесен; старая конная тропа в два копыта шириною петляла, вилась по склону, уходившему вниз на добрых восемьсот метров. Тропа была чуть заметна, она едва угадывалась по размытым желтым пятнам, оставшимся от расклеванного птицами лошадиного навоза.

Не подымаясь с камня, Блюмкин достал из наплечной сумы чистую белую тряпицу и провиант: почерствевшую лепешку, надломленную головку чеснока и баклажку с водой. Пронзительные лучи уходящего солнца нащупали на дне ущелья, в долине, три овальных озера, и вода в них вспыхнула синим, розовым и зеленым светом. Блюмкин медленно жевал сухую лепешку и, покачивая головой в дикой войлочной шапке, рассуждал о том, что действительно всякому делу свое время под солнцем, что хорошо и замечательно грызть здесь, на границе между землей и небом, тибетский сухарь, но и в родительском доме хорошо было иногда сидеть за вечерним столом и глядеть, как отец преломляет субботний хлеб, а тихая мать несет в черном помятом котелке белую картошку, скудно приправленную подсолнечным маслом. И братья с сестрами ждут, когда отец закончит молиться над хлебом, и ровень горит пара свечей в серебряных подсвечниках, доставшихся еще от прадеда, от которого, кроме имени, ничего не сохранилось в памяти, и сберегаемых в семье как зеница ока. А откуда взялись они, серебряные, у прадеда, еще более нищего, чем трижды нищий отец? Кто завещал ему, кто дал? Кто прежде прадеда, не имевшего даже фамилии, а только лишь полуимья, полукличку «Мордке», стоял в той молчаливой шеренге, уходящей в неизвестное? Чем они занимались, все эти Мордки и Срули, до сих пор источающие родное целебное тепло? В каких краях жили, под каким камнем лежат?

Бог знает, где они лежат, эти кованые звенья тяжелой неразрывной цепи. Прадед Мордке светится точкой на окраине памяти, а потом — тьма. Тьма, но не разрыв.

Блюмкин закончил жевать, попил воды из баклажки и поднялся с камня. Подойдя к самому краю обрыва, он взглянул вниз. Внизу, метрах в тридцати, желтле тесная площадочка, в ее каменистой земле он похоронил Олю год назад.

Оля. Она сама пошла за ним, как красивая собачка, в том кафе, в «Верлибре», в Одессе. Она даже не попрощалась ни с этим Юрой, ни с Иудой, ни слова им не сказала. Встала и пошла. Теперь Юра стал знаменитостью, не говоря уже об Иуде Гросмане. Иуде, если память не изменяет, дали разрешение на поездку в Европу, а его, Якова Блюмкина, отправили в Тибет. Каждому свое, и всему свое время. В Персии больше делать нечего, в Монголии — тоже. Остается Палестина, там работы много: расширить сеть, забросить в Тель-Авив полсотни книг, наладить торговлю... Еще два года с кусочком — и стукнет тридцать, и тогда можно будет распрощаться со всеми этими делами и сесть писать стихи. Только стихи. Только хорошие, лучшие.

Оля? Завербовать ее не стоило никакого труда, она сама пошла на контакт, упала в руки, как груша с ветки. Кто ж тогда знал, что всё так кончится. И кто знает, сколько людей пропало здесь, в погоне за Шамбалой.

Темнело на глазах, редкий воздух высокогорья наливался прозрачной холодной синевой. Надо было идти, и идти быстро: в походном лагере рано ложились. Блюмкин поправил суму на плече и ходко зашагал вдоль перевала к разьему меж двух равновысоких гор, поросшему арчатником. Через сорок минут хода он вышел к состоявшему из четырех полотняных палаток лагерю Рериха.

— Молодой лама,— сказал Рерих, разглядев подошедшего к палатке Блюмкина в его оранжевом балахоне.— Вот и вы. Зябко. Выпейте чайку, согрейтесь... Эй, Чанги! Чаю!

Вокруг палаток живым валом уложены были на землю верблюды каравана: Рерих опасался разбойников и просто лихих людей, ночной порой появлявшихся в этих местах неизвестно откуда, как будто из-под земли. Блюмкин привычно отметил, что караванщики и слуги, привалившись к верблюжьим теплым бокам, спят в обнимку с карабинами.

— Люди Дже-Ламы, я слышал, добежали уже и досюда,— сказал Блюмкин.

— Молодой лама улавливает шепот, долетающий из Гоби,— с довольной улыбкой сказал Рерих.— У вас прекрасный слух.

Дже-Лама, выпускник юридического факультета русского университета, в пустыне Гоби не юриспруденцией занялся — сбил отряд разбойников, налетал на караваны. Пощады он не знал, рубил миролюбивым пленникам носы, уши, руки. Монгол убил его выстрелом в упор, спрятав револьвер под дружелюбным подношением. Голову Дже-Ламы, укрепив ее на шесте, носили по азиатским базарам: вот, глядите, великому разбойнику пришел конец! Но бедовые люди покойного Дже-Ламы, расколовшись на летучие ватаги, разбежались повсеместно. И если даже стреляли и грабили путников на караванных дорогах совсем другие налетчики, шелковистая азиатская молва шелестела: «Это неистребимые всадники Дже-Ламы, это они!»

За верблюдам ограждением, в непроглядной темноте тягуче перекликались часовые: «Хоя-хе!», «Ки-хо-хо!». Неторопливо прихлебывая чай из пиалы, Блюмкин исподлобья с интересом поглядывал на Рериха.

— Иногда мне кажется, молодой лама, что вы не чужды художественного вкуса,— благодушно протягивая козлиную бородку сквозь кулак, сказал Рерих.— Так вот, сегодня выдался чудесный день и особенный, отличный от других: к алмазному венцу горы подымался красный охряный буйвол, серебряный месяц его рогов соперничал с солнцем. Я видел это.

— Ах, дорогой Николай Константинович,— доверительно приближая лоб к острому плечу Рериха, сказал Блюмкин,— какое же вы все-таки изумительное дитя! Вы ищете великую справедливость в волшебных горах, и как вы правы, как правы! А где же ее еще искать — в курских болотах? Там, если кикимору спугнешь, и то, считай, повезло.

Рерих благодарно улыбнулся: сравнение с дитятей было ему приятно.

— Ребенок не знает стереотипов,— сказал Рерих.— Его взгляд безошибочен в своей абсолютной свободе восприятия мира. А ведь без этого художник не более чем ремесленник.

— Вот хотя бы этот ваш красный бык, охряный буйвол на пути к алмазной вершине,— продолжал Блюмкин.— Так еще не видел никто, вы первый! Напишите его, и Россия вас прославит. Будьте уверены! Большевики рубиновым топором, да, рубиновым, сбили с обывателя коросту привычек, традиций, нравов. К людям вернулась детская свежесть впечатлений. Сегодня, если хотите, Россия — страна детей.

— Дети, молодой лама, бывают чрезвычайно жестоки,— снова протягивая бородку сквозь кулак, пробормотал Рерих.— Никто не знает, как оградить их от этого зла.

— Шамбала даст нам и это знание,— раздельно и твердо сказал Блюмкин.— Вы это знаете лучше, чем кто-нибудь другой на свете.

Рерих сощурил и без того узкие глаза и молча покачал головой.

Стукнул в темноте выстрел, эхо, как каменное ядро, запрыгало по ущелью. Мужчины, вытянув шеи и застыв, вслушивались. Где-то взбрехала собака, а потом восстановилась живая прохладная тишина.

— Шамбала, вы говорите...— потягиваясь и разминая плечи, сказал Рерих.— Опыт Шамбалы — это великое наследие, спору нет. Всё дело в том, кто им распорядится, кто возьмет на себя это непомерное право.

— Вы! — ничуть не задумался Блюмкин.— Художнику дозволено то, что не дозволено Цезарю. Художнику дозволено всё, вообще всё, от нуля до бесконечности.

— Если ноль — цифровой знак, то мне этого не надо,— помолчав, сказал Рерих.— Я не счетовод.

— В том-то и суть! — воскликнул Блюмкин.— Буквы от Бога, а цифры от лукавого. После Шамбалы не цифра будет править миром, а Слово.

— Ну слово — это по вашей части,— сказал Рерих и улыбнулся тихо, задумчиво.— Вы кого угодно переговорите.

— Слово — острие стрелы,— убежденно сказал Блюмкин.— Но есть же и стройное древко, и пестрое оперение — всего три составляющих: литература, живопись, музыка. Писатель, художник, композитор — вот Великий Треугольник бытия. Они единственные, кто творит под небом. Им всё можно, всё дозволено. Если б

они не существовали, не существовал бы и мир людей. Охряный буйвол с серебряными рогами казался бы изнуренной тягловой скотиной на пыльном оползне.

Покатился где-то — то ли далеко, то ли близко — камень со склона, потревоженная горная индейка прокричала в темноте свое «стрелок-не-целься, стрелок-не-целься!». Желтые и голубые звезды, щедро рассыпанные, поблескивали в близком небе.

— Да, так оно, наверно, и есть, — помолчав, сказал Рерих. — Если проводник не обманывает, завтра перед вечером мы выйдем к Шамбале. Проводник Дордже — надежный человек, он был лазутчиком Дже-Ламы в этих местах. Он много знает и многому знает цену.

— Ему заплатили? — спросил Блюмкин.

— Конечно, — кивнул Рерих. — О тибетских шо он и слышать не хотел. Ему подавай монеты с профилем Ли Хун-Джана и семью иероглифами.

— А китайские таэли? — спросил Блюмкин. — Или на худой конец доллары?

— Только Ли Хун-Джан, — повторил Рерих. — С семью иероглифами, не с шестью.

— Тогда он действительно разбирается в тибетской жизни, — удовлетворенно покачал головой Блюмкин, допил чай и согласно обычаю деликатно выплеснул чайники из пиалы на землю.

Народные харчевни в Берлине на каждом шагу. Из приотворенных переплетчатых окон, из-за дубовых дверей доносится мощное разноголосое пение с посвистом, запаха жареных колбасок и пивной дух заставляют прохожего человека замедлить шаг и задуматься о скромных радостях жизни. Кто там орет песни, окунув губы в пивную пену, — народ или не народ? Вот это вопрос. Сидят в чистоте, сытые и довольные, попукивают, что вызывает у русского человека смешанные чувства, зато не плюют на пол и не прочищают нос, прижав к ноздре вывернутый большой палец. Каждому свое. И ведь не смертный голод, как на Украине, есть отличительная черта всякого народа и не драчливое молодечество, как где-нибудь в замоскворецких рыгаловках. Или те же очки, раз уж зашла речь о замоскворецких ценностях. Очкарик как бы уже и не народ, простому народу очки не к стати, он и так глядит орлом и соколом, видит, что ему надо. Простой народ жрет самогон и валяется в канавах, а очкарики расслаиваются за ресторанными столиками, засунув за ворот крахмальную салфетку. Народ, выходит дело, принципиально беден, почти нищ, а те, кто побогаче, к народу, отдыхающему под забором, имеют лишь формальное отношение. Но ведь не нищие же сидят в берлинских народных харчевнях, орут песни, пукают и стучат пивными кружками по столу? Не нищие — так кто? Ряженые? Или, может, вообще нет никаких народов на свете, а только люди — богатые и бедные, умные и дураки, наглые и робкие? А?

Но тогда рассыпается замечательная система, продуманная начитанными, прагматичными и патристическими настроенными людьми. Каждый народ живет на своей родине, которую надо любить значительно искренней и сильнее, чем соседние пределы, расположенные за холмом или за рекой. А раз нет народа — значит, и родины нет никакой. А раз нет родины — значит, человек — безродный бродяга, подозрительный тип, не только не помнящий племенного родства, но и не ставящий в грош героя и отменного патриота, стоящего во главе всего народа — простого, не совсем простого и совсем не простого, сочиняющего стихи с прозой, но и валяющегося под забором и пукающего в пивных, населяющего родину по самую пограничную полосу — всклень. Вот ведь как всё безумно получается! Получается, что народ, составленный из людей, а не из лесных зверей и птиц небесных, помещается от границы до границы, от горы до реки и являет собою географическое понятие. Одна страна — один народ. Другая страна — другой народ. А патристические герои всё передвигают и передвигают границы своих и чужих стран, и получают народные неувязки.

Вот и непонятно, гордые ли народы, держа порох сухим в пороховницах, соседствуют друг с другом под руководством вождей или собрания людей пьют друг на друга глаза через границу.

— Вот хорошее местечко, — сказал Иуда Гросман и потянул Катю ко входу в пивную. — Гляди, какие они все музыкальные и румяные. Просто душа радуется. И не скандалят!

— Это здесь запрещено,— объяснила Катя.— Нельзя хулиганить, нельзя драться. Немцы — послушные люди.

— По пьяному делу кто же это слушается? — с сомнением спросил Иуда.

— Напиваться тоже нельзя,— сказала Катя.— Нельзя — и точка! Кто напнется в пивной — за того заведение отвечает: полиция, штраф.

— А валяться под забором? — смешливо щуря глаза под очками, спросил Иуда.— Тоже ни-ни? Ну это, я тебе скажу, уже слишком: народ может возмутиться, даже устроить бунт.

— Да тут и заборов подходящих нет,— улыбнулась Катя.— Может, поэтому...

На пару иностранцев, устроившихся в полутемном уголке, посетители пивной не обратили ни малейшего внимания; с тем же успехом Иуда с Катей могли пройти мимо старинной двери заведения. Это было даже немного обидно.

— Как они увлечены своим пением! — разглядывая посетителей, сказал Иуда Гросман.— Народ Бетховена и Вагнера, ничего не скажешь... У нас бы уже либо привязались, либо пригласили в компанию.

— Будем пить пиво,— сказала Катя.— Мне маленькую кружку. И жареные сосиски с капустой.

— А если мы тоже будем пить? — спросил Иуда.— Нам можно?

— Да ну тебя! — сказала Катя.— Давай закажем вяленое мясо.

— Ну, конечно,— сказал Иуда.— Давай закажем... Как бы с ними всё же познакомиться? Ведь интересно! Петь — это слишком, а вот просто взять и спросить: «Ты, друг, сам откуда будешь? А зовут тебя как? Ну со свиданьем!»

— Не поймут,— пожалала плечами Катя.— Французы — те, может, поняли бы.

Пивная ходила ходуном. Песня будила литературные воспоминания о разбойниках Стеньки Разина на его челне посреди Волги, а глухой стук кружек о стол вызывал смутную тревогу. Такие музыкальные ребята многое могли себе позволить... Иуде вдруг вспомнился совершенно отчетливо казак Трофим Рохля с пеною на губах, в тирольской шляпочке с пером, в доме интеллигентной еврейки с круглыми коленями, на фронте. Теперь Трофим стоял перед Иудой, пялил безумные глаза, невнятная песня разрывала его рот. Иуда усмехнулся и прогнал неуместное воспоминание.

— Одни мужчины,— сказал Иуда Гросман.— Женщин нет. Если бы они решились бросить кого-нибудь в набежавшую волну, то некого было бы бросать, разве что тебя. Да и Стеньки Разина не видать, солиста.

— Стенька всегда найдется,— пожалала плечами Катя.— Немцы не хуже нас, и психов тут тоже достаточно. Это только сначала так кажется — тишь да гладь, а ты почитай газеты.

Подшел официант с седыми висками, в зеленой вышитой безрукавке, принял заказ.

— Сегодня праздник? — спросил Иуда, указывая на поющих.

— У нас каждый день праздник,— чуть наклонившись к столу, любезно сказал официант, и нельзя было понять, иронизирует он или говорит всерьез.— Нравится?

— Интересно очень,— сказал Иуда.

Поют, довольно глядят. Европа! Официанту с висками не нравится — он не поет, и никто ему не скажет, что он уклонист, ему не грозит проработка, и не напишут в газете, что он социально-чуждый элемент. Такая жизнь, что даже скучно.

Вот и женщин нет никого, а у нас в России непременно сидели бы, подвывали. Какая может быть гульба без женщин! «Мужское братство» — это что-то противоестественное, ущербное. Даже, если угодно, скопческое. Пусть будет сугубо мужская объединяющая идея — война, скажем, или подымание тяжестей,— но как ведь хорошо, обернувшись, увидеть милое женское лицо.

— Катя,— сказал Иуда Гросман, потянувшись к ней через столик.— Катя, запомни, ради Бога: женщина должна состоять из мяса, из костей и из дерьма, а не из кирпичей, завернутых в бархат.

— Ты опять о своей,— беспечно сказала Катя.— Жить вместе непрерывно — так это не в лед превратишься, а сразу в мороженого мамонта.

Иуда смеялся, откинув голову назад. Лоб его с ранними пролысынами поскрипывал от пота, как от изморози. Ай да Катя! Ай да молодчина!

— Это тебе только сейчас так кажется,— сказал Иуда,— золотая ты моя и серебряная. Время уйдет, волосы твои поредеют, зубы выпадут, и сложиться ты сможешь не в красноармейскую звезду, а в маленький теплый кукиш. И будешь ты цепляться за какого-нибудь очкастенького толстого старичка, а он — за тебя. Точка.

— Ничего не точка! — огрызнулась Катя.— И знаешь, почему? Потому что я просто не доживу до такого состояния.

— Доживешь, доживешь,— понизив голос, с придыханием сказал Иуда, и в глазах его за круглыми стеклами, как из тихой воды, всплыла и обозначилась похоть.— Ты вон какая: живой мрамор, не скажешь точней.

Больничная палата была белым-бела: и потолок, и стены светились праздничной белизной. На белоснежном фоне фикус в углу, в кадке был к месту. Над высокой койкой, стоявшей головой к окну, склонились, как зимние рыбаки над лункой, двое в накрахмаленных белых халатах; из-под узкого подола одного из них выглядывали офицерские сапоги. Другой, в хирургической шапочке, то и дело переводил взгляд с лица умирающей на циферблат золотого, с откидной крышкой хронометра в старческой розовой ладошке.

За окном палаты порывами и вразнобой дул ветер и метались, как псы на цепи, тучные кроны деревьев леса, тесно обложившего правительственную кремлевскую больницу. Вечерело.

— Готово,— сказал старик в хирургической шапочке и захлопнул крышку хронометра.— Точность действия поразительная: секунда в секунду.

— Время занесите в формуляр,— указал офицер.— Ну и всё, что положено: имя-фамилия девичья — Мансурова Екатерина Александровна, возраст — тридцать два, что там еще?.. Я обожду.

Музыкальный шум в пивной не возрастал и не опадал, держался монолитно и наполнял комнату без зазоров. От одной песни с видимым удовольствием переходили к другой, от другой — к третьей. Голосом или звательным движением руки требовали пива, но никто не был пьян и не совершал неожиданных интересных поступков. Всё это начинало надоедать Иуде Гросману.

— Тебе скучно? — участливо спросила Катя.

— Ну, если б мы с ними пели...— протянул Иуда.— Может, пойдём побродим немного?

Они поднялись из-за стола и стали протискиваться к выходу. На них не обращали внимания. Кто-то в расшитой безрукавке, рыжий, с сильной шеей встал с лавки, когда они были за его спиной, и толкнул Иуду Гросмана. Иуда покачнулся, зацепился за что-то, очки слетели с его лица и упали на пол. Рыжий извинялся, дружелюбно шлепая Иуду по плечам красной лапой. Певцы прекратили свое музыкальное занятие и глядели сердобольно, некоторые поднялись и соболезнующе окружили потерпевшего. Катя наклонилась и среди ног толпящихся нащупала очки на полу. Одно стекло было раздавлено, другое треснуло.

— Бывает,— сказал Иуда, когда они вышли на улицу.— Милые люди... Ночью нам с тобой очки ни к чему, а с утра пойдём и купим.

— Тут есть недалеко один оптик,— сказала Катя.— Ты вдаль тоже видишь не очень хорошо? — И бережно, крепко взяла его под руку.

Как дивно взяла, как доверчиво! Разведочно скользнула лепной, великолепной своей ладошкой ему под локоть, просунула повыше и, словно уловив и почувствовав желание Иуды, решительно прижала к себе его руку. Стоило разбить дюжину очков, чтобы — вот так: скрещенные руки, Катя, берлинская улица. Как это дьявольски здорово: замирать от прикосновения, желать, получать и владеть — и, освобождаясь от теплой жизни в миг наивысшего счастья души, радостно понимать, что его, Иудина, свобода не знает слова «навсегда».

До гостиницы «Корона» рукой подать, и улицы светлые, как днем.

А наутро пропажа очков причинила неудобства: Иуда Гросман досадливо щурился, то приближая, то отводя от лица глянцевою карточку меню в гостиничном кафе.

— Дай, я прочту,— попросила Катя.— Сейчас позавтракаем и пойдём к оптику. Омлет будешь? С ветчиной? И сыр?

— И сыр,— сказал Иуда.— И к оптику.

— А кофе прямо сейчас или потом? — спросила Катя.

— А кофе — нет,— сказал Иуда.— Чай. Крепкий чай с пышкой. Я одесский еврей, а не берлинский немец. Ты приедешь ко мне в Париж?

— Ну да,— подумав, сказала Катя.— Я попробую. Если разрешат. На конец недели.

Желтый огненный омлет, розовая пышка. Все знакомо и все не как в России. Интересно, кормили здесь князя Давида Реувейни таким омлетом или нет?

— Ну пошли,— скомкав зачем-то салфетку и бросив ее на стол, сказал Иуда Гросман.— Все хорошо.

Свет здесь тоже другой — жестче и холодней, чем в Одессе. Дома строго выстроились по обочинам чистой гулкой мостовой, как присяжные в суде. Дома-женщины, дома-мужчины. Отчетливые жесткие линии: плечи, надбровья. В трех кварталах, за маленькой квадратной площадью, лавочка оптика с золочеными декоративными очками над входом. Пришли.

Лавочка помещалась в небольшой светлой комнате, разделенной надвое лакированной деревянной стойкой. Лавируя за стойкой, молодой человек с идеальным косым пробором в пшеничных волосах демонстрировал свой товар двум американским теткам, сидевшим на высоких табуретах по эту сторону стойки, лицом к молодому человеку и спиной к вошедшим. Товару было много: на стойке перед тетками, на мягкой бархатной подстилочке, громоздились, задрав оглобельки, очки разнообразных видов и размеров, числом не менее двух дюжин. Чуть в стороне расположились очешники — серебряные и лаковые, кожи оленьей, змеиной и крокодиловой, и бисерные вышитые, и тонкого индийского муслина.

Набряканье колокольчика над входной дверью молодой человек с пробормом обернулся и загнанно взглянул на вошедших.

— Эти вам к лицу,— с трудом подбирая английские слова, нежно сказал продавец.— Замечательно!

Тетка с седыми буклями оборотилась к подруге, как к зеркалу, и скептически взглянула. Наклонив голову к плечу, подруга приоткрыла рот, словно бы собираясь вынести приговор, и показала отменные вставные зубы, но не произнесла ни звука.

— Стекла великоваты,— стаскивая очки, сказала тетка с буклями.

— Тогда эти,— двумя пальцами выуживая новую пару откуда-то из-под стойки, еще нежней произнес молодой человек.— Вот. И очешник со скидкой.

Устроившись за спиной у американок, Иуда Гросман внимательно наблюдал и слушал. Лицо его, к удивлению Кати, выражало совершенное довольство.

— Это надолго,— прошептала Катя.— Они всё тут переберут.

Иуда не ответил, только улыбнулся.

А тетка с буклями снова повернулась к подруге, и та снова не сказала ничего, только неопределенно повела головой из стороны в сторону.

— Стекла мелковаты,— возвращая очки продавцу, сказала тетка.

— Это мода,— прожурчал молодой человек.— Все так теперь носят.

— Да, да,— покачивая буклями, тетка согласно улыбнулась.— Но стекла мелковаты.

— Тогда вот,— с напряженной улыбкой сказал молодой человек.— Стекла восьмиугольные, дужки с петельками. Золотое покрытие. Модель «Антоний и Клеопатра». Замечательно!

Иуда, всматриваясь, восторженно что-то пробормотал.

— Очешник «кроко»,— с надеждой добавил молодой человек.— С гарантией.

Надев очки, тетка на своем табурете благосклонно повернулась к подруге, та откинула голову и оскалилась.

— Петельки слишком далеко выступают,— сказала тетка.— «Кроко» натуральный? Вы уверены?

— Нильский,— сказал молодой человек и наклонил проборм.— Самец, любимец фараонов. Три с половиной метра, включая хвост... Примерьте вот эти. Скромно, достойно. Аристократично. Модель «Калиостро». Исключительная оптика.

— Не возьмет,— шепнула Катя.— Или возьмет?

Иуда вытянул губы и чуть заметно пожал плечами.

— По доступной цене,— угрюмо глядя, сказал молодой человек.

Зубастая американка разволновалась, она ерзала на табурете, придирчиво разглядывая подругу с разных позиций.

— Все-таки возьмет,— сказала Катя.— Должна взять.— Молодой человек с пробормотом взглянул на нее, в его глазах стояла тоска.

— Дужки чуть коротковаты,— сказала тетка с буклями.— И стекла почему-то так блестят... Но я подумаю.

Американки, как по команде, поднялись и потянулись к двери. Звякнул колокольчик.

— Идиотки, они и в Африке идиотки,— освобожденно сказал молодой человек и улыбнулся.

— Они вернуться? — спросил Иуда.

— Наверняка! — сказал молодой человек.— Вернутся и купят. Завтра скорее всего... Что для вас?

— Великая нация,— сказал Иуда Гросман.— Знают свой интерес. Всё, что они тут вытворяли,— в порядке вещей и на законном основании... Вот такие у вас найдутся? — И с осторожностью извлек из кармана вчерашние обломки.

— Эти вам подойдут,— сказал молодой человек и протянул Иуде очки с круглыми стеклами.— Берете? Или рассказать что-нибудь про нильских крокодилов?

— Спасибо, не надо,— сказал Иуда.— Про крокодилов я уже слышал.

Семьдесят лет спустя, 19 июня 1997 года, знаменитые очки Иуды Гросмана исчезли из застекленной витрины одесского литературного музея, где они экспонировались вместе с другими реликвиями — бритвенной мыльной кисточкой и носовым платком с монограммой. Очки были украдены по заказу американского коллекционера Джея К. Робинсона из города Цинциннати, в соответствии с предварительной договоренностью уплатившего дерзкому вору 100 000 долларов США.

Через неделю после взлома посетители музея могли со смешанными чувствами разглядывать в витрине другие очки, ничем, в сущности, не хуже прежних.

Страсть к путешествиям не вспыхивает в человеке от разговоров с бывалыми людьми, от чтения книг или углубления в иллюстрированные журналы — она заложена в душу изначально. Хорошо путешествовать, сидя на мягком диване в купе скорого поезда и глядя в окно поверх стакана с красным вином. Но и тащиться, соревнуясь со встречным пронзительным ветром, по скалистой тропе Восточного Памира на последнем подъеме перед перевалом Терсагар — хорошо и прекрасно. И переходить вброд на крепком коньке, горный поток Суёк у подножия тянь-шанского Хан-Тенгри — вполне упоительно. А у кого не хватает пороха на азиатские горы с колдовскими именами, тот, запасшись колбасой и водкой, отправляется на пикник в ближайший от постоянного места жительства лесок с его елками или березками. Не путешествует лишь тот, кто сидит в кутузке или прикован недугом к кровати, но и узник, и инвалид, стремясь один к свободе, а другой к исцелению, мысленно преодолевают трудности вольного пути, продираясь сквозь тайгу или тошнотворно раскачиваясь на опасных волнах океана. Бесцельное блуждание между градами и всеяи есть лишь пародия на путешествие, на это осмысленное и целенаправленное шествие по пути от пункта «А» к пункту «Б» и далее, до самого конца алфавита. Сама жизнь человека — это отчаянное путешествие от рождения к смерти, иногда с остановкой в Париже.

Путешествие в Париж, впервые в жизни, представляет собою замечательное приключение: иные путешественники не могут справиться с замиранием сердца на перроне вокзала, другие не в силах сдержать слез радостного волнения. Воздух Парижа, бульвары Парижа, крыши Парижа! Само это слово — Париж! — произносится сначала с восклицательной интонацией, а потом с задумчивой, мечтательной — Париж... — так, чтоб сразу стало ясно: Париж, он и есть Париж, и этим все сказано.

Иуда Гросман высадился в Париже на железнодорожном вокзале Гар дю Нор. Перрон весело, как горная речушка в обжитых берегах, бурлил людьми.

Иуду не встречали: момент погружения в Париж он хотел пережить сам, без навязчивой помощи.

Проталкиваясь сквозь толпу вслед за носильщиком, Иуда беззастенчиво вертел головой и улыбался всем подряд: молодым женщинам он адресовал улыбку веселую и добрую, мужчинам — дружелюбную, а старикам — мудрую, с горчинкой. Каждый человек, будь он хоть француз, хоть русский, хоть чукча на собаке, требует к себе особого подхода. Иуда знал за собой этот дар — подыскивать ключик к любому замочку.

Некоторые отвечали ему улыбками, некоторые глядели мимо. Мимолетные взгляды не задевали Иуду, он был всецело занят собой, любовь к Парижу наполняла его, а ведь для многих людей любить означает куда больше, чем быть любимым.

Как всякий русский интеллигент, Иуда Гросман задолго до приезда знал Париж заочно — знал его бульвары и площади, знаменитые памятники и знаменитые кафе Монмартра и Монпарнаса, которые, в сущности, тоже были памятниками, иногда прижизненными: вот из-за этого столика разглядывал женщин Мопассан, здесь сидел неприкаянный Модильяни, а сюда заглядывает иногда Пикассо в своем черном берете, свешивающемся на правое ухо. Гений инженера Эйфеля привлекал Иуду в меньшей степени: Эйфель мог и подождать, и уж если на то пошло, то изобретатель Гильотен по-человечески был куда интересней строителя ажурной вышки с его циркулем... Выйдя на привокзальную площадь, Иуда Гросман твердо знал, что поедет он напрямик на Монпарнас.

В первой же попавшейся гостинице оказалась свободная комната, и не было ни желания, ни нужды подыскивать что-нибудь другое. Гостиница «Золотая улитка» помещалась в угловом доме, Иудино окно выходило на бульвар. Иуда отодвинул пыльные тюлевые занавески, распахнул створки окна и выглянул. Бульвар был, как зеленая река, по которой вольно плыли разноцветные предметы: автомобили, люди. Можно было долго стоять здесь, у подоконника, и глядеть, но тянуло и вниз: вмешаться в это движение и плыть вместе со всеми и ото всех отдельно... Иуда потер руки и отвернулся от окна.

В углу комнаты стоял умывальник — почти антикварное сооружение из бачка с медным краником и тяжелого фаянсового таза. Сбоку от двери громоздился расхлябанный платяной шкаф. На стене, оклеенной веселенькими — розовые цветочки, голубенькие бантики — обоями, над кроватью, висел карандашный незастекленный рисунок в облезлой рамке: обнаженная на фоне оконного переплета. Линии рисунка были точные, сильные. Подойдя поближе, Иуда обнаружил масляное жирное пятнышко в углу листа и дату: «1923». Подписи не было. Кровать под рисунком занимала добрую половину комнаты. Разглядывая убранный застиранным шелковым покрывалом парижскую кровать, Иуда Гросман улыбнулся — и увидел вдруг Катю, ее одежду на стуле, ее черные туфли на полу. Потом Катя исчезла, комната вновь наполнилась приятным шумом бульвара, и вполне счастливый Иуда Гросман, не оглядываясь, вышел вон.

Бульвар вел Иуду. Не следовало проявлять нор и выкаблучиваться: подчиняться движению бульвара было легко, оставалось только вертеть головой, глядеть по сторонам и читать вывески и названия угловых улиц и улочек.

На пересечении Монпарнаса с бульваром Распай, на угловом доме Иуда Гросман прочитал «Ротонда» и остановился как вкопанный. Прохожие обтекали Иуду, не обращая на него никакого внимания.

«Ротонда». Значит, вот это и есть «Ротонда». Это ж надо! Первый день, первый час в Париже — и ноги сами принесли его сюда. Ну конечно, кафе «Ротонда» — здесь, на бульваре Монпарнас, как можно было забыть! Через этот порог перешагивали Аполлинер и Гертруда Стайн, Утрилло и Сутин, Дягилев, Фужита и Макс Жакоб. Может, кто-нибудь из них и сейчас сидит за этими стеклами, потягивая винцо и покуривая всякую всячину... Куда ж еще идти Иуде Гросману, знаменитому писателю, как не в «Ротонду»?

Высокие окна кафе были задрапированы изнутри мягкой падавшей тканью, меж ее складками, закруглявшимися книзу, не столько виднелась, сколько угадывалась в глубине помещения, в полутьме высокая стойка бара и квадратные столики, окруженные стульями с плетеными спинками. Посетителей было не-

много, раз-два — и обчелся, если только они не жались по углам, вне поля зрения Иуды Гросмана. Это соприкосновение глухой и пустынной полутьмы зала с прозрачно светлым гомоном бульвара, отделенных друг от друга лишь листом стекла, создавали ощущение фантазмагории и нереальности происходящего. Реальной живой фигурой был здесь один Иуда Гросман, и ему сделалось зябко.

Следовало не откладывая войти в кафе, но Иуда медлил. Хотелось продлить, продолжить эту игру в трепет — ведь за тяжелой дверью все сразу встанет по своим местам, за столиками обнаружатся вполне случайные посетители, а тени великих растут и исчезнут без следа. Иуда не спеша прошел мимо входа, потом вернулся. Опрятный старик, колотя тростью с костяным набалдашником, уверенно толкнул дверь и вошел в кафе. Провожая его взглядом, Иуда разглядел за дверью здорового молодца в форменной куртке, учтиво поклонившегося вошедшему.

Иуда Гросман повернулся на каблуках и шагнул ко входу в кафе.

Предупреждая усилие посетителя, молодец в куртке плавно потянул дверь на себя. Интересно, проявлял ли он такое радушие, когда замечал приближающегося неверной походкой Амедео Модильяни в драной блузе и жеваной шляпе... Иуда вошел, кивнув вышибале и получив обратный кивок. В Москве бородатые дедушки, служившие при дверях знатных кабаков, кланялись знаменитому Иуде Гросману поусердней и пониже.

Старик с тростью сидел у стойки, взгромоздившись на высокий табурет, еще семь-восемь человек устроились за столиками в глубине помещения. Стены кафе были украшены похожими на хоругви ткаными картинами, на которых ткачи изобразили плывущих среди нежных водорослей рыб с разинутыми ртами и таинственные значки иероглифов. Несколько светильников из-за стойки и на столиках жидко освещали помещение, а задрапированные окна казались размытыми пятнами. В маслянистой полутьме Иуда Гросман прошел в угол и сел там за столик спиной к стене, лицом к залу. Официант появился немедленно, Иуда спросил бокал светлого пива.

Посетители чувствовали себя здесь привольно, они сидели в непринужденных позах и разговаривали без запала, как видно, не о течениях и ошибках современной литературы шла речь, а о том о сем, обо всякой всячине. Впрочем, может быть, такое благодушие было проявлением национального характера, кто знает.

На соседнем столике лежала газета, Иуда потянулся за ней, взял и развернул. Все тут было интересно, как на Луне: незнакомые имена, политические сплетни и уголовная хроника, даже палка с прищепкой, к которой была прикреплена газета. А палка зачем? Самое простое — чтоб не украли. Но можно ведь унести и палку, тем более что медная прищепка начищена до красного огненного блеска. Закрывшись газетой и прихлебывая пиво из высокого бокала, Иуда с удовольствием читал французские слова. Про Россию тут ничего не было, как будто такой страны вообще не существовало в природе, и Иуде сделалось немного досадно.

В статье о городском рынке, в промежутках между довольно-таки вялыми и многословными описаниями говяжьих и свиных туш, степенных рыб, дремлющих в воздушном пространстве, и неподъемных кругов сыра на прилавках, встречались и цены на мясо, рыбу, сыр. Иуда принял в уме перевести франки в марки, марки в рубли и прикидывать, почем французская отбивная выходит на отечественные червонцы. Получалось недешево. Получалось, что обед обойдется здесь в три, а то и в четыре страницы прозы — в целый рассказ. Мало того, что это было несправедливо — это была просто наглость! Тут уж в пору идти побираться, брать шапку и идти. В конце концов если нищенство — это не призвание, а всего-навсего ремесло, что ж поделывать, не следует отчаиваться. Писатель может себе позволить быть ремесленником-нищим, потому что его призвание — литература, а всё остальное не в счет, в том числе и ремесла. Всё может себе позволить писатель, даже сидеть на паперти, выставив вперед фальшивую культу. Или требовательно канючить на еврейском кладбище, поспевая за похоронной процессией и хватая за полы тех, кто пришел проводить усопшего к месту вечного хранения. Настоящему русскому писателю, будь он даже одесским евреем, не чуждо нищенствование: это неуклюже-

му телу требуется запасная смена белья, носки и пальто на вате, а душа пишущего человека прекрасно нага и не нуждается ни в шляпе, ни в галошах. Писатель, даже если у него есть дача под Москвой, скорее нищ, чем богат. Но не мешает и дача, когда душа свободна от обязательств, как нищий на углу.

Иуда Гросман отложил газету и допил пиво. Кафе понемногу наполнялось людьми, в которых трудно было предположить завсегдатаев заведения: они сидели смиренно и сдержанно гудели, как зрители в театре перед началом спектакля. Были, однако, и такие, на которых глядели; было их двое, они помещались неподалеку от Иуды Гросмана, пили вино и вели разговор в довольно-таки высоких тонах о каком-то Жан-Жаке Корсаке. Из разговора следовало, что этот Корсак, прощелыга и негодяй, напечатал в литературном журнале статью, полную инсинуаций и наскоков. Разглядывая ругательей этого Жан-Жака, Иуда пришел к выводу, что они — птицы невысокого полета, начинающие скорей всего литераторы, а внимание к ним со стороны любопытных посетителей объясняется тем, что действительные знаменитости покамест еще не появились на сцене. Всё это было похоже на Москву: там простой люд тоже ходил поглазеть на писателей, только глазел он на Иуду Гросмана, а тут его никто не знает и, вместо того чтобы обращаться ему вслед, праздные французы пялят глаза на собственных сочинителей. Дома слава обременяла, здесь ее отсутствие немного огорчает: могли бы и поглядеть.

Наискосок от Иуды Гросмана сидела за круглым маленьким столиком на чугунной ноге странная пара: мужчина средних лет с высоким чистым лбом и короткими густыми усами, в дурно сшитом темном костюме, и пожилая женщина в броском не по возрасту платье цвета чайной розы, украшенном страусовыми перьями, мехом лисицы и черной стеклярусной россыпью. В руках женщина держала раскрытый веер, на створках которого было написано по-русски: «Анархия — наша мать».

«Эмигранты, — со смущением в душе подумал Иуда Гросман. — Белье...» Мужчина ничуть не был похож ни на генерала, ни на писателя-антисоветчика. Но подуло опасностью, как из сырого, темного угла, и вместе с тем так потянуло подойти, подсесть, сказать: «Здрасьте! Я из России, Лютов меня зовут. Ну, как вы тут?»

Усатый ел батон с колбасой, степенно прихлебывал кофе из большой чашки. Наклонясь к нему, дама что-то говорила непрерывно и щелкала веером, энергично сводя и разводя его костяные створки. Заметив взгляд Иуды Гросмана, усатый внимательно на него посмотрел и улыбнулся вполне дружелюбно. Обернулась и дама, поглядела оценивающе.

Иуда Гросман легко поднялся со своего стула и шагнул к незнакомцам.

— Позвольте представиться, — подойдя вплотную, сказал Иуда. — Бога ради, извините за такую беспардонность, но мы ведь, кажется, соотечественники. А я первый день в Париже, только приехал, и вот подумал...

— Садитесь вот, — вопросительно взглянув на даму, сказал усатый. — Мария меня ругает за то, что я на улицу выхожу: мол, опасно. А я в людях разбираюсь, меня чутье никогда еще не подводило. Вы не тот.

— Мария Глосберг, — протягивая руку, представилась дама. — Вы, что, оттуда? — Она говорила быстро, невнятно, с сильнейшим французским акцентом. — И не боитесь с нами разговаривать?

Иуде вдруг расхотелось представляться Кириллом Лютовым, который все же задумался бы десять раз, прежде чем заговорить в Париже с незнакомыми людьми.

— Гросман, — раздельно сказал он. — Иуда Гросман.

— Писатель? — спросила Мария. — Так это вы?

Иуда улыбнулся смущенно, как бы виновато приподнял плечи, а потом снова опустил их: да, писатель, да, тот самый, и, несомненно, приятно, что это имя говорит само за себя в Париже.

— Я профессор Сорбонны, — объяснила свое знание Мария Глосберг. — И председатель Общественного фонда поддержки Нестора Ивановича Махно. А это, — она обернулась к усатому мужчине, — Нестор Иванович.

Теперь Иуда улыбался загнанно. Махно в приказчиьем костюме, с бутербродом в руке — это было куда как сверх программы да и опасно очень.

— Значит, не боитесь? — повторила Мария. — За вами, кстати, не следят?

— Я только приехал, — промямлил Иуда. — Только с поезда...

— Ну это ничего не значит! — успокоительно махнула рукой Мария.

— Эти ваши могут и в поезде устроить слежку и зарезать.

— А за вами следят? — немного понизив голос, спросил Иуда Гросман и, не поворачивая головы, обвел помещение взглядом. Старик с тростью уже несколько раз оглядывался от стойки безо всякой на то нужды. Спрашивается: зачем?

— За Махно никто не следит, — сказала Мария. — Он ведь не Петлюра, ему некого бояться. — И добавила веско: — Тут у нас действует еврейское подполье, их боевики ликвидируют тех, кто причастен к погромам на Украине. Просто режут — и в Сену. Если бы Нестор Иванович имел к погромам хоть малейшее отношение, его бы давно не было в живых.

— Вы мое «Воззвание к евреям мира» читали? — опустив чашку на блюдечко, спросил Махно. — Нет? Жалко. Я там объясняю ситуацию: это большевики меня хотят опозорить, навешивают на меня истребление трудящегося еврейского населения. Но это же смешно, это просто подлость! Я сам, собственноручно казнил за погромы атамана Григорьева, голову ему отрубил под Александрией. Да что Григорьев! И красные, и белые погромничали, а потом валили на Махно: это, мол, всё мы... А мы этих людей ловили и вешали.

— Нестор Иванович чист, — убежденно повторила Мария. — Но расскажите лучше, что там делается? Как вы, писатель и еврей, можете жить с большевиками, дышать с ними одним воздухом? Просто глядеть на них и не испытывать желания взяться за пики, за колья в конце концов!..

Иуда Гросман молчал, упрятав голову в плечи. За такие разговоры в Москве сразу поставят к стенке, и никакой Блюмкин не поможет. И этот старик у стойки снова оборачивался, будь он проклят. Подозрительный старик! С чего это он колотил палкой о мостовую, как слепой?

— Ну, братья за колья нет революционной необходимости. — В голосе Махно прозвучало плохо скрытое пренебрежительное недовольство — так высокие профессионалы говорят с любителями, когда их на то вынуждают обстоятельства. — Оружие можно всегда отбить у противника... А вот вам будет интересно, товарищ Гросман: у меня ведь воевали евреи, замечательные товарищи!

— Да? — негромко сказал Иуда. — Кто же?

— Например, Иосиф Эмигрант, — сказал Махно, — или Шнайдер, командир артиллерийской батареи. Не говоря уже о Задове. А Шнайдер погиб под Гуляй-полем в бою с деникинцами.

— Иосиф Эмигрант был почти слепой, — сказала Мария. — Он был теоретик анархизма, его направили на учебу к Нестору Ивановичу американские товарищи.

— Погиб в бою с большевиками под Зверятчами, — сказал Махно.

— Надо о нем статью написать, да я ведь не писатель... — И поглядел на Иуду Гросмана хитренько.

Иуда мешковато пошевелился на своем стуле. Писать об Иосифе Эмигранте! Если все эти разговоры станут известны дома, ему конец. Страшной Махно только Троцкий. Хорошо еще, что эта сумасшедшая не читала «У батьки нашего Махно», а то и его, Иуду, повесили бы на суку, и не без оснований: плохой мальчик Кикин служил, по правде говоря, у Буденного, а Иуда приписал его к махновцам. Изнасилованной Рухле с ее коровьими сосками это было всё равно, а вот Марии Глосберг — далеко не всё равно.

— Помните, Нестор Иванович, — сказала Мария, — я вам рассказывала о писателе, на которого напал этот их Буденный, этот сумасшедший?

— Напал? — переспросил Махно и хмуро взглянул.

— За то, — объяснила Мария, — что товарищ Иуда Гросман неправильно написал о его разбойниках.

— Я Буденного бил, — твердо сказал Махно и поиграл желваками. — Ох, бил...

«Вот эта пара у входа тоже подозрительно себя ведет,— подавленно отметил Иуда.— Что это они сидят, как зарезанные? Не едят, не пьют. Прислушиваются. Девушка явно подставная, и при ней этот мордворот, какой-то мордвин. Конечно, следят. Было бы странно, если б не следили. И старик с палкой из той же компании. Хорошо еще, что Москва так далеко».

— Это так неожиданно...— промямлил Иуда Гросман.— Сидеть с Махно в кафе «Ротонда».

— Вы бы могли внести свой вклад в дело освобождения трудового народа,— веско сказала Мария.— Хотя бы редактируя сочинения Нестора Ивановича. Это ответственная, благородная работа. Вы можете не беспокоиться, мы найдем возможность перебросить печатные материалы в Россию, это неизбежно приведет к вспышке народного гнева. Возникнет революционная ситуация, Джугашвили будет сметен.

«Пропал,— подумал Иуда даже с некоторым бесшабашным облегчением.— Все, пропал... Кричать, доказывать, что Сталин — солнце в небе,— так ведь они все равно не поверят, что это всерьез. Бежать к послу, писать объяснение — завтра же отправят домой, от греха подальше, а там тюрьма, следствие, возможно, пытки. Остаться здесь, спрятаться, вызвать Катю из Берлина? Так ведь свои найдут и ликвидируют наверняка, или этот тихий батёк с его революционной ситуацией собственноручно отрубит голову. Пропал, Иуда, пропал, хоть вешайся! Знаменитый советский писатель Иуда Гросман редактирует Махно — ведь это только в страшном сне может привидеться. Всю семью уничтожат, всех знакомых сотрут в порошок, в костяную муку. Может, встать и уйти? Устроить скандал? Перевернуть стол прямо на эту идиотку?»

— Был у меня еще один еврей, совсем мальчишка,— услышал Иуда как сквозь ватный заслон.— Такой смысленый был паренек, родом, помнится, из Харькова, сирота. Звали его Веня, а фамилия — Рискин. Глаза черные, круглые, как у собаки, и счет знал. Он с казной ездил, все бумаги вел: кому что заплачено, сколько, на какую необходимость. Веня! Под Волнухой его тачанку расшибло, а сам он потерялся куда-то, сгинул в степи.

Великая степь, бесстыже голая, как бритая морда. Скифы бегали по ней на своих малорослых коньках, печенеги и кипчаки, и хазары с луками, и половцы с пиками. Кочевые становья пахли овчиной и кобыльим молоком. Степняки, приставив ладонь дощечкой к бровям, столетиями вглядывались в свой степной мир и не находили в нем ничего нового.

Вольные острые травы хлестали по бабкам коней и по ободьям колес. Тачанка, запряженная парой, ходко шла, в задке телеги помещался крепкий старинный сундук, опоясанный медными полосами и украшенный черными железными шишками. В сундуке хранилась казна: желтые керенки, сине-золотые гетманские гривны, лиловые деникинские двухсотрублевки, зеленые пятаковки и красные крымские червонцы. На сундуке мотался мальчик Веня Рискин, казначей. Собачьи у него были глаза или еврейско-человечьи — об этом в силу своего воображения мог судить всякий, приходивший в походное казначейство по делу либо просто так. Сейчас, в разгар боя, круглые, под выгнутыми бровями глаза мальчика выражали даже не страх, а покорную смертную тоску.

Он действительно был родом из Харькова, этот мальчик, хотя потом, в дальнейшей интересной жизни, ни у кого из окружающих его людей не возникло почему-то сомнения в том, что он одессит. Родителей он потерял девяти лет, во время очередного бегства семьи от очередной народной банды, сиротствовал и побирался три года и относился к чужим, незнакомым людям с равной опаской. К Махно Веня попал случайно, анархия была столь же далека от его запуганной теплой души, как монархия или коммунизм с его красивыми далями, не различимыми невооруженным глазом. Домовитые махновцы обнаружили его в стогу сена, на окраине подчистую разграбленного красными сельца, и пригнали. Удел мальчонки на побегушках вполне устраивал Веню, были у него и стол, и ночлег, и зазорные товарищи. Назначение походным казначеем, вызванное знанием всех четырех счетных действий, не принесло Вене радости: карьера его не интересовала, а неразрыв-

ная привязанность к набитому деньгами старинному сундуку нагоняла тоску. Но дело свое он делал исправно, считал и пересчитывал, и простейшая мысль о краже ни разу не приходила ему в голову.

Боев он боялся. Под Волнухой, глядя со своего сундука в спину возникшего, он боялся пуще обычного: грохот от взрыва складов артиллерийских снарядов, поднятых махновцами на воздух, был страшен. Охранявшие склады мамонтовцы бросились на махновцев; началась рубка. В тридцати метрах от казначейской тачанки лопнул снаряд, деловито завывла шрапнель, ошалевшие сильные лошади рванули, понесли, не разбирая дороги, и сдернули телегу в крутой степной овраг, высланный по дну камнями. Возничий с перебитой шеей, с залитым кровью, вывернутым назад лицом мешком вывалился за борт. А Веня соскочил с сундука на рывками прыгающей перед глазами склон, тряпичным мячиком скатился на дно оврага и побежал, прикрывая голову руками, по осклизлым камням. До темноты он просидел в сыром бочаге, потом вылез, отряхнулся, обшупался с ног до головы и, не оглядываясь, побрел с легкой душой. Вот так и сгинул Веня Рискин в степи под Волнухой.

- Еще кофе, Нестор Иванович? — спросила Мария.
- Лучше чаю,— сказал Махно.— Покрепче. Спасибо.
- Ветчины? Сыру?
- Спасибо. Я сыт.

Нужно было уходить, понимал Иуда Гросман, подыматься и уходить от этого стола, из кафе «Ротонда», с бульвара Сан-Мишель. Уйти отсюда — это было последнее, чего хотел сейчас Иуда Гросман. Он хотел сидеть здесь, против этого вежливого усача по имени Нестор Махно, смотреть, как он допивает последние капли кофе из большой фаянсовой чашки, слушать его дурацкие рассуждения о революционной ситуации в сталинской стране. Плевать на чай с вишнями под Киевом, плевать на семейную подушку с рюшками и на еврейские коржики с маком. Да, страшно Иуде Гросману, страшно до задышки, до потных ладоней. Но Кирилл Лютов не уйдет отсюда.

Мария Глосберг говорила, не закрывая рта, о каких-то тапках, которые Махно шьет для заработка, о том, что, наверно, удастся по анархистским каналам устроить Нестора Ивановича маляром на парижскую киностудию, о том, что с приездом Иуды Гросмана дело пойдет значительно лучше, потому что отредактированные мастером тексты воздействуют на массы куда сильнее, чем сырые.

Махно не слушал Марию. Сгорбившись над столом, он старательно что-то чертил карандашиком на бумажном листе. Карты, схемы прорывов и атак? Коней? Всадников? Иуда вытянул шею, заглядывая. На бумаге обозначились контуры человеческой фигуры в шляпе и нелепом балахоне, изпод которого выглядывали босые ноги.

- Можно? — спросил Иуда и потянулся к рисунку.

То был ангел. Одно крыло указующе воздымалось вверх острым концом, другое, перешибленное у основания, свисало. Иуда Гросман достал самопишущую ручку и, аккуратно водя пером, зачернил балахон, крылья и шляпу ангела.

С этим Веней, Веней Рискиным, Иуда встретился пять лет спустя, на московском ипподроме, совершенно случайно. После третьего заезда играющая публика сломя голову кинулась с трибун в ресторан. Столики были расхвачаны за считанные секунды, официанты чиркали карандашами в своих блокнотиках. Иуда Гросман досадливо оглядывал зал с порога, выискивая знакомых или хотя бы полужнакомых людей, к которым можно было подсесть. В глубине помещения он увидел стол, за которым в одиночестве, развалившись по-хозяйски, но отнюдь не вызывающе сидел перед бутылкой минеральной воды «Боржоми» молодой человек плотного сложения, с круглыми глазами и густейшей вздыбленной шевелюрой. Сомнительно, чтобы эти дикие заросли возможно было впихнуть в шапку. Поймав взгляд Иуды, молодой человек приветливо улыбнулся и призывно замахал руками, как бы приглашая бездомного к очагу. Пожав плечами, Иуда подошел.

— Садитесь, что вы стоите! — сказал молодой человек. — Вы же видите, сколько места. Я занял столик сразу после первого заезда и сижу. — Он тоскливо взглянул на почти пустую бутылку «Боржоми» и, выгнув короткие тонкие брови, неодобрительно покачал головой. Жесткая его шевелюра даже не шелохнулась, как будто была сплетена из проволоки.

— Зачем? — спросил Иуда, садясь.

— Я люблю ипподром, — сказал молодой человек. — Я хочу выиграть, но у меня ничего не получается. Ни разу! Так я пока зарабатываю тем, что держу столик. Приходят те, кто выигрывает, но уже всё полно, всё занято. Так хочется выпить рюмку водки и съесть котлету по-киевски! И вот вы видите сами: негде даже плюнуть. — Молодой человек покрутил головой, словно выискивая местечко, куда можно было бы плюнуть, но не нашел подходящего.

— И что вы имеете с этого занятия? — спросил Иуда заинтересованно.

— Я имею пару крутых яиц с этого занятия, — сказал молодой человек, — щепотку соли и фужер водки для хорошего аппетита. Всё! Это всё, что я имею, не говоря уже о «спасибо». Когда вы побежите играть дальше, вы мне скажете: «Спасибо, Веня! И держите ваш столик до следующего антракта!»

— Вы случайно не из Одессы, Веня? — предположил Иуда Гросман, с приязнью глядя на молодого предприимчивого человека, словно бы появившегося из ранней прозы самого Иуды.

— Можно так сказать... — уклончиво ответил Веня. — А вас я знаю — вы Гросман. Я вас сразу узнал, и считайте, что мне повезло.

— Почему? — спросил Иуда.

— Во-первых, я тоже пишу, — сказал Веня Рискин. — А во-вторых, вы кое-что знаете за лошадей. Что, не так? Это не я написал про мир, по которому гуляют женщины и лошади.

— Про луг, — придиричиво поправил Иуда Гросман. — А почему крутые яйца? Почему не фаршированная шука или та же котлета по-киевски?

— Потому, что яйца идут в скорлупе и без гарнира, — дал объяснение Веня. — Перерыв тут минут двадцать, ну берите все двадцать пять. Пока заказ, пока ждут, потом звонок — люди не успевают съесть, что им несут. И все, что они не доели, греют и несут уже в другой перерыв: кушайте на здоровье! А крутые яйца в скорлупе — как жемчуг в сейфе, ключик от которого лежит в вашем жилетном кармане, если, конечно, у вас есть жилет.

— Но почему жемчуг? — с настойчивым любопытством спросил Иуда Гросман.

— Так не жемчуг, — уступил Веня, — так что-нибудь другое!

Принесли заказанное. Веня, прикрыв ладонью затылок, длинными глотками выпил водку и занюхал корочкой.

— Пирожные с молоком хорошо, водка с черным хлебом лучше, — сказал Веня и выдохнул с удовольствием. — Я это выучил на войне, на Украине.

— Воевали? — спросил Иуда.

— А что делают на войне? — Веня кругло поглядел на Иуду и вздохнул. — Либо ты догоняешь, либо тебя догоняют... Я служил счетоводом в одном отряде, у меня была тачанка и сундук с казной.

И отточенная, точная память Иуды Гросмана сработала тотчас, выбросила картинку: Париж, «Ротонда», Махно. Еврейский мальчик-казначей с круглыми собачьими глазами, сгнувшийся в степи под Волнухой.

— И этот отряд... — сказал было Иуда и умолк, как язык прикусил: говорить дальше — значит, проговориться о той встрече в Париже. А молодой человек, словно ожидая накатывающих больших неприятностей, нахохлился и глядел тускло.

Но неловкая заминка прошла — проехали мимо, только тревожная царапинка осталась у обоих. Размытое ощущение общей страшной тайны, о которой — ни-ни, никому и ни при каких обстоятельствах, притягивало и связывало.

— Ну вот что, — сказал Иуда, когда прозвенел звонок и посетители, жуя на бегу, бросились к выходу. — Я, действительно, кое-что понимаю в лошад-

ках. Пошли, покажу, на кого ставить... Но дайте слово: играете в последний раз в жизни. Даете?

— Даю, — сказал Веня Рискин. — А что — не даю?

— Иначе пропадете, — вынес приговор Иуда Гросман. — Один раз выиграте — и пошло-поехало: почему бы еще разок не выиграть? Будете составлять графики, чертить схемы — ничего не поможет.

В паддоке Иуду знали, казалось, все, даже лошади: он был здесь своим человеком. Потолковав о чем-то с тренером, он подошел к кучке щуплых жокеев, а потом поманил Веню.

— Вот ту лошадь видите? — сказал Иуда. — Красивая?

— Ну да, — согласился Веня. — Конечно.

— Нравится?

— Я ее боюсь, — сказал Веня. — Я вообще лошадей боюсь до смерти. Ишь, смотрит!

— Запомните ее номер — третий — и ставьте, — сказал Иуда. — Ну, идите, ставьте! Возьмите вот деньги, отдадите после заезда. Встречаемся в ресторане. — И не выдержал, крикнул вдогонку: — Пароль — Волновуха!

Веня остановился, как будто его подстрелили на ходу, и неуверенно обернулся к Иуде.

— Вы нам оставьте ваш адрес, — сказала Мария Глосберг. — Мы с вами свяжемся.

— Я вещи пока у друзей оставил, — твердо сказал Иуда. — Завтра перееду в гостиницу.

— Тогда назначим встречу здесь, — сказала Мария. — Это даже удобней.

— А конспирация? — шепотом спросил Иуда.

— Ну, тут вам все же не Москва! — возмутилась Мария. — Но если они хотят за вами следить — пусть себе следят!

Пусть следят, подумал Иуда Гросман. Хорошо сказано! И не уйдешь ведь от слежки, это просто исключено. Они уже и гостиницу знают наверняка. Кто же, кто следит? Вот это надо знать точно и принимать меры. И вообще надо было ехать с вокзала в посольство, познакомиться, отметить. Они скорее всего и гостиницу сами заказали, проверенную, с ушами в стене.

— А это правда, что вы встречались с Лениным? — наклонившись к Махно, вполголоса, как о тайном, спросил Иуда Гросман.

— Встречался, — вяло сказал Махно. — Неприятный был товарищ, себе на уме... А потом, когда Деникин под Москвой его зажал, попросил помочь. Ну я помог, оттянул на себя Шкуро с Мамонтовым.

— Не жалеете? — еще тише спросил Иуда.

— Нет, — сказал Махно. — Чего теперь жалеть...

Хотелось есть, и неудобно было заказывать что-нибудь только для себя, и неловко было угощать перебивающегося шитьем тапок Нестора Махно, будущего маляра на киностудии, луковым супом, о котором читано не меньше, чем об Эйфелевой башне. Хотелось увидеть, услышать, попробовать и узнать как можно больше — прежде, чем засадят в посольский подвал и, сунув кляп в рот, увезут в Москву. И вспоминались рассказы знакомых чекистов об увлекательной работе за кордоном.

Допила кофе и Мария. Стали прощаться — по-русски сердечно, с восклицаниями, со скомканными повторами проговоренного: «Значит, непременно... Жаль, что так коротко... И насчет редактуры... О каналах можете не беспокоиться... Значит, договорились...» Иуда обреченно ждал, когда же закончится это невыносимое прощание: посетители кафе оборачивались, прислушивались к странным звукам чужого языка. Наконец, ушли. Иуда Гросман поглядел им вслед — не забыли ли чего, не вернутся ли, не приведи Бог — и пересел за свой столик. Есть тут луковый суп расхотелось. Хорошо бы оказался второй выход отсюда, какой-нибудь запасной, черный: выскользнуть незаметно, утонуть в толпе. Мордovorот, в котором Иуда определил мордвина, всё сидел со своей казенной подружкой, и старик с палкой тянул красное вино из бокала, не собирався уходить. Иуда поднялся и прошел в туалет. Надежда оказалась напрасной: в квадратное оконце, прорезанное в стене туалета и выходившее в захламленный

темный двор, могла пробраться разве что кошка. Иуда усмехнулся и вернулся в зал. Старик с палкой исчез.

Не старик с палкой и не мордвин с девушкой — от самого Северного вокзала был приставлен к Иуде Гросману приятный сорокалетний брюнет по имени Алексей Крупников, тучный и широкозатый, со вторым подбородком, болтающимся из стороны в сторону, как мешочек с творогом. Этот Алекс Крупников, служивший на незначительных должностях в деникинской контрразведке, бежавший после второго взятия Одессы красными в Константинополь и промышлявший там, на диком турецком берегу, отловом кошек и собак и изготовлением меховых янычарских шапок. Алекс на свою беду оказался не одинок в своем занятии: грубые конкуренты шли по пятам, дышали в затылок и грозили физической расправой. Пришлось бросить дело и ехать в Югославию, к братьям-славянам. Там Алексу пришлось совсем худо, братья не желали вникать в его стесненные обстоятельства, а кошки и собаки сидели дома, а не бегали по улицам, как у доверчивых турок. В результате Алекс Крупников перебрался в Париж — в разбитых сапогах, без денег и почти без надежды. Можно было кидаться с моста в Сену, можно было проситься обратно в Россию, в Курскую губернию, откуда Крупников был родом. Поразмыслив, Алекс пришел к выводу, что кидаться в воду следует во вторую очередь, а вначале стоит попытать удачи на улице Гренель. Там, в посольстве, ему объяснили, что возвращение в родные пределы, к курским соловьям, которые при народной власти поют особенно красиво и неутомимо, следует заслужить. Вслед за таким вступлением его беспрепятственно завербовали за умеренное вознаграждение, сердечно поздравили и выдали небольшой аванс.

Служба за писателем Гросманом была рутинным поручением, не требующим тяжелого напряжения сил. Попивая за казенный счет кофе с плюшкой, Алекс терпеливо сидел в глубине кафе «Ротонда», в притемненном углу. В благообразного вида усаче Алекс не признал Нестора Махно, поэтому в отчете о первом дне слежки он написал: «Наблюдаемый произвел контакт с неопознанным господином из эмигрантов и дамой из актерской среды». Бог весть, почему востроглазый Алекс произвел Марию Глосберг в актрисы; причиной тому скорей всего послужили перья, стеклярус и щелкающий веер с надписью.

К своему поднадзорному бывший контрразведчик Алекс Крупников не испытывал никаких чувств. Книг его он никогда не читал, а имя впервые услышал от куратора. Зачем писатель с похабным именем Иуда приехал в Париж — этого куратор Громов не сообщил, однако ясно было и без сообщения, что агент внешнего наблюдения Крупников по кличке Греча не от восторженных поклонников должен охранять знаменитого гостя. Знаменитости — опасная публика, у них у всех мозги набекрень, особенно у писателей. Вот хоть этот Иуда: вкусно ест, сладко спит, а может выкинуть фортель, и к тому ж еврей. Начальству от таких людей одна маята и никакой пользы, и всякий шаг их поэтому должен быть высвечен и описан в оперативном отчете. Составление же отчета — дело куда более легкое, чем беготня за кошками и собаками в турецких темных переулках.

Куратор Громов, истинная фамилия которого не имела ничего общего с оглушительным явлением природы, числился при посольстве завхозом. О приезде писателя Гросмана в Париж завхоз получил сообщение два месяца назад — вместе с приказом взят гостя под круглосуточное наблюдение. Завхоз был недоволен Иудой: коллега из Германии сообщил, что писатель, проезжая через Берлин, проявил характер вздорный и своевольный. В Москве, очевидно, тоже были не в восторге от выкрутасов знаменитости, да и строгое указание о круглосуточном наблюдении говорило о том, что и на родине Иуда Гросман числился фигурой неоднозначной. У таких, как он, всегда есть «рука» где-нибудь наверху, эта «рука» его поддерживает, и вот, вместо того чтобы сразу наказать человека по всей строгости, его посылают в Париж. Но и за той «рукой» внимательно поглядывают, и есть наверху такие, которые хотят эту вредоносную ручонку отрубить, потому что главное правило чекиста — «не доверяй, а подозревавай». И на том стоит отечество.

В своем отчете завхозу Громову агент Греча обстоятельно указал: «Расплавившись крупной купюрой, объект вышел из кафе и, никуда не заходя, отпра-

вился в гостиницу “Золотая улитка”. Через сорок минут он вышел из гостиницы, сел на наружной террасе и приступил к наблюдению за ходом публики по бульвару».

Ход публики по бульвару являл собою иную, заповедную жизнь. Сидя на террасе, Иуда глядел на вольно идущих мужчин и женщин, чисто и хорошо одетых, с улыбающимися неизвестно чему лицами, с руками, свободными от мешков и авосек. И еще одно: за ними никто не следил.

Отделаться от ощущения липкой слезки Иуде Гросману никак не удавалось. Во всем была виновата Мария Глосберг: это она своим козым голосом заговорила о слезке. Самому Иуде такая мысль и в голову бы не пришла, он спокойно поехал бы на Монмартр, бродил бы, как полагается приезжему, по ночному Парижу. Теперь всё пошло насмарку, и причиной тому — случайная, никем не подстроенная дурацкая встреча с Махно. Но пойдя докажи, кому надо, что случайным счастливым ветром занесло приезжего писателя в литературное кафе! Никто не поверит. Блюмкин, может, поверил бы — да где он, Яка Блюмкин? То ли в Персии, то ли в Монголии, и путешествует он там по делам куда как не литературным.

А больше никого нет, все остальные — так, случайные знакомые, никто из них пальцем о палец ради него не ударит. Вот когда к ним, замирая от страха, тянутся, как примятая трава к свету, писатели — тут другое дело: значит, это они, чекисты — свет силы и мысли, не то что какие-то знаменитости, на которых на улице оборачиваются. А иначе зачем ходили бы к ним тайком на поклон все эти писаки с актрисами в придачу?

Блюмкин всё же не такой. Не совсем такой. Он способен мыслить образами, он готов бросить свою нынешнюю карьеру ради стихов. Хороших или плохих — это уже не так важно... Но он хотя бы мечтает не только об очередной лычке.

Иуда мечтает о том, чтобы выпутаться из этой жуткой истории. А о чем мечтает Яка Блюмкин, генерал или кто он там у них? Он сам сказал когда-то о чем: о пуле Наполеона. Детская мечта, сохранившаяся на всю жизнь. Как он тогда сказал? «Я и сейчас всё бы отдал за нее», или что-то в этом духе. Надо достать ее здесь, в Париже, из-под земли выкопать, и сертификат, а то ведь он не поверит. Это хорошая идея, золотая! Он, конечно, поэт и кристально честный чекист, но если подарить ему эту пулю, то он станет еще кристальней. Только где ее тут найдешь? Расспрашивать в музеях, в антикварных лавках — подумают, что сумасшедший. Да и вообще был ли у Наполеона пистолет? Он как будто неплохо обходился шпагой. И пушками.

Не важно. Мог быть пистолет у Наполеона, мог. Инкрустированный перламутром, с золотыми гвоздиками. Либо редактировать сочинения Нестора Ивановича Махно, а заодно помогать ему шить тапки, либо ты, Яка, получишь свою пулю.

Переход затянулся, на ночлег встали в совершенной тьме. Ветер налетал порывами, как из мехов, и нес с собою ленты сухих острых снежинок. Выбрав среди скал местечко потише, люди уложили своих животных и легли сами, поджав колени к подбородкам.

— Пришли,— сказал проводник Дордже и сдвинул шапку с бровей на затылок.— Отсюда начинается спуск на Шамбалу.— И указал рукой.

Рерих и Молодой лама долго молча глядели в провал, указанный им проводником. В темноте невозможно было определить глубину пропасти, открывшейся за перевалом. Дно пропасти, по словам Дордже, заросло горным лесом, там текла река, повторяя изгибы широкой долины.

— Огоньки как будто мигают...— глухо сказал Рерих.— А?

Блюмкин промолчал, и Рерих обернулся за подтверждением к Дордже. Но проводник исчез, его место в темноте было свободно.

— Подождем до утра,— сказал Блюмкин и бережно погладил Рериха по плечу.— Ничего не поделаешь...

Утром обнаружилось, что проводник исчез и из лагеря. Никто не видел, как он уходил и куда. Не досчитались и одной лошади. Узнав о происшествии, Рерих стал угрюм.

— Я вам говорил,— зло сказал Блюмкин,— этот подлец работает на англичан!

— Будем спускаться,— решил Рерих.— Мы у цели, никакие англичане, будь они прокляты, нам не помешают.

Долина была пуста и красива. Крепкие деревья леса окаймляли реку, на галечные берега которой, казалось, нога человека не ступала со дня сотворения мира. Пересвистывались красные сурки, столбиками стоя у своих нор и без боязни глядя на караван. Зайцы, рассекая высокую траву, передвигались короткими перебежками. Горный покой, величественный и строгий, запечатывал долину, отсекая ее от населенного мира. Трудно было бы сыскать на свете лучшее место для Шамбалы со всеми ее мудрыми тайнами. Но не было здесь Шамбалы.

Блюмкин жадно поглядывал по сторонам, как будто с последней надеждой ждал появления из леса приподнявшегося шамбалийца, и кусал губы.

— Не знаю, как вам,— сказал Рерих ровным стеклянным голосом,— а мне здесь нравится. Пейзаж фантастический: фиолетовое небо лежит на ледяных опорах вершин, над рыжим потоком, вырывающимся из каменных райских врат... Я остаюсь тут рисовать.

Блюмкин вздохнул, спешился и, усевшись по-турецки, отвернулся от людей.

С пулей было непросто. На утреннем приеме, устроенном «для своих» в посольстве на улице Гренель, Иуда подошел к секретарю по культуре Василию Куропаткину. Секретарь лучезарно улыбнулся знаменитому гостю.

— Я, знаете ли, увлекаюсь эпохой Наполеона,— как бы между прочим сказал Иуда.— Коллекционирую раритеты: гвардейские кокарды, значки, оружие. Кто тут, в Париже, торгует такими вещичками?

— Оружие? — переспросил секретарь.— Какое оружие?

— Старинное,— успокоительно улыбнулся Иуда.— Палаш, шпага. Интересно было бы проследить, куда девалась, например, шпага Наполеона. Или пистолет.

— Ну не знаю...— сказал секретарь.— В музее, наверно, есть что-нибудь. А я-то ведь современной культурой занимаюсь, мне это ни к чему.

— А кто знает? — спросил Иуда Гросман.

— Я поинтересуюсь,— пообещал секретарь.— Вокруг Лувра полно антикварных лавочек, там надо поспросить. Или еще лучше на Блошином рынке — там дешевле.

Пришел на прием и завхоз Громов и был представлен гостю, но Иуда Гросман его не запомнил: хозяйственник знал свое место, держался в сторонке и рта не раскрывал, кроме как для того, чтобы опрокинуть рюмку. Уважительность, граничившая с поклонением, и панибратство, за которым просвечивала лесть, злили Иуду Гросмана на этом приеме: он не сомневался в том, что кто-то из этих веселящихся, жующих и пьющих в его честь людей не спускает с него глаз и прислушивается к каждому его слову. Кто?

Ему доставало Кати. Катя знает, кто есть кто в таких учреждениях, она знакома с проклятыми повадками всей этой простукаченной публики. Глядя на жену военного атташе, словно бы облитую сахарным сиропом дурочку с фарфоровыми голубыми глазками и ослиными желтыми зубами, журчавшую о небывалом расцвете советской литературы, он видел пред собою Катю, быстрыми и ловкими пальцами пробегающую, как по клавишам рояля, по пуговицам своего платья от ворота до подола... Дурочка продолжала журчать, Катя — раздеваться, и Иуда, удивляясь, подумал о том, что это, кажется, впервые с ним такое случается: он всерьез желал встречи с женщиной, мимо которой прошел и с которой с благодарностью распрощался. И ему сделалось приятно и тревожно.

Иуда уже собрался уходить, когда секретарь по культуре подвел к нему высокого красавца лет тридцати, в полосатом пиджаке, тесно сидевшем на сильных плечах циркового борца, с бесшашными и наглыми глазами конокрада.

— Это наш местный писатель Хомяков,— представил секретарь.— Вам будет интересно. Он тут воюет с эмигрантским отребьем, спуску им не дает. Они гавкают — он рычит. Недавно с Буниным сцепился, с этим антисоветчиком. И что б вы думали? Бунин испугался, повернулся и ушел. Сдался, так сказать.

— Бунин меня обвинил в святотатстве,— щуря глаза, сказал Иуда Гросман.— О Богоматери я, по его мнению, неуважительно отозвался.— Иуда замолчал, и непонятно было, огорчен он бунинским обвинением или, напротив, гордится вниманием антисоветчика.

— Ну вам-то можно, — махнув затянутой в полосатый рукав лапой, сказал Хомяков. — Это православным нельзя, а вам — что ж...

Секретарь предостерегающе покашлял, но не дающий спуску Хомяков не обратил на это никакого внимания.

— Я вот собираюсь возвращаться в Тобольск, на родину, — сказал Хомяков. — Хочу целиком отдаться литературному труду и весь талант посвятить рабочему классу. Но меня что удивляет? Меня удивляет, что на цветущем поле нашей русской культуры окопались инородцы. Куда ни плюнь — одни инородцы. Я приеду в Тобольск, а там уже Абрам какой-нибудь сидит, пишет, допустим, поэму. Так где же справедливость, скажите вы мне?

Иуда Гросман смотрел на Хомякова с интересом.

— У нас интернационализм, — строго сказал культурный секретарь. — Все равны. Я вам уже объяснял, Хомяков.

— Вы говорите, говорите! — попросил Иуда. — Нету справедливости. Где ж ее взять?

— Вот-вот, — соглашаясь, кивнул головой Хомяков. — А раз нет, как тогда все могут быть равны?

— А вы хотите, чтобы все были равны? — вкрадчиво спросил Иуда Гросман. — Скажем, вы и этот Абрам из Тобольска?

— Ну, допустим... — насмешливо сказал Хомяков и захрустел сухариком, намазанным икрой. — Но это же никак невозможно, потому что вы сами же говорите, что справедливости нет.

— Это товарищ Гросман заметил в общих чертах, — сурово поправил культурный секретарь. — В философском, так сказать, смысле.

— Тогда понятно! — обрадовался Хомяков и потянулся за рюмкой.

— И, кроме того, пролетарская справедливость отличается от буржуазной, — дудел в свою дуду культурный секретарь. — Это ж должно быть ясно.

— Вот я и прошусь в Тобольск, — сказал Хомяков и позвенел своей рюмкой об Иудину. — Ивану — Ивано, а Абраму — Абрамово. По-честному.

Надо дать ему по физиономии. Съездить по его наглой бандитской морде вместо того, чтоб чокаться. «Я бы и съездил, — с тоской думал Иуда, — и с великой радостью, но эти вылетевшие дурацкие слова о справедливости, которой нет. А что есть? Так ведь к Махно привяжут еще и это... С ума можно сойти!»

Иуда Гросман поманил Хомякова пальцем и, когда тот наклонился к нему, прошептал в большое крепкое ухо:

— Продай мне пулю Наполеона!

Менее чем год спустя Хомяков вернулся в родной Тобольск, получил там должность заведующего отделом литературы в городской газете «Красный сибиряк» и комнату в коммунальном бревенчатом общежитии, пропахшую чудесным ароматом пихты и кедрача. Спустя еще два года он выпустил книжечку воспоминаний «Годы лихолетья», ставшую нынче раритетом. В 34-м году он был ненадолго арестован в рамках кампании социальной профилактики, а в 37-м посажен всеерьез, осужден за КРД к десяти годам без права переписки и расстрелян в Беличьей балке, в пятнадцати километрах от Тобольска. Могила его не сохранилась.

Выйдя из полпредства, Лютов спустился к Сене и побрел по набережной к Лувру. На душе у него было взбалмошно, ему хотелось, дрожа от холода, тащиться на тачанке по мокрой плывущей дороге, выискивать огонек в мертвом поле и совершать дерзкие поступки. Разговор с Хомяковым бесил его. Надо было непременно съездить по морде! И так приятно ныли бы сейчас костяшки пальцев... Если б он съездил, все его неприятности выглядели бы иначе и слезка не действовала бы на нервы, как зубная боль. Он резко оборачивался, завязывал неразвязавшийся шнурок, читал газету, внезапно из-за нее выглядывая. Кто? Кто идет за ним по пятам? Он заходил в уличные туалеты, скрывавшие желającego помочиться лишь по плечи, и, стоя в тесной кабинке, вертел головой и приветственно махал рукой неизвестно кому. «Наблюдаемый объект, — писал в отчете агент Греча, — вел себя нервно, что отражалось на его физическом состоянии. Три раза он входил в уличные уборные, откуда подавал неизвестным лицам сигналы посредством размахивания рукой».

У входа в Лувр фотографировалась кучка туристов, уличный фотограф, налаживая свой аппарат, бегал вокруг треноги. Иуда решил было идти в музей, но, не доходя подъезда, передумал не без смущения: Лувр подождет, лучше побродить по антикварным лавкам.

В первой же лавке на звон дверного колокольчика вышел из глубины помещения пожилой хозяин, большеголовый, с остатками крашенных волос, зачесанных сбоку на розовую нежную лысину.

— Чем могу служить, месье? Всё к вашим услугам, начиная с хозяина.

Хозяин поддерживал в лавке образцовый порядок. Сотни интереснейших предметов были уложены, выставлены и подвешены густо, но отнюдь не тесно. С пузатенького бюро несчастного Людовика глядел любопытными глазочками бронзовый египетский бог со стройным телом танцовщика и шакалей головой. В застекленной витрине были выстроены шеренгами благородно потускневшие боевые ордена, как могильные камни на военном кладбище. Витой бивень нарвала, испещренный черными ажурными значками неведомой письменности, стоял в углу, как древко. Печеная вражья головка с жесткими волосами, отрезанная индейцем, с высоким безразличием наблюдала за покачивавшимся вверху панцирем доисторической черепахи с Галапагосских островов. К каждой диковине была привязана красной шелковой ниткой бирочка с кратким разъяснением. Сам Шепселе из Житомира не остался бы равнодушен к этой праздничной братской могиле вещей, хотя и не подал бы вида.

— Потрясающе!..— пробормотал Иуда, озираясь.— Это всё настоящее? И мертвая голова?

— Голова пришла из Укаяле, с Амазонки,— скорбно, как на похоронах, доложил хозяин.— Она идет с сертификатом.

— С сертификатом! — повторил Иуда Гросман.— А всё остальное?

— Тоже,— сказал хозяин.— Сертификат с лентой и подписью эксперта.

— А из времен Наполеона у вас что-нибудь есть? — спросил Иуда Гросман.— Наверняка ведь должно быть...

— Вы русский? — не дал ответа антиквар.— Ваш акцент... У меня есть для вас кое-что исключительное.— Приволакивая ноги в домашних туфлях, он ушел в заднее помещение и скоро вернулся оттуда, неся на ладони плоскую коробочку, посверкивавшую теплым серебряным блеском.

— Табакерка Пушкина! — объявил антиквар.— Вот...

Иуда принял табакерку с необыкновенной осторожностью, с нахлынувшим волнением сердца: Пушкин держал эту вещицу в руках, щелкал крышкой, опускал в карман.

— Русский генерал мне ее принес,— сказал антиквар.— Семейная реликвия.

«А. С. Пушкину,— выгравировано было на тыльной стороне табакерки,— в день тезоименитства. Год 1835». И вензель Николая Первого.

Иуда открыл крышку, захлопнул, принялся рассматривать изображение на крышке, выполненное чернью по серебру: Красная площадь, Василий Блаженный, купола соборов за кремлевской стеной. На шпиле Спасской башни чернела крохотная пятиконечная звезда.

— Замечательная вещь,— подбрасывая табакерку на ладони, сказал Иуда.— Но у меня уже такая есть... А как насчет Наполеона?

— Что именно вы бы хотели приобрести? — спросил антиквар.

— Что-нибудь, чего касалась рука великого императора,— сказал Иуда Гросман.— Навязчивая идея, знаете ли...

— Факсимиле? — Ничуть не удивился продавец сушеной головы.— Дворец? Или ночной горшок? Всё можно купить, дорогой месье, а это значит, что всё, решительно всё продается на этом свете. Весь вопрос в том, что именно и по какой цене.

Иуда снова вспомнил Шепселе. Все антиквары, как видно, склонны к философствованию, это роднит их с могильщиками. Одни хоронят и этим живы, другие живут торговлей мертвечиной. Та же индейская голова или даже галапагосский панцирь — что это? Индейца, возможно, изжарили на костре, а из черепахи сварили мурцовку. Шепселе не стал бы предлагать посетителям житомирского базара печеную голову человека, хотя бы и голя.

— Дворец у меня тоже есть,— доверительно улыбаясь, сказал Иуда Гросман,— Кремль. Некоторое время, правда, недолгое, Кремль принадлежал вашему императору.

— А вы шутник, месье,— сказал антиквар и охотно рассмеялся, закашлялся, глаза его налились слезами, лицо порозовело, а лысина из розовой сделалась почти красной.

Иуда с тревогой наблюдал за этими переменами.

— Дворец — это слишком громоздко,— сказал Иуда.— Кроме того, убирать надо, топить, на одни дрова денег не напасешься.

— Может, что-нибудь из одежды? — отсмеявшись, спросил антиквар.— Ботфорты?

— Пулю,— сказал Иуда Гросман.— Маленькую тяжеленькую пулю. И сертификат с лентой.

— Пулю? — переспросил антиквар.— Какую пулю?

— Пулю Наполеона,— сказал Иуда.

Антиквар молчал озадаченно.

— Вам когда-нибудь встречалась пуля Наполеона? — с надеждой спросил Иуда.

— М-м-м... — неопределенно промычал антиквар.— Скорее да, чем нет. Спрос, знаете ли, невысок. Но можно попытаться. Я знаю одного коллекционера, возможно, он даст добрый совет.

«Путем наводящих расспросов,— писал в своем донесении агент Греча,— мне удалось выяснить цель посещения наблюдаемым объектом антикварной лавки. Объект интересовался возможностью приобретения боеприпасов к огнестрельному оружию редких образцов». Читая донесение, куратор Громов отчеркнул это место и приписал красным карандашом: «Террор». И восклицательный знак поставил.

Катя приехала через месяц. За эти тридцать дней немало воды утекло в реке Сене. Иуда Гросман произнес сотни тысяч слов на званных завтраках, обедах и ужинах, на литературных вечерах и встречах, и десятки страниц донесений исписал агент Греча своим куриным почерком.

Пуля Наполеона покамест так и не была обнаружена. Тот коллекционер, которому владелец антикварной лавки рекомендовал Иуду как серьезного покупателя из дикой лесной страны, оказался замечательным во всех отношениях господином. Потомок знатного рода герцогов Анжуйских, месье Жан-Жак возглавлял немногочисленное, но активное общественное движение сторонников монархической формы правления, и связи его с русскими монархистами были крепки. В первое же посещение особнячка Жан-Жака, набитого старинными вещами, каждая из которых имела неповторимый смысл, Иуда встретил там соотечественника, назвавшегося князем Щербатовым и любезно предложившего Иуде вступить в Союз русских монархистов. Не зная, смеяться тут уместней или плакать, Иуда разъяснил князю, что национальное происхождение, увы, налагает на него ряд ограничений. Князь, смущенно хохотнув, позволил себе с Иудой не согласиться: принадлежность к иудейскому племени, по его словам, хотя и не являлась несомненным достоинством, но тем не менее не могла служить и препятствием искренним монархическим убеждениям, тем более для укрепления автократических позиций никогда не поздно обратиться к православию и принять святое крещение. Хозяин дома прислушивался к разговору гостей с вольтеровской улыбкой, а Иуда угрюмо думал о том, что эта мимолетная встреча не прибавит ему спасительных козырей по возвращении в Москву. Махно, теперь князь Щербатов. Оставалось только послать пулю Наполеона себе в лоб. Но не было и пули.

Зато появилась новая надежда. Горделиво демонстрируя Иуде и князю лу-пу близорукого Людовика Пятнадцатого, портьеру из будуара Марии-Антуанетты и действующую модель гильотины с Гревской площади, вполне способную декапутировать кошку, месье Жан-Жак вспомнил о существовании какого-то оружейника Шарло, изготавливавшего в своей мастерской, помимо отличных образцов для криминального мира, копии со старинных аркебуз и пистолетов.

— Модель гильотины — это его работа,— сказал Жан-Жак.— Всё точно, до последнего гвоздика. Он немножко разбойник, этот Шарло. Но он всем сердцем сочувствует нашему делу: монархия — его любовь.

— Но при чем тут пуля Наполеона? — осторожно спросил Иуда.

— О старинном оружии он знает всё, если не более того, — сказал месье Жан-Жак. — Если он не найдет эту пулю, то никто вам ее не найдет.

«Наблюдаемый объект, — трудился в тот вечер агент Греча, — провел конспиративную встречу с руководителем французских монархистов Жан-Жаком д'Анжу в его доме на авеню Фош. Со встречи объект вышел в сопровождении пожилого господина, говорившего по-русски». Это место куратор Громов аккуратно отчеркнул, приписав красным карандашом одно-единственное слово: «Явка». И, помедлив малость, поставил вопросительный знак.

Тошнотворное чувство опасности не покидало Иуду Гросмана: он испытывал его и в пестрой тесноте улиц, и в обманчивом покое гостиничного номера. Многих людей Иуда брал под подозрение, но Греча ни разу не попал в их число, и не потому, что агент был таким уж мастером своего охотничьего дела, — Греча, как говорится, на пятки Иуде не наступал, в затылок не рычал, совсем напротив: держался поодаль, а со временем, к середине первого месяца слежки, и вообще сократил часы лягавого своего труда, изменив самовольно кураторское «глаз не спускать, ты мне за него отвечаешь» на менее грозное «глаз не спускать, когда наблюдаемый в поле зрения». Бывалый Греча усвоил, кто перед ним. Но окажись Иуда Гросман страшным террористом с бомбой под мышкой, Греча и тут не стал бы рвать подметки о парижские мостовые; служба службой, но надо ведь подумать и о себе. И составление обстоятельных отчетов было куда занимательней, чем утомительная беготня по улицам, тем более что агент точно знал, куда должен дуть ветер, порывов которого, сидя в своем завхозовском кабинете, куратор Громов терпеливо ждет.

Другой дипломат, культурный секретарь Василий Куропаткин, тоже отвечал за прибывшего в Париж знаменитого писателя Иуду Гросмана. Палаша и пули не интересовали секретаря, зато по части встреч беспокойного гостя с собратьями по перу он был дока. Культурный Куропаткин ни на миг не сомневался в том, что Иуда был командирован во Францию не для ознакомления с музеями и тихой природой, а единственно для того, чтобы дать по рукам литературным белогвардейцам, всем этим Буниным с Мережковскими и Алдановыми. Сидя над вырезками из эмигрантских газет, которые почему-то нельзя было выносить из полпредства, Иуда то удрученно вздыхал, то недоуменно морщил лоб под зальсынами. Его здесь знали, это несомненно, книги его читали. Культурный Куропаткин, стоя над плечом Иуды, улыбался как человек, вполне удовлетворенный своим трудом и знающий себе цену: вырезки были подобраны и подшиты аккуратнейшим образом.

Какие писатели, думал Иуда Гросман, какие умы! Как же они не видят, что за Серебряным веком пришел каменный, что волоконца кровавого мяса присыхают не к полированным лезвиям столовых ножей, а к выщербленным клювам костедробильных топоров, что рты утирают не салфетками, а рукавом, что новая литература соответствует культуре камня, а не золота. И язык, это вечно растущее гениальное дитя, трется персиковой щекой о руку приплясывающего насильника и головореза. Как они этого не видят! История — это цепь свершившихся фактов, и с усмешкой ли, с радостью или с запоздалыми слезами на глазах, но ее следует воспринимать как данность. И никакими силами, никакими заклиниваниями не развернуть Россию в оглоблях, не вернуть ее на десять лет назад, и ни Платонова, ни Пильняка, ни Олешу, ни его самого — Иуду Гросмана — уже никому не вымарать из текста новой эпохи.

Мы понимаем, думал Иуда Гросман, мы еще понимаем, что осталось за нами, потому что мы успели это оставшееся повидать своими глазами. И хорошее там было, и плохое, черное, белое и серое — как всё в мире. Но те, кто придет за нами, уже не будут этого знать. Те, кто придет, оставят от языка лишь корни, а всё, что они не сочтут красным, объявят черным. Мы — последние, понимающие довоенную речь, знающие цвет довоенного неба и вкус довоенного молока. Так как же, перелистывая вырезки, думал Иуда, как же можно с такой брезгливостью называть меня «некто Гросман» и отлучать от великой литературы за то, что придуманная мной многострадальная баба ссорится с Богом и не желает его простить?

Культурный Куропаткин деликатно посмеивался за Иудиным плечом. «Что он тут нашел смешного?» — смущенно и горестно думал Иуда Гросман. Дебил, дегенерат! Надо будет поговорить с кем-нибудь в Москве, чтобы его отозвали. Кто там этим занимается? Биргер?

— Да он просто вурдалак! — глядя в смеющиеся глаза Биргера, сказал Иуда. — Вся кровь мою выпил!

— То-то ты бледный, — сказал Биргер. — Съезди в Крым, отдохни. Когда вернулся?

— Три недели, — сказал Иуда Гросман. — До сих пор прийти в себя не могу от этого твоего Куропаткина, вампира. С тем можно встречаться, с тем нужно встречаться, с этим нельзя здороваться... И так все четыре месяца. Представляешь?

Бывший зампред Елисаветградской ЧК Матвей Биргер смеялся. Куропаткина он не помнил, но вполне мог себе представить, что там, в Париже, культурный секретарь вытворял со знаменитым писателем Иудой Гросманом.

— Чаю хочешь? — спросил Матвей. — Да? Ну давай посмотрим, что он там на тебя написал.

Развязав тесемки, Биргер открыл пухлую папочку и с видом серьезным и ответственным заглянул. Глядя на эту папочку с грифом «Секретно», Иуда вдруг почувствовал прилив острейшего, неостановимого любопытства; противный Куропаткин с его круглой мордой, маячивший только что перед глазами, исчез из поля зрения. Секретно! Что пишут о нем, Иуде Гросмане, секретного? В каком тоне? Какими словами? И не было ни капли страха перед секретным заграничным докладом, а только головокружительное любопытство исследователя.

— «Непоследовательность в борьбе с врагами советской власти... — скороговоркой читал Биргер, — неразборчивость в знакомствах... случайная половая связь... высокомерное отношение...» Случайная, а? Ну кровосос этот, как его, Куропаткин! «Интерес к старинному оружию...» Вот это зря, лучше марки собирать, спокойней, сам знаешь... «Не явился на запланированную встречу...» На, сам читай, грамотный! — И протянул Иуде листочки.

Иуда читал, и портрет опасного человека вырисовывался перед ним всё отчетливей. Такой человек мог обмануть, предать. Продать святое. Оговорить. Напасть из-за угла. Убить. То был человечиска средних лет, в мешковатом пиджаке, в круглых очках без оправы. Его судьба была предreshена, ничто ему не светило, кроме справедливого возмездия, и ангел смерти кругами снижался над ним, жестко взмахивая вороньими крыльями.

Этот Черный ангел с лицом то по-детски прекрасным, то рубленным, мужицким, стал возникать всё чаще по мере приближения отъезда Иуды Гросмана из Парижа домой, в Москву. Будь то в толпе или в ночном темном одиночестве, Иуда слышал сухой стук крыл, и не было нужды озираться, чтобы удостовериться в присутствии гостя-хозяина. Но Иуда озирался и с поникшим сердцем угадывал пришлеца.

В день приезда Кати Черный ангел обнаружился на перроне, в гуще толпы. Он глядел на Иуду, маявшегoся в ожидании берлинского поезда, совершенно спокойно, даже дружелюбно. Его зеленовато-коричневые глаза без зрачков были подернуты радужной пленкой. Иуда Гросман не испытывал ни страха перед этим существом, ни раздражения к нему — он лишь ощущал его тяжкое присутствие. Но и когда его не было видно вблизи, ощущение присутствия Черного ангела не исчезало: он существовал за полем зрения, где-то, черт знает где.

С подножки вагона Катя разглядела Иуду Гросмана, замахала рукой. Иуда улыбался, потирая переносицу под душкой очков.

— Еле вырвалась! — сказала Катя, ветром налетев. — Не хотели пускать: «куда?» да «зачем?» Ну да ладно... Как ты тут? Похудел. С чего бы?

— Как же ты им объяснила? — спросил Иуда, и в этом «им» Катя расслышала раздражение, горечь.

— Сказала, еду к врачу. — Катя отдала дорожный баул Иуде и просунула ладошку ему под локоть. — По женским, понимаешь? Что есть тут один врач, он меня раньше лечил, я ему доверяю.

— А если проверят? — спросил Иуда Гросман.

— Ну и пусть! — сказала Катя. — Раз выпустили, значит, согласовали. А то б не выпустили — ни к врачу, ни к кому.

— Логично, — согласился Иуда Гросман. — Ну пошли. Я рад. Ты даже не догадываешься, как я рад.

Они шли по перрону, и агент Греча шел за ними, а Черный ангел исчез, и его нельзя было обнаружить в редеющей толпе.

Обнаружить человека в толпе — нелегкое дело, особенно если тот человек незнаком наблюдателю лично, а известен ему лишь по описаниям, и Яков Блюмкин знал это лучше, чем подавляющее большинство его современников. В толчее иерусалимского базара умелому человеку затеряться было не сложнее, чем иголке в стогу сена, чем капле в море. Старательно обходя сомнительные зловонные лужи и кучки ишачьего дерьма, Блюмкин без интереса поглядывал по сторонам: восточной экзотикой он был сыт по горло, да и тот факт, что по этому, вполне возможно, переулку, меж этих закопченных каменных стен вели в далекое пятничное утро назаретского проповедника Иисуса с крестом на спине, — и этот факт оставлял Блюмкина равнодушным.

Год назад, летом 27-го, когда он впервые приехал сюда из Константинополя с отличными документами на имя персидского купца Якова Султанова, приехал осмотреться и завести первые знакомства, всё это щедрейшее древнее великолепие произвело на него могучее впечатление. Вопреки здравому смыслу, он упрямо чувствовал, что весь этот прокаленный солнцем каменный развал, называемый Иерусалимом, принадлежит ему, в недавнем прошлом ученику одесской талмуд-торы, а теперь резиденту советской внешней разведки на Ближнем Востоке Якову Блюмкину. Что, собственно, изменилось? Он как был, так и остался евреем, и не арабам же с турками касаться лбом, сердцем камней Стены плача. И если ему, Яке, удастся прижать англичан здесь, в Палестине, это хорошо не только для Москвы, но и для евреев. А если кому-то нравится рассуждать о двойной лояльности советского разведчика Якова Блюмкина — что ж, на здоровье, каждый еврей при слове «Иерусалим» вспыхивает, как свеча, и так и должно быть... Да и распоряжение Трилиссера об оказании содействия национально-освободительным движениям в Палестине — это тоже палка о двух концах: кто сказал, что местные евреи, недовольные англичанами, менее предпочтительны Москве, чем арабы, недовольные евреями? Во всяком случае, евреи куда сильнее досаждают англичанам с их мандатом, чем арабы. Да и конечная цель действий резидентуры определена предельно точно: через Аравийский полуостров выйти к Индии, в Калькутту и Бомбей, и организовать там мощную разведсеть. Разве это хоть в чем-то помешает евреям? Наоборот, любое ослабление британских позиций играет евреям на руку. Умница Трилиссер, настоящий умница! Для него Иерусалим — тоже не пустое место, вот это уж точно.

Безалаберность англичан веселила Блюмкина. Даже всеильный Понтий Пилат, умывая руки, поглядывал исподлобья по сторонам — чтоб не пырнули ножом. Британцам было далеко до оглядчивого Понтия — они не желали видеть разницы между Палестиной и какой-нибудь Бирмой, наполовину населенной обезьянами. А зря. Здесь, в Палестине, сошлись лбом ко лбу Запад с Востоком, которым, по словам Киплинга, вместе не идти. Казалось бы, английской контрразведке следует глядеть не в оба — в четыре, в шесть, в десять глаз! И вот появляется в Иерусалиме персидский купец Султанов, похожий на царя Ксеркса, как устрица на фаршированную щуку, и предлагает желающим купить у него древние еврейские книги, уникальные раритеты. И англичане едят эту легенду, уплетают за обе румяные щеки. Расскажи об этом понимающему человеку — ведь не поверит... Зато в Яффо чисто, как в Челси: араб плюнет мимо урны — выложит пять фунтов или пойдет в тюрьму сидеть за неуплату штрафа. Пять фунтов! Да араб, плюющий мимо урны, таких денег и в глаза не видал.

До встречи со Штивельманами оставалось еще три четверти часа. Пекло. Блюмкин легко переносил беспощадную палестинскую жару, русские морозы давались ему трудней. Никто, впрочем, никогда не слышал от него жалоб на природные неурядицы — ни в Монголии, ни в Персии, ни в Тибете, где на высоте одесситу просто нечем было дышать. Другое дело — Штивельманы. И пучеглазый Лева, фигурировавший в документах ИНО ОГПУ под псевдонимом

Прыгун, и его жена Нехама, получившая кличку Двойка, проклинали местный климат с утра и до вечера, как будто других тем у них не было. Блюмкина это раздражало, он терпеть не мог пустых разговоров, тем более что изменить погоду в Восточном Средиземноморье было не в его силах. Ну, жарко! А как же древние евреи, которые жили тут, в этих переулках, и ни в чем себе не отказывали? Как царь Давид, в теничке тренькавший на древней балалайке от чудного настроения? Но Штивельманам было наплевать на царя Давида, они то и дело вспоминали подмосковную Малаховку с ее крыжовником и кислыми червивыми яблоками, и это тоже сердило и злило молодого купца Султанова, в лубянском списке нелегалов проходившего под кличкой Живой.

Можно было полчаса с лишним гулять по кривым закоулкам Старого города, радуясь глупости английской контрразведки, можно было заглянуть в кофейню и переждать там оставшееся до встречи со Штивельманами время. Оглядевшись, Блюмкин обнаружил между мясной лавкой и мастерской медника узкий вход в кофейное заведение. Хозяин в красной феске с черной кисточкой сидел у входа на низкой табуретке и самозабвенно тянул дым из кальяна. В кальяне булькало. Казалось, только внезапное начало второй мировой войны между всеми и всеми сможет поднять араба с его табуретки.

В кафе было прохладно, там пахло древними временами, свернувшимися клубочком где-то совсем рядом. Могла скрипнуть дверь и пропустить в полутемную кофейню крестоносца в железных сапогах со шпорами или виноградную Суламифь — деревенский профиль, прекрасные овечьи глаза. Или Иуда Искариот мог сюда заглянуть, позванивая серебряниками в мешочке: гуляй, рванина, от рубля и выше!.. Блюмкину вспомнился Иуда Гросман, казавшийся себе князем Давидом Реувейни. Так получается, что это скорее он, Яка Блюмкин, — князь Реувейни. Жаль, нельзя будет рассказать Иуде об Иерусалиме, об этой кофейне в двух шагах от святой святых Храма. Стихи — это другое дело: можно написать об этом стихи, целый цикл, и озаглавить его «В двух шагах от Святой Святых».

Иуда Гросман — славный парень. И этот свинцовый катышек, который он привез из Парижа вместе с удостоверением: «Настоящий предмет является пулей к личному пистолету императора Наполеона Первого, в чем я и удостоверяю...» И подпись какого-то мэтра, и печать. Иуда, смешной! Он там натворил что-то — женщина — и встречался с кем-то без санкции. Настоящий писатель и поэтому любопытен, как сорока. Одного понять не в силах, не хватает у него сил: глядеть — этого мало для того, чтобы узнать. Хочешь узнать вкус яблока — стань червем и грызи это самое яблоко изнутри. Хочешь писать о крови — возьми наган, убей. О страхе — испугайся до смерти, до оледенения поджилок! А он хочет смотреть сквозь свои очки и сочинять. Так не пойдет у него, долго, во всяком случае, не пойдет. Куда верней его, Якино, решение: не наблюдать, сидя на заборе и боясь оттуда свалиться, а все делать своими руками, все узнать, все прочувствовать, кожей, сердцем, и уже потом, к тридцатилетию, через год, как было задумано, поставить точку на этой беспокойной шпионской жизни и начать новую жизнь, мучительную: литературную. Купить письменный стол, тетрадь с золотым обрезом. Яков Блюмкин, литератор. Вот только вывести агентуру в Калькутту и Бомбей — и ставить точку.

Ни Магдалина, ни крестоносец со шпорами не появлялись, зато приплелся сонный, как осенняя муха, хозяин в феске, неся на подносике оббитую чашечку кофе и облитую медом пахлаву.

Надо ехать в Москву, разглядывая пахлаву, думал Блюмкин. Надо готовить людей для бомбейской резидентуры и держать их наготове. Надо изъять из коллекции Шнеерсона еще десяток раритетов, среди них парочку-тройку инкунабул, и доставить их сюда через Берлин и Константинополь. Ну почему так медленно, спустя рукава работают люди? Они что, думают — у них в запасе вечность? Чуть, чепуха! Миг у них в запасе, один растянутый миг, который называется «жизнь». И вот какую чертову прорву дел надо сделать за год, пока еще не стукнуло тридцать, а они, все эти идиоты, эта Двойка, и Прыгун, да и Старец, тоже за целый месяц в Москве не смогли вырвать ордер на изъятие шнеерсоновских книг из спецхрана!.. Можно, конечно, задержаться на полгода после тридцати, но это уже будет не то, это нарушение плана, это стыд, стыдоба.

Вот кто бы тут, в Палестине, был хорош в книжном деле, так это Иуда Гросман: азартный, знающий. Но он себе никаких сроков не ставил, он уже пишет, а литература и разведка — это несовместимо, вместе не идет. Да и знаменитый он слишком для полевого разведчика, для нелегала: опознают раньше или позже. Так что не молитесь тебе, Иуда, у Стены плача... Литература, по существу, враг разведки: литература сильнее, она перевешивает, перетягивает, захватывает всего человека без остатка. Редкий человек справится с соблазном литературы. После Шамбалы, после Рериха, после той погибшей девочки так мертвую тянуло сесть писать! Справился... А Иуда Гросман не справился бы.

В кофейню зашел какой-то попик в потертой ряске, присел к столику, обмахиваясь газетой. Блюмкин исподлобья внимательно осмотрел посетителя, потом поднялся и медленно вышел вон. Выйдя, заглянул гуляючи в ковровую лавку против кофейни и оттуда, из лавки, глядел: не выйдет ли попик за ним следом? Попик не показывался, и Блюмкин, с достоинством кивнув ковровщику-армянину, шагнул за порог в переулочек.

По обе стороны людного переулочка устроены были вплотную друг к другу небольшие узкие лавки без окон, уходящие тылом неведь куда: то ли в муравейник крепеньких древних жилищ, то ли в лениво минувшие тысячелетия. Были тут лавки медников и зеленщиков, сапожников, мясников, златокузнецов и старьевщиков, и менялы сидели в своих притемненных закутках, как мучные черви. То, что иному человеку показалось бы экзотикой, Блюмкину представлялось оперативным фоном, причём благоприятным: базар был идеальным местом для того, чтобы уйти от слежки, затеряться в толпе. Но не было слежки.

На каменной площадке перед Храмом Гроба Господня Блюмкин появился в условленное время. Двойка уже ждала, сидела вместе с паломниками в золотистой тени на приступке у стены Храма. Араб-водонос с медным кувшином в виде журавля, с дюжиной стаканов, вдетых, как патроны в патронташ, в гнезда на пояском ремне, толкся на площадке среди молчаливых христиан. Увидев Блюмкина, Двойка поспешно поднялась с приступки, отряхнула от пыли квадратный зад и направилась к резиденту.

— Я тебе сколько раз говорил, Нехама, — терпеливо растягивая слова, сказал Блюмкин, — что на явку надо выходить точно — ни раньше и ни позже. Где Лева?

— Вы просто не поверите! — взмахнула руками Двойка. — Знаете, где наш Лева? Он пошел в синагогу.

— Руками не махать! — шепотом приказал Блюмкин. — В какую еще синагогу?

— Тут, недалеко, — сказала Двойка. — У Цветочных ворот.

— Он что, с ума сошел? — кривя губы, спросил Блюмкин. — Успокойтесь, Нехама.

— Чтoб вы так были здоровы, — сказала Двойка. — Чтoб все мы так были здоровы! Он пошел молиться в синагогу, этот шлимазл.

«В синагогу, — придирчиво разглядывая Двойку, повторил про себя Блюмкин. — Значит, агент по кличке Прыгун пошел молиться в синагогу у Цветочных ворот. А почему бы еврейю не пойти в синагогу, кто ему может запретить? Трилиссер? Но и сам Трилиссер наверняка пошел бы помолиться в иерусалимскую синагогу. В Москве — нет, а здесь, в Иерусалиме, обязательно пошел бы. Так устроены евреи, так устроен мир. Но какого черта пучеглазый Лева, которому место в камерном оркестре, а не в разведке, поперся в синагогу именно сейчас?»

— А позже он не мог пойти? — сухо справился Блюмкин. — Или раньше? Говорите, Нехама, ведь вы его жена, а не я. И о чем он собирается молить Бога, а?

— Чтoб нас послали обратно в Малаховку, — сказала Двойка. — Или перевели в другую страну. Здесь он просто не может работать, он задыхается по ночам.

— Я бы мог его расстрелять, — задумчиво покачивая патлатой головой, сказал Блюмкин, — и в Конторе мне бы сказали за это «спасибо»... Ну хорошо. Где расшифровка?

— У него, — поспешно сказала Двойка. — Он сам хочет вам передать.

— Где эта синагога? — спросил Блюмкин. — Вы знаете где? Идемте!

— В синагогу? — уточнила Двойка.

— А куда, в церковь? — язвительно спросил Блюмкин. — Вот наказание, Господи Боже ты мой...

Синагога у Цветочных ворот оказалась маленькой древней молельней с низкой овальной дверцей, почерневшей от времени.

— Это здесь! — узнала Двойка. — Я его сейчас приведу. — И решительно двинулась ко входу.

— Стойте! — прошипел Блюмкин. — Куда вы претесь? Женщинам нельзя!

— Ах, извините! — послушно подчинилась Двойка. — А я и не сообразила.

Достав из кармана ермолку, Блюмкин надел ее и вошел в синагогу. Сводчатый потолок умещал в себе гул молитвы, мощные стены были сложены из черных крепостных камней. Полтора десятка евреев в молитвенных накидках с кисточками отбивали поклоны, оборотясь к Западной стене разрушенного римлянами Храма. Протолкавшись к одному из молящихся, Блюмкин бесцеремонно постучал пальцем по сутулой спине.

— Ну хватит, Лева, — сказал Блюмкин. — Пойдемте.

— Иду, — сказал Лева. — Уже всё.

— А у вас, оказывается, и талес есть, — сказал Блюмкин, когда они вышли наружу. — Поздравляю.

— А как же! — сказал Прыгун. — Это еще дедушки покойного. В наследство достался.

Откуда-то из-под талеса, из-под пиджака Лева достал сложенный вчетверо листок бумаги, исписанный карандашом.

— А теперь я вас поздравляю, — сказал Лева, протягивая листок Блюмкину. — Все в порядке, груз в пути.

Развернув листок, Блюмкин пробежал текст. «Народный Комиссариат просвещения РСФСР, — читал Блюмкин, — ввиду встретившейся надобности просит по получению сего выделить из Ленинградской публичной библиотеки все древнееврейские книги 16-го века и направить их через фельдъегерскую связь Ленинградского ГПУ в пользование Наркомпроса. Книги прошу направить в мой личный адрес. Наркомпрос РСФСР Луначарский».

— Скажите мне, Лева, — убирая листок, спросил Блюмкин, — что вы хотели от Бога?

— Как что? — ухмыльнулся Лева. — Я через него послал привет наркому Луначарскому.

Лес Фонтенбло был сказочен. Тянуло назвать его дубравой, бором — заповедным каким-нибудь местечком. Как будто Главный Лесничий взял да и опустил на ниточках этот прекрасный лес Фонтенбло прямо с небес. Вот сейчас из-под зеленейших деревьев леса появятся и три местных богатыря и поскачут на сильных конях по своим делам.

Иуда Гросман выбрался в Фонтенбло под нежным Катиным нажимом: он не злоупотреблял общением с дикой природой, предпочитая полям и буеракам городские улицы, да и ехать не близко. Но Катя хотела настоящий французский пикник на траве, скатерку и салфетки в клетку, и корзину с провизией и вином, и сидение на земле, в диких татарских позах.

Поездке в лес предшествовало другое путешествие, городское.

За день до Катиного приезда Иуда, уже почти без надежды на удачу, бродил по антикварным лавкам. Слух о странном русском, разыскивающим пулю Наполеона, пробежал к тому времени от антиквара к антиквару, как электрон по медному проводу. Ни плана не было у Иуды в его поисках, ни маршрута. Он брел, гуляя, глядел по сторонам, радуясь виду улиц и людей. Ощущение слежки не оставляло его, но он уже привык к этому неудобству, а паника, леденившая вначале душу, прошла, как кризис смертельно опасной болезни — тифа или холеры. Ноги сами привели его в Десятый округ, в квартал Маре.

Ничего как будто и не изменилось в архитектуре домов, в уютной кривизне улиц. Но навстречу Иуде Гросману шли теперь бородатые мужчины в черных капотах, в круглых, отороченных лисьим мехом шапках, и бежали большеглазые ребятишки в ермолках, с прыгающими жгутиками пейсов. Иуда Гросман

озадаченно остановился, покрутил головой. «Ресторан “Цветочные ворота”. Кошерная кухня», — было написано по-еврейски над входом в дом, у которого остановился Иуда. И изображены Цветочные ворота иерусалимского Старого города.

Бормоча что-то себе под нос, Иуда снял очки и привычно протер стекла носовым платком. Евреи шли и бежали, и никто не обращал внимания на дивящегося Иуду Гросмана. И Иуда зашагал дальше на легких ногах.

На углу холодный сапожник в черной ермолке прилаживал подметку к башмаку. Сапожник сидел на низком табурете, сильные его колени были раскорячены, как у виолончелиста. Заунывная еврейская мелодия вырывалась рывками из зарослей бороды: держа в губах деревянные гвоздики остриями вовнутрь, сапожник дудел себе через нос. Время от времени быстрым и красивым движением руки, не переставая дудеть, он выхватывал гвоздик изо рта, приставлял к подметке и точным ударом молотка загонял по самое темечко. Поравнявшись с холодным сапожником, Иуда снова остановился. Мастер продолжал дудеть и мурлыкать, поглядывая иногда на ноги Иуды, на его дорогие английские туфли.

— У еврея неприятности? — чуть приоткрыв рот, так, чтоб не выронить гвоздики, спросил наконец сапожник. — Каблук? Рубчики? Набойки? — Его идиш звучал невнятно из-за этих белых гвоздиков, облепивших оттопыренные губы.

— Может, у еврея рубчик на сердце, — уклончиво сказал Иуда, — у еврея неприятности на душе, и он пришел послушать вашу музыку, которую вы поете через нос.

— Тогда зачем вы тут стоите, как журавель на крыше? — спросил сапожник. — Сядьте, Боже мой, и сидите! — И сапожник вытянул из-под своего табурета другой, поменьше, с полосками кожи, набитыми на раму.

— Еврей приехал в Париж из местечка, — сев, уверенно сказал Иуда, — из украинского местечка. Там журавли, там крыши.

— Кто вам сказал, что я приехал в Париж? — удивленно, как о неведомом, спросил сапожник. — Я приехал в Маре. Мы все живем тут, в Маре. — И он повел рукою, как бы отодвигая занавес перед лицом Иуды Гросмана, и Иуда увидел вывеску кошерного ресторана «Цветочные ворота», и старых евреев в круглых шапках-штреймл, и ребятишек с пейсами, и молодых евреек с овечьими глазами, в длинных платьях с оборками.

— И давно еврей приехал в это Маре? — с удовольствием оглядевшись, спросил Иуда Гросман.

— Зачем мне считать годы, когда Бог считает их за меня и никогда не ошибается? — сказал сапожник. — Ейн, цвей, дрей. — Один за другим он согнул три пальца на левой руке. — Я считаю сантимы, Бог считает годы, каждый из нас при своем занятии.

— Но прежде, чем Бог привел вас сюда, в Маре, — сказал Иуда Гросман, — посадил на эту табуретку и набил рот гвоздями, где он содержал еврея? В Шепетовке, в Кричеве? В Белой Церкви?

— А! — отрывисто воскликнул сапожник и пожал крутыми плечами. — В Белой, в Черной... Какая разница! Еврей живет там, где он живет, а за спиной у него огонь, дым и тарарам.

— Был погром? — наклонившись к сапожнику, спросил Иуда Гросман. — Вас громили?

— Нам всегда не хватает того, что у нас уже есть, — предостерегающе подняв заскорузлый толстый палец, сказал сапожник, — и мы жалуемся, и ругаемся, и просим Бога, чтоб он нам подкинул еще что-нибудь. А потом, когда у нас всё отнимают, всё — дикий сад до самой дороги, зайцев в траве, — мы начинаем жалеть, и плакать, и бить себя кулаками по голове... Еврей хочет что-нибудь сказать?

— Да, — выпрямился Иуда на своем табурете. — Да! Вы видели когда-нибудь еврея, который не хотел бы что-нибудь сказать? Так слушайте. Мне чудно здесь и легко, в этом вашем Маре, и я забыл про глупости жизни. Скажите, мой господин сапожник, куда мне пойти?

Из ящика с инструментами сапожник вытащил большую серую тряпку, тщательно, палец за пальцем, вытер руки и указал на приземистый трехэтажный дом по другую сторону улицы.

— Туда, — сказал сапожник.

В доме напротив помещалась хасидская синагога. Молельная комната была пуста, над рядами скамеек по теплым солнечным тропкам прогуливалась книжная пыль. Иуда Гросман сел на заднюю скамью, открыл оставленную кем-то залистанную Библию. «Проклят, — прочитал Иуда, — кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте!» Иуда усмехнулся, покачал головой и с любовью закрыл книгу. За окном, откуда вольно входили солнечные лучи, лежал Париж на берегу сиреновой реки, французы шли по бульварам мимо красивых старинных домов, и над церквями гудел воздух: в пастях колоколов ворочались бронзовые языки. Тесный хасидский штабл был здесь совершенно некстати, как на корове кавалерийское седло, но Иуда с Торой на коленях, на жесткой скамье, чувствовал иное: нищая синагога стояла в чистом поле, на четырех ветрах, теменем к небу, лицом к Иерусалиму. Ничто не мешало и не препятствовало ей тут стоять, вокруг было открытое пространство, в острой высокой траве бегали зайцы. Случайный шум мира не проникал сюда, и этим она отличалась от Одессы: там гомон южной потной жизни, сдобренной духом тушеных баклажан и чеснока без спроса и без стука, как к себе домой, входил в двери еврейских молелен.

И все же какое-то движение звука Иуда Гросман улавливал и здесь. Прислушавшись, он различил приглушенные людские голоса, то нараставшие, то опадавшие, как волны или как хлебное поле под порывами ветра. Иуда отложил книгу, вышел из синагоги и по обшарпанной каменной лестнице поднялся на второй этаж.

Там, за приоткрытой дверью, была школа, школьный класс. За длинными дощатыми столами, не доставая ногами до пола, тесно сидели мальчики лет четырех-пяти. Перед детьми лежали книжки Торы в потрепанных серых, коричневых и синих обложках. Сутулый еврей в глубокой черной ермолке, с рысьими глазами правдознанца на строгом остром лице прогуливался меж столами, разведочно заглядывая из-за спин учеников в их чтение и раздавая подзатыльники тем, кто, по его мнению, их заслужил. Дети, припевая, вразнобой читали священный текст. Заметив стоявшего в дверях Иуду Гросмана, учитель взглянул на него без интереса и продолжал свой прихотливый обход.

Мальчиков было здесь около пятидесяти. Шатены, блондины и брюнеты, тощие и раскормленные, черноглазые, голубоглазые и сероглазые, они несколько не были похожи на школьных первоклассников — шалунов и чистюль в коротких штанишках. Губы их двигались, произнося шершавые древнееврейские слова, и томительная учебная забота лежала на лицах. На нежных пятнышках лиц празднично светились глаза — драгоценные детские глаза, не растерявшие еще благодарного изумления миром.

Стоя на пороге талмуд-торы, в дверях, Иуда Гросман забыл думать о том, что страх слезки прилип к его спине, что он ищет в Париже дурацкий катышек свинца, как отмычку к спасению. Глядя на детей над книгами, он испытывал чувство совершенной безопасности, как будто ангелы тесно его окружали и черного не было среди них.

Катя отхлебнула вина из стакана, поставила его на клетчатую скатерку и незаметно погладила траву Фонтенбло узкой сухой ладонью.

— Можно спросить? — сказала Катя.

— Можно, — разрешил Иуда Гросман.

— Земля такая большая... — сказала Катя.

— Это не вопрос, — без улыбки сказал Иуда. — Большая, ты говоришь?

— Сколько людей каждый день закапывают в землю, — глядя в сторону, в траву, сказала Катя. — Каждый день, каждый год. Всё время. Земля сама уже стала как скелет... Не так?

— Тебе страшно? — участливо спросил Иуда.

— Нет! — откликнулась Катя. — Просто странно, если подумать. Вот мы сидим на земле, пьем вино.

— Ты думаешь о том, что и для нас там места хватит, — сухо сказал Иуда. — Да, хватит. Мимо земли не пронесут.

Катя помолчала, улыбаясь чему-то далекому, неразличимому, а потом сказала:

— Да что об этом думать! Смотри, как тут красиво, даже фазаны есть, и я уезжаю только завтра вечером. Что, мало?

— Нет, — сказал Иуда. — Я вообще не знаю, что значит «много», а что — «мало». Может, всё дело в сжатости, что ли, в том, что там умещается, в этом «много» или «мало». Вот рассказ, короткий рассказ — а там вся жизнь: ни убавить, ни прибавить.

— Нам хорошо, — сказала Катя, — значит, всё умещается. Пусть так сохранится навсегда: где бы мы ни встретились, нам будет хорошо. Ладно? Пусть редко, пусть даже очень редко. Знаешь, когда всё время хорошо, потом вдруг становится плохо. А у нас так не будет. Хочешь?

— Хочу, — сказал Иуда Гросман. Ему действительно хотелось быть с Катей, но и без нее хотелось быть, чтобы вспоминать о ней издалека. С Катей и, может, с теми детьми из Маре.

— Сделать тебе бутерброд? — спросила Катя. — С ветчиной?

— Сделай, — сказал Иуда. — А откуда ты знаешь, что здесь живут фазаны? Правда, живут? Ты видела?

— Нет, не видела, — сказала Катя. — А ведь правда, что у тебя была уйма женщин? Я знаю, знаю! Но ведь ты их всех любил, да? Ну и хорошо. Только ты мне ничего про них не рассказывай.

Дети. Они приходят на ум либо в беде, либо в старости. До старости еще далеко, а беда не за горой... Махно — слезка — арест — беда. Ничто не поможет, никто не спасет. И вот появляются дети, обступают, окружают, защищают загнанную душу своими беспомощными робкими телами. Как хорошо, что они есть, эти маленькие существа из другого, вольного мира.

Дети. Мальчики над книгами из Маре. Скрюченный калека в кресле-коляске в житомирском чулане. Фронтальные беспризорники — независимые оборванцы, держащиеся поодаль, как одичавшие собаки. Одесские музыкальные вундеркинды в бархатных курточках, с бантами на тонких голубых шеях.

Махно, слезка, беда... При чем тут Махно, какое он имеет отношение к одесским вундеркиндам? А вот какое: Веня, бездомный мальчик-казначей, сгинувший под Волнухой и объявившийся на московском ипподроме двенадцать лет спустя. Веня Рискин, человек чиста поля, разбойного леса. Вот ведь как точно, без швов сцеплены звенья цепочки! От дальнего к ближнему или наоборот — это совершенно неважно. Вот эта струящаяся тонкая цепочка памяти: «Ротонда», Нестор Махно в кургузом пиджачке, наступающие махновцы, сундучок в казначеской тачанке, чернявый честный мальчишка, круглоглазый, выпрыгивает из тачанки и дает деру вверх по балке. Веня, задыхающийся от бега и страха, в одном ряду с воспитанными вундеркиндами, нараспев читающими священный текст учениками талмуд-торы, и тем инвалидом в чулане: Житомир, Марусичка, жуткий кот с обвисшей мышью в зубах.

Это Веня познакомил Иуду Гросмана с Клавой. Откуда он ее взял, эту Клаву, он не рассказывал, да и какая разница!

— Что за Клава? — спросил Иуда, когда о ней зашла речь.

— Девушка, — сказал Веня и пожал плечами. — Из деревни. А вам что, обязательно нужна учительница пения?

— Что она делает здесь, в Киеве? — спросил любопытный Иуда.

— Она домработница, — сказал Веня. — А что вы делаете в Киеве?

— То же, что и вы, — сказал Иуда. — Иду по улице.

— А она готовит гусиную шейку и бабку из мацы, — сказал Веня. — Ну, еще что-нибудь?

— Она еврейка? — с сомнением спросил Иуда.

— А вы что, раввин? — остановившись посреди улицы, спросил Веня Рискин. — Чем вам не подходят гойки? Что они вам такого сделали?

— Я не говорю, что мне не подходят гойки, — пробормотал Иуда Гросман. — Ну что вы тут стоите? Пошли!

— Я иду,— сказал Веня.— Гойки ему, видите ли, не подходят...

Клава, терпеливо поджидавшая в пыльном скверике на лавочке, оказалась немногословной слабой девушкой лет двадцати, с незапоминающимся тихим лицом. На Веню она смотрела с почтением, как на знающего человека — бухгалтера или учителя.

— Это мой друг,— указывая на Иуду, сказал Веня.— Писатель из Москвы. Вечер уже, а ему спать негде, он у тебя переночует.

Известие о том, что Иуда Гросман — писатель, никак не подействовало на Клаву.

— Хозявы ругаться будут,— с сожалением сказала Клава.— Они не велят, чтоб чужие ходили.

— Это почему? — спросил Иуда.

— Боятся, что обворуют,— объяснила Клава.— Придут и унесут всё, а самих зарежут.

— Их тоже понять можно,— кивнул Иуда.— Придет такой ночевальщик, плечищи — во! усищи — во! — Разводя руки, Иуда Гросман показал, какие у ночного гостя усы и плечи.— А потом пиши пропало...

— Ну да,— сказала Клава.— Времена-то вон какие...— Было очевидно, что она совершенно согласна с пронизательным московским писателем.

— Но я буду молчать, как рыба,— сказал Иуда.— Я буду молчать и сидеть на табуретке до самого рассвета.— Тут Клава недоверчиво скосила глаза на Иуду Гросмана.— А если нам захочется что-нибудь сказать друг другу, мы воспользуемся языком жестов.

Клава тихонько засмеялась и одобрительно поглядела на Иуду Гросмана.

— Смеяться тоже нельзя,— предостерегла Клава.— А то шумно.

— Ну, я пошел,— сказал Веня Рискин.— Вы тут сами разберетесь, тем более пока можно и поговорить.

Веня растворился, как сахар в чае. Нельзя было судить, куда он вдруг подевался: то ли укрывается в кустах сквера, то ли шагает по улице, насвистывая от нечего делать. Иуда Гросман уселся на лавочку рядом с Клавой и как бы ненароком приобнял ее за плечи. Клава немного отстранилась, но без возмущения.

— А вас как звать? — спросила Клава.

— Иуда,— сказал Иуда Гросман.

— Чего-чего? — встревоженно переспросила Клава и еще отстранилась.

— Я не шучу,— сказал Иуда Гросман.— Я совершенно серьезно. В конце концов у каждого человека есть имя. Жил когда-то один римский император, Клавдий. А тебя, допустим, зовут Клавдия, Клава. И это совершенно не означает, что император Клавдий должен был изъясняться жестами со своими гостями... Короче говоря, я Иисуса Христа не предавал, можешь быть спокойна на этот счет. Я вообще никого не предавал, мне кажется. А ты?

— Интересно как! — сказала Клава.— Еще расскажите что-нибудь...— И чуть-чуть придвинулась.

Иуда, тщательно подбирая и расставляя слова, рассказал о Нероне со спичечным коробком в руке, о Тите Веспасиане у стен иерусалимского Храма, о князе Реувейни на сером коне в яблоках.

— Вы, правда, писатель,— сказала Клава, когда он закончил.— Как здорово!

— Я Иуда Гросман,— сказал Иуда и из-под очков внимательно взглянул на девушку. С тем же успехом он мог сообщить ей, что он Иуда Петров или Иванов: ему было совершенно ясно, что Клава никогда не слышала его имени. И это было скорее странно, чем неприятно: можно в конце концов даже не подозревать, кто таков Тит, но знать имя знаменитого писателя — это ведь не более чем естественно.

— Вы, наверно, не ужинали? — подымаясь с лавочки, спросила Клава.— Тогда я вас покормлю.

Подымались на третий этаж по черной лестнице. Обшарпанная входная дверь открывалась прямо в комнату домработницы — квадратное помещенье с окошком, выходящим во двор. Из помещеньца неприметная белая дверца вела в кухню, за кухней расстилались хозяйские хоромы со своим, парадным входом.

— Тут я живу, — шепотом сказала Клава. — Садитесь, отдыхайте.

— Твой-то спят уже? — присаживаясь к столику, стоявшему у стены под окном, спросил Иуда.

— Они рано ложатся, если гостей не зовут, — сказала Клава. — Поэтому я сегодня вышла, что никого нет.

Кто ж они такие, гадал Иуда Гросман, разглядывая комнату. Мебель в комнате — столик, диван, небольшой платяной шкафчик с витыми колонками — была разномастной, но не дешевой, не бросовой. Из золоченой рамки на стене глядел со старинного полотна смиренный мужик в армяке, с мешком за спиной. Так кто же он, хозяин, — военный, управленец или ученый, может, человек из старорежимных?.. Клава вышла в кухню, неслышно притворив за собой дверь.

А может, плонуть на это приключение, вернуться в гостиницу? На кой черт ему сдалась эта домработница с ее робкими хозяевами, которые могут проснуться в любой момент, вызвать милицию, учинить скучный скандал? Иуда знал: не плюнет, не уйдет. Что-то он разглядел в этой деревенской Клаве, которая наверняка и читает-то по складам. Что-то такое дивно спокойное, прозрачное. Противоодедское. Какую-то трогательную покорность, но никак не униженность.

Клава вернулась неслышно, по-воровски неся на серебряном подносе селедочный форшмак, морковный цимес, рубиновый свекольник и сладкое мясо с черносливом.

— От обеда осталось, — сказала Клава, ставя поднос на столик. — Чай будете потом?

Потом был чай с вишневым вареньем, потом была ночь с Клавдией.

И так прошла неделя, и в голубоватой Клавдиной прозрачности обозначилась надежная привязанность и ровная доброта. А на восьмой день в заухонную комнатенку с криком и грохотом ворвался хозяин Мирон Израилевич и хозяйка Фаня Самойловна.

— Воры! — размахивая палкой с набалдашником, кричал жилистый Мирон, а тучная Фаня ему вторила: — Грабят!

— Нет! — кричала Клава. — Он не вор! Он сам из ваших!

Иуда отодвинул тарелку с остатками жаркого, протер очки краешком носового платка и взглянул на ворвавшихся.

— Скажи им, Иуда! — кричала Клава.

Мирон застыл как вкопанный, с открытым ртом.

— Боже мой, — сказал Мирон. — Боже мой, ведь это... Не может быть! — Он обернулся к Фане, глаза его были выпучены и глядели ошалело.

Иуда сидел молча, мял пальцами хлебный шарик. Клава всхлипывала и подвывала за его спиной.

— Вы Иуда Гросман? — в величайшей растерянности справился Мирон Израилевич.

— Иуда Гросман, — кивнул лысеющей головой Иуда.

— Он Иуда Гросман! — вскрикнула тучная Фаня. — Что же мы тут стоим? Мирон! Это такая честь, что вы к нам пришли! Клава! Накрывай на стол в столовой! Ставь сервиз! Снимай чехол с дивана! Ну!

Утерев слезы рукавом, Клава убежала обрадованно.

— Надо позвать Мануйловых, — не спуская глаз с Иуды, сказал Мирон. — Они же просто не поверят!

— Беги отпирай магазин! — распорядилась по хозяйству тучная Фаня. — Неси вино, бордо. Лососины заверни, свежей. Вы гусиную печеночку уважаете, дорогой Иуда Гросман? Какой сюрприз! Мы сейчас устроим настоящий банкет.

Иуда поднялся, молча вышел на черную лестницу и не спеша спустился во двор. О Клаве он сохранил самые добрые воспоминания — без изъяна.

Катя хоть и просила ничего не рассказывать и даже кулачком грозила в шутку, а всерьез ждала, чтобы Иуда обронил хоть слово, сказал хоть бы намеком, хоть как, что все эти разгуливающие по зеленому лугу вперемежку с лошадами женщины ей и в подметки не годятся. Иуда, с салфеткой на коленях, по-малкивал, грыз рассеянно травинку Фонтенбло.

— Любил или не любил... — повторил наконец Иуда Гросман. — Любовь, видишь ли, хороша тем, что она проходит. Иначе мы все оцепенели бы, превра-

тились в камень, в поганый желтый лед. Мы ничего не смогли бы создать, если бы не влюблялись, не бросались из стороны в сторону... Знаешь, когда писатель садится писать мемуары? Когда перестает влюбляться.

— Ну, тебе еще до этого далеко, — хмуро заметила Катя. — До мемуаров.

— Да... — помолчав, сказал Иуда. — Любил, любил. Любовь, знаешь, не должна прерываться. Кончается одна, начинается другая. Любовь непрерывна, как река. Потом она куда-то там впадает, в Каспийское море — и всё, конец. Смерть. Сначала творческая смерть, потом физическая... Хочешь найти фазана? Лазоревая грудка, изумрудный хохолок. Фазан — сказочный персонаж, грех ковырять его вилкой.

— Дай-ка салфетку, — сказала Катя. — Идти уже пора... Зря мы завели этот разговор.

— Ни-ни! — сказал Иуда Гросман. — В королевском лесу мы заключили королевский договор. Да какой там королевский — сказочный! Фазан — свидетель. Мы знаем твердо, что у нас нет общей крыши, общего шкафа. Но мы будем вместе, как только захотим — не оглядываясь назад и не заглядывая вперед. Скажи!

— Я уже поставила свою подпись, — сказала Катя. — Разве ты не заметил?

Они поднялись с земли, отряхнули крошки с одежды и пошли через лес по влажной зеленоватой тропинке. Деревья леса были высоки и строги. В плотных, тугих кронах перекликались на разные лады птицы, а фазана не было видно. Справа от тропинки открылась широкая поляна, на ней стоял большой заброшенный овин и несколько обветшалых домишек с сырыми провалами окон. Легкий солнечный свет ровно заливал поляну и брошенные строения на ней. Ночью, должно быть, это зрелище возбуждало тревожные и грустные мысли, а сейчас, посреди желтого дня, прохожий человек не испытывал ничего, кроме праздного любопытства: «Кто здесь, интересно, жил? Когда?»

— Никого нет... — сказал Иуда Гросман. — Давай зайдем, поглядим.

Они сошли с тропы и, шагая по чистой траве, подошли к овину. Внутри высокого сарая было сумрачно, как в храме.

— Постоим здесь, — негромко попросил Иуда. — Я хочу кое-что проверить.

Спустя минуту-другую он подошел к тяжелой навесной двери, схваченной железным поясом, и выглянул с опаской. Никого не было ни на поляне, ни на тропе.

— Может, показалось... — сказал Иуда Гросман. — За нами увязался на станции какой-то тип, ты обратила внимание? В кашне, в коричневой блузе.

Но Катя никого не запомнила — шли какие-то люди по своим делам, может, был среди них и в блузе.

— Ты думаешь, за нами следят? — с сомнением спросила она. — Здесь?

Это «здесь» позабыл Иуду Гросмана. «Здесь!» А почему бы и не здесь, не в Фонтенбло? И чем лучше или хуже, если наступают на пятки в центре города, а не в зеленой лесной чащобе? Главное не в том, что идут по пятам как привязанные — ну что они такого высмотрят! Главное, что ты чувствуешь себя как муха, залетевшая в паутину: ты беспомощен, ты слаб, ты не человек. Ты горько и обидчиво сожалеешь о том, что Бог не дал тебе третьего глаза на затылке, чтобы беспрепятственно наблюдать, что происходит за твоей спиной. Без этого глаза ты куда как несовершенен.

— Давай еще постоим немного, — сказал Иуда. — Тень, тихо... Вот бы тут всё прибрать и пожить недели три. Здесь бы я сидел, работал на каком-нибудь ящике из-под вина, а здесь, — он показал где, — мы бы поставили топчан, низкий топчан, и покрыли бы его персидским ковром.

Она хотела съязвить насчет общей крыши, но передумала. Она жалела Иуду Гросмана и не знала, как незаметно подарить ему эту жалость. В заброшенном французском овине она вспоминала, сколько раз ей уже говорили о воображаемой кровати в уютном воображаемом доме.

— У меня есть один приятель, — продолжал Иуда, — он бывал в Персии наездами или, если тебе так больше нравится, наскоками. Вот он, может, подарит персидский ковер, чтоб ты на него забиралась с ногами, а у меня к тому времени откроется третий глаз на затылке, я буду сидеть за винным ящиком лицом к свету, писать и смотреть на тебя этим третьим глазом.

Опустив корзину с остатками еды на земляной пол, Катя с благодарным изумлением слушала Иуду Гросмана, как он без узелков, без остановок говорил о специальном, на перламутровой ножке лорнете для третьего глаза, о страхе, который водят за собой на цепочке, как таксу, о том, что в Москве царит полная эротическая свобода, свобода тела, послушно подменяющая свободу духа, а захватывающая угроза неостановимо расплзается в воздухе, как запах горького миндаля.

— А однолюбы? — улыбнувшись, спросила Катя. — А ревнивцы?

— Носители буржуазных предрассудков, — жизнерадостным голосом радиодиктора объявил Иуда. — Общественность единодушно их осуждает и перековывает.

— А если они не перековываются? — спросила Катя.

— Тогда могут посадить, — сказал Иуда Гросман и пожал плечами. Знаешь, мне нравится такая свобода под бритвой. Удар бритвой — это цена свободы. А здесь свобода бесплатная, к ней привыкаешь, как к удобной обуви: нигде не жмет, нигде не трет. Ничего не происходит.

— Ну, пошли, раз не трет, — сказала Катя и потянула Иуду за рукав.

Обогнув поляну, тропа снова скользнула в лес. Густые кроны смыкались и переплетались над тропой, внизу лежала тень, но не сумрак. Кругом было пустынно — ни охотника, ни оленя. Тропа вела к озерцу, посреди которого, на игрушечном островке, стоял трехэтажный дворец — бело-розовый, с колоннами и когда-то зеленой крышей, с мертвыми печными трубами над ней. Ноги нарядных гостей давным-давно не касались широких белокаменных ступеней, ведущих к заколоченному дощатым щитом входу.

— Вот, — сказала Катя. — Я хотела тебе это показать.

— Терем, — сказал Иуда. — Терем-теремок. А что там внутри?

— Ничего, — сказала Катя. — То есть я не знаю. Видишь — всё забито.

И лодки нет, никак не доберешься.

— Были б лодки, — пробормотал Иуда Гросман, — всё бы давно растащили... Пошли, поищем, может, найдем что-нибудь.

Они двинулись в обход озера. Берег был топкий, густой кустарник подходил к самой воде. Под ногами хлюпало. Под навесом кустарника, на отмели, Иуда Гросман наткнулся на плотик — четыре сбитые в раму бруса, на которые уложена была, как палуба, почерневшая от воды створка двери. На двери валялась доска, заменявшая весло.

— Вот лодка, — отрывисто сказал Иуда. — Поехали.

— Мы перевернемся, — сказала Катя.

— Это не яхта, — отрывисто согласился Иуда. — Но и эта лужа — не Тихий океан. Ты со мной? Или жди здесь.

— С тобой, — сказала Катя. — Я, между прочим, умею плавать.

— Тогда давай, — распорядился Кирилл Лютов. — Лезь. Садись на корточках, а то свалишься. Держись!

— Кто на нем, интересно, плавает? — робко спросила Катя.

— Кто, кто! — сказал Кирилл Лютов. — Пираты. Сейчас поглядим.

Катя не понимала совершенно, зачем понадобилось Иуде Гросману тащиться на каких-то гнилых бревнах на заброшенный островок, где, вполне возможно, засели бродяги или преступники. Что он там забыл, кой черт его тянет? Ведь ехали на пикник, и так прекрасно всё начиналось. Согнувшись в три погибели на хлипкой двери посреди воды, по пути к бандитам и разбойникам острова, она вдруг почувствовала опасную, необузданную силу своего плешивого спутника. Прикажи он ей напасть с бомбой в руке на конных полицейских — она подчинилась бы без вопросов.

— Какой ты, — тихонько сказала Катя, глядя на Иуду Гросмана, ворочавшего веслом. — Какой ты сумасшедший.

С тыльной стороны дома они нашли черный ход. Коридор был завален мусором, запустение комнат внушало тревогу и тоску. Иуда Гросман упрямо заглядывал в проёмы дверей и, не обнаруживая там ничего, кроме разрухи и сора, продолжал свой обход. Катя плелась за ним.

В тупиковой комнате коридора валялся на груди тряпья пожилой бродяга с красным лицом пьющего человека. Взгляд его бедовых глаз, скользнув по не-

прошеным гостям, удовлетворенно остановился на плетеной корзине в руках Кати.

— Вот и фазаны,— выпрастывая из тряпья грязные лапы, сказал бродяга.— Я знаю, что у вас там в корзинке: ветчина, хлеб, сыр, красное вино. А ну, красавица, докажи-ка поскорее, что я не ошибся! Ножик можешь не вынимать — Бог дал нам пальцы и зубы, и этого вполне достаточно.

— Ножик нельзя? — с интересом уточнил Иуда.

— Я пацифист, гражданин,— строго сказал бродяга.— Это принцип.

Усевшись, бродяга живо наблюдал за тем, как Катя выуживает из корзины еду и вино. Губы бродяги беззвучно шевелились: то ли он перечислял про себя припасы, то ли вел какой-то одному ему ведомый подсчет.

— Налить? — спросил Иуда Гросман.

Бродяга кивнул без лишних слов.

— Ну тогда за знакомство,— сказал Иуда, протягивая бродяге стакан.— Как вас зовут? Имя?

— У меня как раз кончились визитные карточки,— уклончиво сказал бродяга.— Последнюю на той неделе подарил полицейскому на добрую память... Если вы хотите снять у меня квартиру — пожалуйста. Но договор составлять не будем.

— Хорошая идея,— сказал Иуда.— Я бы тут отсиделся недельку.

— За вами охотятся, приятель? — Бродяга глядел с пониманием.— Тут тихо, как на Перечных островах.

— За вами тоже идут? — спросил Иуда. Ему легко было говорить с этим красномордым оборванцем.

— Я этого не сказал.— Бродяга протянул Иуде Гросману порожний стакан.— Наливайте, что вы, ей-богу!.. Может, идут, а может, уже сбились со следа. В конце концов все мы приходим в этот мир, чтобы иногда немного пошалить.— Обобщив положение, бродяга не спеша поднес ко рту кус золотистого хлеба с ветчиной и с хрустом вогнал в бутерброд крепкие крупные зубы цвета слоновой кости.

— А у меня вот не сбились,— сказал Иуда Гросман, придвигая сыр поближе к бродяге, к его страшным рукам, покрытым ссадинами и грязью.

— Это действует на нервы,— кивнул бродяга.— А что вы там забыли на материке? Отдыхайте!

— Действительно, что я там забыл? — повторил Иуда Гросман.— Может быть, страх.

— Бесстрашные герои с усами бывают только в книжках,— сказал бродяга и снова протянул стакан.— И вот что я вам скажу, приятель: в этом доме можно начать новую жизнь. Кроме того, это настоящий дворец, черт возьми! Кто может себе позволить жить во дворце?

— Мне здесь нравится, и я подумаю про новую жизнь,— благодарно сказал Иуда и усмехнулся.— Во всяком случае, круговую оборону тут можно держать. И это уже хорошо по нашим временам.

Бродяга в лесном дворце запомнился Иуде Гросману. Такой бродяга был, пожалуй, немислим в разграбленном господском доме где-нибудь под Тверью или тем же Орлом — независимый и неразбойный, хотя и на его страшных лапах проступали, если взглядеться получше, кровавые подтеки. Как это он сказал? «Мы все пришли в мир, чтобы немного пошалить...» В России бродяга, грубый человек, который переехал Байкал, уходит в тайгу и звереет потихоньку в своей лесной берлоге. Французский бродяга возражает против того, чтобы ветчину резали ножом, и дует кислое винцо вместо картофельного самогона. Традиция сидит в печенках у этих ребят, и байкальский головорез почему-то ничуть не ближе Иуде, чем французский винный пацифист. В Одессе еврейские бродяги исправно ходят в синагогу и расчесывают свои патлы по праздникам: на Песах, на Симхес-Тойрэ. Всё дело, как видно, в национальной традиции, а ведь бродяжничеству столько же лет, сколько человечеству. Почему бы не стать бродягой? Надо всё же иметь в виду предложение пацифиста снять у него квартиру.

Назавтра после пикника Иуда проводил Катю в Берлин. У поезда прощались сердечно, легко. Считанные часы с Катей стали праздником для Иуды Гро-

сман, подарком, красным леденцовым петухом на деревянной палочке, но праздник прошел, от петуха осталась одна палочка, и следовало выбросить ее в ближайшую мусорную урну. Да и Катя была полна тревожной благодарности, она, к собственному удивлению, немного устала в Париже. Она хотела очутиться в своем берлинском торгпредстве и, сидя там за скучным казенным столом, не спеша обрывать лепестки с этого парижского букета: пахнущие лавандовым мылом простыни в гостиничном номере, сидение в кафе на бульваре. Полученная в подарок фарфоровая собака с янтарными глазами. Совершенно безумное путешествие на полузатопшей двери по озеру и противный оборванец во дворце, хотя это было уже чересчур. Хотелось тихонько сидеть в Берлине и думать о новой встрече с Иудой — через месяц или через год.

Басовито рывкнул паровоз, судорога пробежала по составу. Улыбался немного грустно, чуть виновато Иуда Гросман, глядя на Катю за окном вагона. Как хорошо, что Катя приезжала! Как хорошо, что она уезжает обратно в Берлин! До свиданья, маленькая Катя с родными ладошками!

В полпредстве знали о Катином приезде. Катя — это, конечно, не так плохо, как если б знаменитый писатель завел шашни с француженкой. Но могло быть и хуже: возмись Иуда чертить крылом вокруг белоэмигрантки — и дело приняло бы катастрофический оборот. Как это ему не объяснили там, в Москве, перед отъездом, что за границей запрещено вступать в половую связь! Запрещены половые связи, запрещены азартные игры в публичных местах, запрещено несанкционированное участие в массовых мероприятиях. Есть у него надежная рука на самом вершине, тут двух мнений не может быть. Такая надежная, что этот Иуда дважды ездил на ипподром, делал там ставки по маленькой и выиграл. А история с пулей! Ясно ведь и профану, что она понадобилась Гросману как прикрытие для установления подозрительных связей... Составляя обстоятельное донесение в Москву, в Центр, куратор Громов досадовал на приезжую знаменитость: шлют этих чокнутых, и что с ними тут делать? А устройши такую Иуде пролетарскую выволочку, сугубо, допустим, товарищескую, — себе дороже обойдется: потом своя голова слетит с плеч. Да что Иуда! Даже девку эту берлинскую пальцем не тронь — нельзя, хотя ее в двадцать четыре часа необходимо было бы отправить на родину и там уже разбираться. Попробуй отправь! Гросман нажалуется, неприятностей не оберешься. И вот с донесением получают одни сплошные вопросы: писать всё как есть — скажут, перегибает Громов палку, старый дурак, а если кое-что подчистить на всякий случай, так могут же потом попрекнуть вплоть до разжалования: почему не доглядел, не донюхал?.. Но время бежало размеренно, враскачку, и назначенный день отъезда у Иуды Гросмана уже маячил на горизонте.

На малом приеме в полпредстве, в пятницу вечером, Громов затеял необязательный разговор с мрачно скучавшим Иудой.

— Хотел бы ваше мнение узнать, — противно улыбаясь, сказал Громов. — К азартным играм вы как относитесь?

— Никак, — не задержался с ответом Иуда и смерил вопрошавшего ироническим взглядом.

— А лошадки? — не отстал Громов.

— Лошадь — не дама пик, — пристально глядя поверх очков, сказал Иуда Гросман. — А что, собственно?

— А я так считаю, что кто играет в азартные игры — у того порочные наклонности, — высказался Громов. — Левый уклонизм, так сказать.

Иуда отчетливо представил себе двускатную крышу дома и себя, цепляющегося и сползающего по крутому наклонному скату вниз, в тухлое болото порока, ядовито зеленое. Представил — и удивился.

— Почему левый уклонизм? — требовательно спросил Иуда Гросман.

— Да это неважно, левый или правый, — охотно объяснил Громов. — А важно, что азартная игра отвлекает нас от важнейших ежедневных событий. Вот шахматы или лото — это другое дело.

Иуда костяшками пальцев потер лоб над очками, помолчал, а потом сказал:

— Вы, товарищ, талмудист и начетчик, и это опаснейший правый уклонизм, который куда опасней левого. Вы знаете, что такое талмудист?

— Это который...— смущенно замялся Громов.— Ну, в общем, чтец...

— Нет, не чтец,— жестко поправил Иуда Гросман.— Это политический демагог, попирающий святые пролетарские идеалы. Иными словами, враг советской власти, хотя и скрытый. Я бы посоветовал вам это хорошенько запомнить, товарищ... Кстати, вы читали Талмуд?

Приоткрыв рот, Громов смотрел на Иуду Гросмана, как рыба с крючка. Талмуд он читал! Какой, к чертовой матери, Талмуд? Он, что, еврей, что ли? Раввин? А дай этому Иуде отповедь — отзовут в Москву, потом доказывай, что ты не уклонист, не еврей и вообще не верблюд. Громовых-то тринадцать человек на дюжину, а Иуда Гросман — один, и место в парижской резидентуре — одно. Тут не до справедливости.

Отойдя от Громова, Иуда подошел к высокому окну. Накрапывал серебристый дождичек, фонарный свет пробивался сквозь черную листву сада. Скучный вечер был окончательно испорчен. Этот противник азартных игр, этот дегенерат не зря заговорил о лошадаках. Кто ему донес? Знает ли он о Махно?.. Вдруг захотелось в Киев, в закухонную кухаркину комнатенку, где он, Иуда Гросман, восседал за столиком с остатками господского обеда, как царь и первый заместитель господина Бога, где угроза неприятностей исходила лишь от заспанного бакалейщика. Хорошо бы оказаться сейчас в Киеве или даже в Одессе, расположиться в домашнем кресле, распустьить ремешок на брюшке. Тихо, тепло. Зудит муха под потолком. Чай с вишнями дымится на круглом столе, стакан тонкого стекла рубиново посверкивает в серебряном подстаканнике. Впереди полдня предпраздничного сахарного покоя, а вечером — стремительное застолье, гул голосов, женщины, похожие на райских птиц, и мужчины, пропахшие табаком и кровью: праздник в гостях.

Новый, 1938 год Иуда Гросман встречал в гостях у Кати и ее нового мужа — крупного чекиста, одно имя которого наводило ледяной страх и заставляло людей опасливо вжимать голову в плечи, чтоб сделаться пониже и понезаметней. Да и само имя душегуба редко кто развернуто произносил, таинственно и раболепно ограничиваясь инициалами: Т. Т. И это нравилось чекисту.

В подъезде жилого дома неподалеку от Кремля, по ту сторону Москвы-реки, дежурил красноармеец. Держа спину прямой, он сидел за желтым лакированным столом, как порученец в приемной наркома. На столе перед красноармейцем помещался черный телефонный аппарат без диска и пронумерованный список, напечатанный на пишущей машинке. Внимательно оглядев Иуду Гросмана с головы до ног, красноармеец спросил у него фамилию, сверился со списком, а потом, сняв трубку и прикрыв мембрану ладонью, с кем-то вполголоса переговорил.

— Проходите! — еще раз хмуро взглянув на посетителя, разрешил красноармеец.

Проверка не раздосадовала Иуду Гросмана: так они живут в этом доме, так надо. Он бывал здесь прежде и даже помнил сурового красноармейца в лицо.

Лифт, покряхтывая, привез Иуду на пятый этаж, к знакомой двери. Отворила Катя.

— Входи, входи,— сказала Катя и, пропуская его, летуче и легко прижалась к нему своим твердым стройным телом.— Народу полно. Вон Тёма. Осторожней с ним, он уже набрался.— И пошла перед Иудой Гросманом по коридору в своих лакированных лодочках.

Коридор вел в гостиную. Высокий и мощный, как горный туннель, он расширялся перед приоткрытой двустворчатой дверью, образуя небольшую прихожую. В одной из стен устроена была вместительная ниша, там стоял на никелированных ногах большой стеклянный аквариум, подсвеченный электрическими лампочками. Дюжина ярких тропических рыбок — красных, желтых и голубых — танцевала в золотистой воде между пушистыми зелеными водорослями. Человек малого роста в защитного цвета френче, синих галифе и сапогах с узкими щегольскими голенищами, с рюмкой в руке стоял у аквариума, вплотную приблизив лицо к прозрачной стенке. Через его плечо с недоверчивым восхищением глядела на рыбок красивая стройная бронетка с высокими татарскими скулами.

— Угадай, кто подарил,— шепнула Катя.— Сам! — Она подняла глаза к потолку, к небу.— Он уже час тут стоит, всем показывает.

— Добрый вечер,— проходя, сказал Иуда Гросман спине, обтянутой френчем.— С Новым годом!

Т. Т. медленно повернулся от аквариума. Он был пьян, глаза его имели мечтательное, рассеянное выражение.

— А, это вы,— сказал Т. Т.— Ну, здравствуйте.— Он поманил Иуду пальцем.— Идите сюда!

Иуда подошел. Невысокого роста, он был длинней чекиста на полголовы.

— Вот на эту посмотрите, с перышками,— легонько подтолкнув восторженную татарку к аквариуму, сказал Т. Т. Теперь они стояли рядом, плечом к плечу, а Иуда Гросман чуть позади дожидался своей очереди.— Красивая рыбка. Кстати, она похожа на вас, Фарида.

Татарка благодарно улыбулась молодым свежим ртом; зубы у нее были жемчужные, десны — коралловые. Т. Т. требовательно постучал ободком хрустальной рюмки по стенке аквариума. Водка пролилась. Обгоняя друг друга, рыбки бросились к стенке, на звук.

— Они хотят на свободу, за забор,— беря татарку за локоть, продолжал Т. Т.— За зону, так сказать. А зачем? На свободе они задохнутся, и вся красота пропадет. Ни пользы, ничего. Так?

— Так,— согласилась татарка и прилежно головой кивнула.

— А люди? — снова позвякивая рюмкой по стеклянному ящичку, сказал Т. Т.— Они что, лучше вот этих? Нет, не лучше. Хуже. А им тоже свободу подавай. Зачем, я спрашиваю? Ложкой ее хлебать, что ли? Свобода — вредная выдумка, я в этом разбираюсь хорошо.— Он чуть скосил глаза, убеждаясь, что Иуда стоит, ждет.— Хотите выпить?

— Да,— сказал Иуда Гросман.

— Держите.— Чекист протянул ему свою рюмку.— Пейте, пейте, я не заразный, вы же знаете. Ну-ну, не дергайтесь! — Он снова глядел на татарку.— Так вот, вам только дай свободу, и вы сразу начинаете делать глупости, а мы потом расхлебывай. Это всё равно, что ребенку дать нож. Сумасшедшему ребенку.

— А мой муж говорит, что мы самые свободные,— осторожно заметила татарка.

— В социалистическом смысле! — веско поправил Т. Т.— И запомните: буржуазная свобода — это сказка, такая же дурацкая, как любовь. Когда человеку нечем заняться, он садится за стол и придумывает вредные сказки. В лагерях у него просто нет на это времени. Ну, пошли!

— Значит, вы помогаете нам уберечься от дурацкого сочинительства? — пробормотал Иуда Гросман, входя следом за Т. Т. в гостиную.— Здорово...

— Ну да! — Т. Т. резко остановился и развернулся на каблуках, так что Иуда чуть его не сшиб.— Видите, не такой уж я тюфяк, как вам кажется. Гуляйте!

В гостиной было полно людей, лица некоторых были знакомы всей стране по фотографиям в газетах, с немногими Иуда Гросман встречался — на других приемах, в других домах. Отойдя в сторонку, к буфетной стойке, устроенной тут по западной моде — Катина, наверняка, затея,— Иуда кивнул буфетчику с офицерской выправкой, и тот протянул ему рюмку водки. Более всего Иуде Гросману хотелось сейчас, ни с кем не прощаясь, уйти отсюда: спуститься на лифте, пройти мимо сторожевого красноармейца вниз и, хлопнув дверью, выскочить на новогодний мороз. Но уходить было страшно. Конечно, даже этот дикий Т. Т. ничего не может сделать ему, Иуде Гросману,— иначе уже бы сделал в минувшем, недоброй памяти 37-м... И всё же неосмотрительно да и небезопасно было бы сейчас взять и уйти. И Катя оказалась бы в дурацком положении — она пригласила, и вот вам, пожалуйста. Да и не для того он пришел сюда, чтобы обижаться: на монстров не обижаются. Надо наблюдать, вдыхать этот воздух, запоминать. Для этого он здесь — соглядатай и разведчик.

В центре просторной комнаты танцевали пары, с потолка свешивались разноцветные бумажные гилянды, нитки серебряного и золотого новогоднего дождя задевали лица танцующих. С рюмкой в руке Иуда прислонился к стене и глядел сквозь свои стеклышки. Хозяин дома, неловко обходя танцующие пары, пробирался к патефону. Как это он сказал: люди не лучше рыб. Вот они танцуют в большом аквариуме гостиной, скользят по натертому паркету, мужчины

прижимают к себе женщин, одетых в яркие открытые платья: красные, зеленые, золотистые. Потом хозяин позвонит рюмкой! И все послушной стайкой бросятся к столу: с Новым годом, с новым счастьем! Никто не отстанет, никто не вырвется вперед до срока... Жуткий человек, недомерок в начищенных сапогах, направляющий людей от жизни к смерти. Железная заслонка, отделяющая ад крематорской печи от прохладного мира деревьев и звезд. Он правит этим миром, не писатель и не художник, а он, муж Кати, страшный карлик. И ведь не всегда же он был таким, Катя выходила замуж за другого Тёму — чиновника Наркомзема, она что-то в нем нашла, жалела его, гладила ладошкой его коротко остриженные белобрысые вихры. Что же его сделало таким, как он есть, рассуждающим о рыбах и людях, которых нельзя выпускать за лагерную зону? Глупость? Или власть?

Т. Т. нагнулся над патефоном и снял мембрану. Наступила тишина. Пары послушно застыли на полушаге и глядели на хозяина.

— К столу, — сказал Т. Т. — Пора садиться.

Белая плотная скатерть без единой морщинки еле проглядывала между тарелками, рюмками и бокалами, блюдами и бутылками, судками, вазами и кувшинами. Рассаживались не мешкая, сдержанно переговариваясь вполголоса. Т. Т. постучал ножом по фужеру.

— У нас тут есть писатель, — сказал Т. Т. — Знаменитый писатель. Он скажет тост.

Иуда Гросман поднялся, поглядел, щурясь, на хозяина, на гостей.

— Старый год уходит, — сказал Иуда. — Это был нелегкий год. Скатертью ему дорога!

Гости потянулись за рюмками.

— Отменяется! — глядя на жену, отдельно и громко произнес хозяин. — Выпьем за здоровье товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Всем пить до дна!

Встречу с Шарло — оружейником, монархистом и немножко бандитом — Иуда Гросман раз за разом откладывал на потом. Он знал, что пойдет, но откладывал, и тянул, и берёг в кошельке бумажку с адресом.

Дело тут было не только в наполеоновской пуле: Иуда уже почти разуверился ее отыскать в море антикварного хлама. Дело в том, что не познакомиться с парижским «немножко бандитом», к тому же преданным сторонником блистательной королевской власти — это было бы просто безумием. Получить такую возможность и не воспользоваться ею! Разумеется, надо идти.

Но опасность кусала за пятки. То, что таинственный Шарло — монархист, это не страшно, это никого здесь не волнует. Тревожно другое: рекомендация Жан-Жака д-Анжу, сердечного приятеля князя Щербатова. Того самого Щербатова, который уговаривал его, Иуду Гросмана, вступить в русскую монархическую организацию. При всем их анекдотизме эти уговоры, стань они известны в Москве, выйдут Иуде боком. Если князь такой дурак, что с первого взгляда не распознал в Иуде Гросмане еврея, то от него чего угодно можно ожидать: сболтнет где-нибудь об этом разговоре хотя бы смеха ради. И вот получится, что Иуду со Щербатовым познакомил д-Анжу, тот самый, который рекомендовал Иуду оружейнику Шарло. Тут и слепому ясно: это сеть, это оружие, это заговор. То есть слепому с Лубянки, а нормальному человеку такое и в голову не придет. Но оглядываться, хочешь не хочешь, приходится на Лубянку, а не на Эйфелеву башню.

Шарло проживал на далекой окраине Парижа, во флигельке, спрятавшемся в диком парке. Посреди парка, когда-то ухоженного, высился большой заколоченный дом с колоннами. К парадному подъезду вела заросшая травой мощеная аллея, давно забывшая прикосновения колес. Тропинка, ведшая к флигельку, была, напротив, хорошо утоптана.

Шарло оказался рослым упитанным малым в черном берете, свешивавшемся на искалеченное левое ухо. Стоя за верстаком, заваленным железным хламом, он выслушал рассказ Иуды о герцоге д-Анжу и его настольной гильотине и удовлетворенно кивнул головой.

— Ну, дальше, — сказал Шарло, достал из-под верстака бутылку вина с двумя бокалами и налил себе и гостю.

— Я монархист,— продолжал Иуда Гросман.— Прибыл к вам нелегально из красавицы Одессы. Чернь низложила нашего короля, трон пошел на переплавку. Корону спустили цыганам за гроши.

— О! — удивился Шарло и долил Иуде вина.

— Вы, конечно, слышали, где это — Одесса? — сказал Иуда Гросман.

— Где? — спросил Шарло.

— Там,— махнул рукой Иуда.

— И вы — оттуда? — спросил Шарло.

— В какой-то степени,— уклончиво ответил Иуда.— Я человек песков.

— Так у вас там султаны? — спросил Шарло.— В песках?

— Можно сказать и так,— кивнул Иуда Гросман.

— Как, вы говорите, это называется? — снова спросил Шарло.

— Одесса,— сказал Иуда Гросман.

— О! — снова удивился Шарло.— Король обезглавлен?

— К несчастью, да,— сказал Иуда.— Но его сын — чудный мальчик, он взойдет на престол. Мы вернем ему корону.

— Мне, конечно, все равно,— помолчав, сказал Шарло,— но как вас зовут?

— Давид Реувейни,— твердо сказал Иуда.

— Вам нужно оружие, месье Реувейни? — спросил Шарло.— У вас есть деньги, чтобы за него заплатить?

— Ну, конечно, конечно...— покивал головой Иуда.— А пушки есть?

— Часть денег вперед,— сказал Шарло.

— Сколько скажете,— согласился Иуда.— Я вам верю, как самому себе, больше, чем самому себе.

— О! — удивился Шарло.

— Но возьмем быка за рога,— продолжал Иуда.— Наследник престола просто мечтает о каком-нибудь императорском сувенире, скажем, о пуле Наполеона. У вас есть?

Шарло поглядел на Иуду Гросмана с большим интересом.

— Две,— сказал Шарло.

— Как две? — не понял Иуда Гросман.

— Они же парные,— глазом не моргнул Шарло.— Вы что, не знали?

— Наследник не знал,— пробормотал Иуда.— Теперь я ему расскажу.

— Ну, конечно,— сказал Шарло.— Как видно, ваш наследник — выдающееся дитя. Расчет только наличными.— И вышел из комнаты, ступая недоверчиво, как по битому стеклу.

Счастливо улыбаясь, Иуда налил себе вина. Ему нравился этот разговор, текущий меж сказочных берегов. Одесские жулики и бандиты тоже не прочь были прилгнуть и пофантазировать, но на иные темы. Молдаванка, пожалуй, не привилась бы к галльскому стволу.

Шарло вернулся, неся на ладони два грязных свинцовых катышка размером с бараний орешек.

— Чем меньше остается монархов,— огорченно сказал Шарло, заворачивая катышки в обрывок газеты,— тем больше становится лапа у женщин. Вы обратили внимание?

— Ну да,— без промедления отозвался Иуда.— Нога?

— Ступня,— уточнил Шарло.— Она растет прямо в глазах, как у пехотинца. Раньше ножка была — бутон, а теперь сороковой размер — это еще что...— Шарло горестно покачал головой в разбойничьем берете.— Народы вырождаются без монархов, месье Реувейни! Поверьте, нас ждут тяжкие времена.

Шагая через запущенный парк с катышками в кармане, Иуда Гросман перебирал в памяти слова разговора. Бутон — и лапа пехотинца; это надо записать. Вместе с монархией уходит и изящество. Черт возьми! И это говорит Шарло с отрубленным ухом.

Близ ветхой арки ворот Иуда Гросман прибавил шагу — как бы не рухнула на голову, такое может случиться. Нащупав в кармане свинцовый шарик, Иуда размахнулся и с легким сердцем запустил его в придорожные кусты: довольно будет и одного. Блюмкин все равно не поверит, что этот обрубок имеет хоть какое-то отношение к императору Наполеону, зато ему будет приятно, что Иуда

не забыл о его странной мечте. А сертификат можно купить у любого антиквара, что-нибудь вроде «Настоящий предмет является пулей к личному пистолету императора Наполеона Первого». И подпись с печатью. Хотя у себя на Лубянке Яка может изготовить таких бумажек хоть чертову дюжину, с печатями и без.

Иуде Гросману вдруг сделалось скучно на зеленой дороге. Европа все ему уже дала, наполнила под завязку. Пукающие народные немцы, Катя, Махно в пиджачке. Бродяга, переехавший фазанье озеро. Слежка и страх, от которого никуда не деться. Еврейка у кошерного ресторана «Цветочные ворота» — с бедовыми глазами, на высоких ногах. Историческая пуля из рук одноухого Шарло. Всё. Можно ехать домой. Зеленая дорога, обставленная по обочинам неаккуратными домками в пыльных палисадниках, вела в Малаховку.

Собственно, Малаховка, замаячившая перед Иудой Гросманом в конце зеленой дороги, не имела непосредственного отношения к подмосковному дачному поселку с его жидкими садами и огородами, с его обязательным предвечерним чаем на веранде под вой комаров. С тем же успехом Иуда мог увидеть Серебряный Бор или Цыганский уголок. И то, и другое, и третье равно означало подступающую неизбежность возвращения восвояси. Казалось бы, что проще: вышвырнуть вторую пулю следом за первой — и остаться. Но тогда мироздание дало бы трещину, потому что толстому старику, у которого на носу очки, а в душе осень, будущему подслеповатому старику по имени Иуда Гросман предназначено было умереть в России, а не в Париже. Поэтому не следовало подвергать мироздание насилию, надо было ехать домой и там, дома, стареть понемногу, накапливать добрый жирок и щуриться на закатное теплое солнце. Француза Шарло не получится из Иуды, и сапожника с усыпанной деревянными гвоздиками губой не получится. Надобно собираться понемногу, вздыхать и ехать.

Возвращение домой, если и дома-то толком нет никакого, а есть комнатенка в общежитии или съемный угол, заваленный тряпьем и старыми газетами, давным-давно уже превратилось в изрядное событие, в песнь души. Умиленно разглядывая засиженные мухами стены, кое-где и в клопиных коричневых следах, вернувшийся восвояси мысленно рисует картину столетнего родного очага, прочной крыши и — за окном — голубой реки в лесных зеленых берегах. Нет ни леса, ни реки, ни переплетчатого окна, а одни лишь мухи с клопами. Но как тревожно, как благодарно сознать, что ты вернулся в родное гнездо! Какого черта вернулся, каким мусорным ветром тебя туда снова занесло — это всё не суть важно... А что до очага, полыхающего чистым стрельчатым огнем — так ведь это когда-то было, в далекие времена, и дымок от костра еще пощипывает глаза и нагоняет слезу.

Да, был очаг, костер горел. И сидели вокруг этого костра неведомые люди, обгрызали мясо с куриных костей, а голые кости деликатно бросали за плечо. Где это было, в каких точно краях, никто доподлинно не может сказать. После еды кровь прилиwała к желудку, глаза слипались, тянуло ко сну. Рувим ложился с Ривкой, Иван — с Марьей... Марья родила Глашу, Ривка — Лею. Потом Леа родила Цию, а Глаша — Таню. А костер всё горел — в удобном каменном ложе, потом в камине, потом в русской печи, потом в кривоногой буржуйке, потом в керосиновой лампе «Молния». Кости уже никто никуда не кидал — от этого почему-то решили отказаться, да и куры перевелись. И пришел назначенный срок на журавлиных ногах, и родился Иуда Гросман, и Яка Блюмкин, и каучуковая Катя, и Юра, который никогда не был на Борнео, и исполнитель Мустафа, — любитель крепкого чая. И все они помнили запах костра — того, в каменной лежанке, и, возвращаясь, ищущим взглядом зажигали его посреди своих заплыванных фанерных гнезд.

Блюмкин возвращался домой кружным путем, петлял. Это было ему не в тягость, а в радость: уходя в стороны, пятясь назад, он тем не менее приближался к дому. Мысль о том, что английская или турецкая контрразведка идет за ним по следу, никогда его не оставляла. Ему не было нужды получать специальные подтверждения на этот счет. За ним могли идти, и этого было достаточно, чтобы предпринимать все возможные меры предосторожности: петлять, пятиться, ложиться на дно. В августе он вынырнул в Константинополе. Оттуда путь лежал

через море, задачка была не из сложных: в порту стоит советский сухогруз, капитан предупрежден о появлении безымянного нелегального пассажира, который поднимется на борт в удобное для него время и удобным для него способом. И это всё.

Отлеживаясь в каюте старпома, Блюмкин думал о том, что в палестинской интриге против англичан следует опираться на евреев, а не на арабов, о письмах, написанных Троцким между книжных строк симпатическими чернилами, о красивой Лизе, которую хорошо бы разыскать сразу по приезде в Москву, о художнице Ире Великановой, которую следует внедрить в иерусалимскую сеть. Волны шлепали в борт, Яков много спал на старпомовской жесткой койке. Однажды ему приснилось «Стойло Пегаса», приснились пугливые приятели-писатели и как он им рассказывает о мясных лавках на Виа-Долороса, о синих мухах, жужжащих над отороченными белым жиром гирляндами бараньих кишок, развешанными на черных крюках. Блюмкин уже видел себя дома, тесная жаркая каюта и море за тонкой железной стеной были не в счет. Он радовался неотвратимой встрече с домом, и только эта история с письмами чуть-чуть саднила душу.

А потом всё завертелось как-то не так. Вот ведь бывает, и часто: всё как будто рассчитано, всё заранее измерено, но одно какое-то звеньишко оказывается надорванным, и вся цепь событий нарушается и теряет предусмотренное направление. Радость превращается в огорчение, неукоснительный порядок — в суету. С письмами надо было что-то делать, а именно — передавать их по известному адресу. Но за письмами стоял Великий отправление, за одну встречу с которым курьера ждала смерть. В Константинополе дело казалось проще: приехал, передал. Да и Троцкий ведь особенно не настаивал, Блюмкин сам напросился на поручение. В Москве всё выглядело иначе. В Москве он уже не был уверен в том, что Льва Давидовича ради будущего мировой революции, ради победы вот-вот вернут на родину. Самому нести книгу с тайными письмами было никак нельзя. Попросил отнести верного человека — тот сплеховал, испугался, книгу вернул. Но страшная тайна осталась при нем, испугавшемся. Да и к Радеку не надо было идти исповедоваться, как к попу. Радек выслушал, подумал, почесал козлиный подбородок и противным голосом посоветовал стучаться в ЦКК и там во всем виниться. Значит, знали уже двое. А кто поручится, что они никому ничего не сболтнули? Первый — это еще полбеды: ну сказал жене под одеялом страшным шепотом. А вот Радек мог и донести, что-то вид у него во время встречи был какой-то жеваный, и этот гнусный подбородок. Он перепугался, при слове «Троцкий» он просто стал сам не свой. Ясно, что, подумав немного, мог и побегать на самый верх, мог написать письмо в тот же ЦКК или Менжинскому. А может, сейчас как раз сидит и пишет, это «отточное» письмо партии... Надо опередить, надо действовать первым, это ясно и дураку. Либо идти к Трилиссеру и всё ему объяснить, либо рвать когти, бежать на Восток, раствориться там среди медлительного понятного люда, переждать. Деньги есть, можно лечь на дно где-нибудь в Персии, можно пересидеть грозу в одном из тибетских монастырей. Иначе — смерть.

Знала о константинопольской встрече, о книге и красивая Лиза. Тут Яка был спокоен — он ее почти любил, он открыл ей тайну, чтобы накрепко привязать к себе, и еще потому, что эта ядовитая тайна — быть может, самая неизвестительная, самая случайная из всех, которыми был до краев налит Яков Блюмкин, — упрямо рвалась наружу, не желая смешиваться с другими в тяжелый тугой клубок. А красивая Лиза была рядом, она видела, что с Якой творится что-то неладное, она могла и чувствовать кое-что своим партийным чутьем, пролетарско-революционным. И Яка сказал ей — такой славной, такой заботливой.

«Всё время меня не покидала мысль о том, — писала красивая Лиза в своем доносе в ОГПУ, — что, собственно говоря, раньше всех обо всем должен узнать т. Трилиссер, что я, его сотрудница, обязана ему рассказать еще до того, как Блюмкин пойдет в ЦКК».

А Блюмкин всё медлил, всё никак не мог решить, что ему следует предпринять. Скрыться — да, прекрасная идея, но тогда он подведет Трилиссера, собственными руками разрушит резидентуры в Иерусалиме и Константинополе. Ид-

ти в ЦКК душа не лежала — не хотелось оправдываться, не хотелось выслушивать всякую жеребятину. Оставался про запас еще один выход: покончить жизнь самоубийством. Но доктор Иссерсон, хороший знакомый, не дал яду, а стреляться из собственного револьвера, уложившего столько врагов мировой революции, представлялось просто фарсом. Да и намерение взять и умереть было мимолетным, нестойким — рядом Лиза, и тибетский монастырь ждет в горах. А раз так, надо заметать следы и уходить, лишь одну живую душу введя в курс дела — красивую Лизу.

«В среду вечером, — доносила введенная в курс дела Лиза, — часов в 11, мне позвонил Блюмкин и на мой вопрос, был ли он в ЦКК или у т. Трилиссера, он заявил мне, что решил не идти “ни туда, ни сюда”, что у него на это не хватает силы воли, что тяжело погибать от руки своих же, что товарищи его не поймут и что он решил исчезнуть на время и просит меня помочь ему, встретиться с ним. Я обещала встретиться и сейчас же позвонила т. Трилиссеру».

Позвонив, девушка побежала на свидание. Встретились на Мясницкой, ночные улицы были пустынные и тихи. Яка, коротко остриженный, без усов, держал в руке небольшой дорожный баул.

— Спасибо, что пришла, — сказал Блюмкин. — Хоть попрощаемся по-человечески... Давай пойдем к Фальку на минутку, тут по дороге.

— Поздно уже, неудобно, — возразила Лиза. — Лучше я внизу постою. Ты быстро... — Машина с чекистами могла вот-вот подъехать, надо было не пропустить.

— А, ладно! — махнул рукой Блюмкин. — Тогда не пойдем.

— Лучше, правда, не идти, — сказала Лиза. — Зачем следы-то оставлять, мало ли что?

До Казанского вокзала рукой подать. Там во всякий час суток толпа, толчея — спекулянты, мешочницы, узбеки в ватных халатах, туркмены в высоких шапках-тельпеках. Нет ничего легче, чем затеряться в таком вареве. Но ташкентский скорый уже ушел, а следующий — на Ашхабад, пассажирский — только через пять часов, на рассвете.

— Поехали ко мне, — просительно глядя, сказала Лиза. — Отдохнешь хотя бы часика два, а потом вернемся прямо к поезду. А? Что тут-то сидеть, только вшей наберемся. — Действительно, в вокзальной тысячной толпе знак чекистам не подать.

Они вышли на площадь, свободную от людей. Вместительная машина выкатилась из переулка, притормозила и остановилась. Из разом распахнувшихся дверей посыпались вооруженные товарищи: один, два, четыре. Еще трое, топя сапогами, бежали к ним через площадь. Лиза сделала осторожный шаг в сторону, потом еще шаг. Ее ждало большое и светлое будущее: она выйдет замуж за резидента советской разведки в Лондоне Горского, от Горского перейдет к нью-йоркскому резиденту Зарубину, тесно приблизится к Оппенгеймеру и Эйнштейну и сыграет далеко не последнюю роль в краже американских ядерных секретов из Лос-Аламоса.

— Сука, — глядя ей в затылок, внятно сказал Блюмкин. — Вот сука! — И, подхваченный под руки, направляемый по прямой, шагнул, пригнувшись, в темную кабину.

И Катя вернулась, каучуковая девочка. Носильщики тащили из купе чемоданы и коробки. На дворе стоял 1932 год.

Катю встречал на перроне долговязый мужчина с чахоточной грудью, с косым пробором над широким крестьянским лбом. Пробор работал в хозяйственном управлении Лубянки, занимал там устойчивое положение. К приезду Кати он побелил свою двухкомнатную квартирку на Безбоженке и завез туда со склада конфискатов старинную двуспальную кровать из карельской березы, с инкрустацией. Пробор был влюблен в Катю совершенно безоглядно, он был готов ради нее на небудумные поступки. Он немного спешил, торопил события: завоз карельской кровати был преждевремен — Пробор не достиг еще тех служебных вершин, когда сон на буржуйском матрасе не портит трудовой крестьянской биографии.

Кате понравилась кровать, да и Пробор оказался покладистым, мягким человеком. Вскоре в квартирке на Безбоженке появился павловский шкаф крас-

ного дерева с пламенем. Это пламя на дверце дворцового шкафа Иуда Гросман мастерски описал в одном из своих рассказов.

А через пять месяцев за сокрытие родственной связи с дядей — белогвардейским ротмистром — Пробор был вычищен из органов, а вслед за тем и выслан из столицы за Урал сроком на пять лет. Неглубокие его следы затерялись где-то в Сибири.

Иуде Гросману снилось возвращение домой. Картинки выходили не совсем четкими, хотелось привычно протянуть руку за очками, лежавшими на тумбочке у изголовья гостиничной кровати.

Иуде снилась степь, на краю которой стоял город, обнесенный каменной стеной. Степь сплошь была засыпана обрывками скомканной бумаги, небрежно вырванными из книг страницами. Ветер шатался по степи, вороша и погоня бумажный мусор. Иуде неприятно было шагать по степи к городу: на бумаге, мертво шуршавшей под ногами, он узнавал свои рассказы, свои дневники. Стараясь не наступать на страницы, он петлял, глядя в землю. Солнце пекло вовсю, пот сползал по лбу Иуды, высачиваясь из-под буденновского шлема, похожего на скифский колпак. До стены города оставалось немного. Глядя на высокую арку ворот, выложенную диким камнем, Иуда вдруг обнаружил, что забыл, зачем он сюда пришел и чем ему надобно заняться в городе. Это открытие смутило Иуду Гросмана.

Над воротами, над створками, распахнутыми настежь, была подвешена, небрежно прибитая к стене железными костылями туша вороного коня. Эту часть стены плотно облепил плющ или какое-то другое вьющееся растение; среди плотных зеленых листьев негусто светились красные и голубые цветы. Зеленая стена с конем была похожа на луг, поставленный набок, на всеобщее обозрение. Иуде стало досадно, что он не знает названия стенового вьюнка. Вглядываясь в крупные красивые цветы, среди которых свисал мертвый конь, Иуда Гросман вспомнил Бунина, корившего русских писателей за то, что они не в состоянии отличить львиный зев от полевого василька. Он-то, мол, Бунин, в состоянии, да еще как, а все остальные не знают ни бальмеца. Цветы цветами, но вредный он всё же человек: другие другое знают, что ему не снилось и в дурном сне.

Между тем Иуда подошел к воротам вплотную — к привратнику в фиолетовых бархатных штанах, сидевшему в теньке на пластмассовом стульчике.

— Пропуск! — сказал привратник. — Куда прешь?

— Вот. — Иуда порылся в кармане и протянул.

— Лю-тов, — по складам прочитал привратник. — Кирилл. Зачем пришел?

— Да я возвращаюсь, — сказал Иуда Гросман. — На родину, так сказать. Тут мой дом, тут мое место. Да-да.

— Погоди-ка, — распорядился привратник. — Эй, ты! — Он, не подымаясь со стула, замахал рукой, подавая сигнал босоногой молодайке, неподвижно стоявшей в арке ворот, у стены. — Ты этого знаешь гражданина?

Женщина взглянула мельком и отчетливо дала показание:

— Знаю.

— Ну, проходи, — разрешил привратник.

Иуда шагнул в арку и, поравнявшись с женщиной, остановился рядом с нею. Она была одета в длинную солдатскую шинель, сидевшую на ней мешком. Из-под низкого неровного подола выглядывали голые ноги с маленькими неразношенными ступнями. «Вот Шарло бы порадовался!» — отметил Иуда и спросил:

— Тебя как звать?

— Тамара, — сказала молодайка и распахнула шинель. Иуде открылось красивое голое тело молодой женщины: высокие округлые груди, крылья темного треугольника внизу живота.

— Тамар? — дивясь, переспросил Иуда Гросман.

— Тамара, — поправила молодайка. — Тамар — та сидела, а я, видишь, стою... Ну идем.

— Куда? — спросил Иуда.

— Тут рядом, — сказала Тамара. — Деньги есть?

— Нет денег, — сказал Иуда и то ли смущенно, то ли виновато пожал плечами.

— Тогда залог,— сказала Тамара, быстро шагая. Руки она держала в карманах, чтобы полы шинели не отпахивались.

— Перстень? — поинтересовался Иуда.— Пояс? Нет у меня ничего. Может, очки?

— Пояс,— строго кивнула Тамара.— И очки. Принесешь деньги — получишь залог.

Дивясь и глаза по сторонам, пока не отобрали очки, Иуда поспевал за Тамарой. Это приключение увлекало его и пугало: затащат в какую-нибудь дыру, зарежут. Кто, за что? Ответы на эти вопросы даже не брезжили, это-то и пугало. Но так хотелось, лежа на колючей шинели, медленно гладить тело Тамары.

— Ты местная? — попевая, спросил Иуда.— Это что за город?

— Город как город,— не оборачиваясь, сказала Тамара.— Не узнаешь? Ты же вернулся!

— Ну да,— с сомнением согласился Иуда.— А тебя я что-то не помню.

— Ну и хорошо, что не помнишь,— сказала Тамара, продолжая шагать.

У какой-то лачуги, запертой на висячий замок, остановились. Тамара достала из кармана ключ размером с куриную ногу.

— Входи! — сказала Тамара и, пропустив Иуду, притворила за ним шаткую узкую дверь. Протискиваясь, Иуда тесно прикоснулся к женщине, сердце его радостно подпрыгнуло, а потом медленно опустилось на место; он услышал слабый лесной запах молодого тела, дыхание его сделалось коротким.

Посреди лачуги стоял крепкий круглый стол, на столе дымился темный чай в хрустальном стакане, в серебряном подстаканнике, а рядом, на блюдечке, торчала пунцовым соском вверх горка спелых крупных вишен. Пройдя мимо стола, Тамара прошла в угол, одним долгим движением скинула шинель и разложила, расстелила ее на ворохе мягких кипарисовых веток.

— Иди...— позвала.

Кожа у нее была шелковистая, прохладная, тело — послушное и податливое, вся она — праздник.

— Боже мой,— сказал Иуда,— так ведь не бывает. Мне это приснилось?

— Просто ты старшеешь понемногу, Иуда,— сказала Тамара и свела четкие брови под чистым лбом.

— Ты меня знаешь? — спросил Иуда.— Откуда?

— Кто ж тебя не знает! — сказала Тамара.— Ты вон какой знаменитый.

— Бог мне тебя дал,— сказал Иуда благодарно.— И если бы...

— Не торгуйся с Богом! — поспешно перебила Тамара.— «Если бы» никому нельзя говорить. Ни тебе, никому. Только сказочнику.

— Почему? — спросил Иуда.

— Сказочнику можно,— сказала Тамара.— С ним Бог играет.

— А я и пишу сказки,— помолчав, сказал Иуда.— Ты разве не знала?

— Ты и сам не знал,— сказала Тамара.

— Теперь знаю,— сказал Иуда.— Ты ангел? И этот чай с вишнями.

— Белый ангел,— со значением сказала Тамара.

— А дальше? — спросил Иуда.

— А дальше — Черный,— сказала Тамара.— Черный ангел. Ты же вернулся домой.

А дома как будто ничего и не происходило. Одесса вспоминала о знатном земляке лишь по поводу: выход книги, статья в «Правде» или день рождения, и пока знаменитый Иуда Гросман распивал коктейли в Париже, далеко, как Луна, поводы не случались. Жизнь плелась, выцветая. Литературное кафе «Верлибр» закрылось на ремонт, да так больше и не открылось, в бильярдной «Порто-Рико» произошла жестокая перестрелка между бандитами, в результате чего владелец заведения был убит наповал шальной пулей. Давние приятели Иуды перебрались в Москву, их можно было встретить теперь в редакциях журналов и газет или в писательском ресторанчике на Цветном бульваре.

Да и Москва отличалась короткой памятью: об Иуде Гросмане не забывали лишь в отделе закордонной разведки ОГПУ, на Лубянке, да и то по долгу службы. Отчеты парижского резидента о неровном поведении писателя приходили регулярно и подшивались куда следует. Если кто и ждал Иуду на

просторах родины, так это киевская домработница Клава; но и она почти потеряла надежду.

Дело заключалось в том, что не было у Иуды Гросмана никакого дома. В парижском гостиничном номере, ночью, положив руку на сердце, нельзя было всерьез считать домом Советский Союз со всеми его березами, степями, глинобитными азиатскими кишлаками и чукотскими чумами. Жилплощади не было у Иуды, и это наводило глухую тоску. Квартиру на Остоженке, на третьем этаже, пришлось оставить при разводе, пришлось оттуда съехать, увозя коробки с книгами и фотографиями. Об этом не хотелось вспоминать, следовало давным-давно вымарать те дни из перегруженной памяти. Комнатенка в коммуналке, которую удалось потом выцарапать через Моссовет, могла считаться домом только с большой натяжкой. И никто там не ждал, за пыльными окнами, сидя на раскладушке.

Бездарному Демьяну дали бы, окажись он в таком положении, хоть Василия Блаженного под жилье, провели бы электрический звонок и дали. Да что Демьян, к нему Сам в гости ходит! Бездарному Безыменскому с его зубами навывкате выделили бы без звука отдельную двухкомнатную, а то и трехкомнатную квартиру в самом центре, внутри Кольца. А ему, знаменитому Гросману, кинули, как селедочную голову, грязный угол в коммуналке.

Но и в Париже, если смотреть на вещи пристально, никто ничего не даст, кроме своих. В посольстве командировочные выдают без звука, гостиницу оплачивают. Можно, конечно, послать их всех к черту, неделю-другую пожить посреди пруда в Фонтенбло, валяться там на газетах по соседству с бродягой. Ну а потом? Свобода — ведь тоже не только состояние души. Бунин поможет беглому собрату Иуде Гросману? Как же, обязательно! Поможет, даст, потом догонит и еще добавит. Или Махно с этой его ненормальной? Или поехать с Жаботинским в Палестину и биться там с англичанами? Арабский конь, глубокое седло, в седле князь Давид Реувейни с казацкой нагайкой... Но Жаботинский, нетерпеливо слушая Иуду Гросмана, только и делал, что фыркал и поглядывал иронически. Два Давида Реувейни на одном коне — это действительно перебор.

А дома что начнется, на родных болотах! Жабий вой, комариный писк. Тот же холощенный Безыменский со своей кочки расквакается: предатель трудового народа, отщепенец! Иудушка Гросман! Четвертовать!.. И выкинут рукописи из коммуналки. Сожгут. И саму память о нем засыплют известью, это они умеют. Останется пробел в литературе, потом и он зарастет, затянется рыской.

Впрочем, после возвращения могут дать наконец-то и приличную квартиру. И? Тяжелый, как дредноут, обеденный стол под плюшевой скатертью с оборкой и кистями, раз в неделю полотер с надетой на ногу щеткой, отвратительная жена с морщинистой грудью. Дети бегают под столом, шумят и плачут. Вечером является без звонка, на правах родственницы брудастая теща и, жуя цимес, щелкает желтыми вставными зубами. Жуть! Здоровая семья начинается с квартиры: свято место пусто не бывает. С улицы привычно несет гнилью, за окном скрежест и дребезжит трамвай «Букашка». На стене висит мутное дедово зеркало цвета стоялой мочи.

Так сложилось: читатели Иудиных книг живут там, на болоте.

Жаботинский фыркал. Откинувшись на спинку кресла и опершись сильными руками о подлокотники, он разглядывал Иуду Гросмана, словно незнакомый экспонат сквозь лабораторное стекло.

— Ваша литературная жизнь — это неинтересно, — обрывая Иуду, сказал Жаботинский. — Согласитесь, есть в мире вещи поважней... Как там наши евреи? Вы ведь пишете о них, стало быть, кое-что знаете.

— Евреи, Владимир Евгеньевич, не испытывают у нас никаких неприятностей. — Иуда наморщил лоб и запнулся. — Привычных, так сказать, неприятностей.

— Не говорите глупостей! — фыркнул Жаботинский. — А ассимиляция? А еврейские большевики — они что, новые мараны? Силком их загоняют в партию? Или идите, или в костер? Сталинцы — ведь не католики, никакой Торквемада против ЧК не устоит.

Они сидели в гостиной маленькой квартирке Рувима Овсищера, на одной из улочек, выходивших на бульвар Распай. Бывший одессит Овсищер, когда-то со-

стоятельный торговец мануфактурой, бежал из России в 21-м году, попал в Турцию, оттуда перебрался во Францию и осел, наконец, в Париже. Человек с уравновешенным характером, он давал деньги — помалу, понемногу — и белым, и красным, и эсерам, и бундовцам, и анархистам, и бандитам. В Париже принудительный выбор был куда уже, да и материальные возможности дающего стали уже не те. Однако надо же было кому-нибудь давать и здесь. Поразмыслив, Рувим Овсищер остановился на еврейском национальном движении: свои всё же люди, не чужие, и идея Национального дома грела его сердце. Тем не менее в Палестину он не собирался ни под каким видом, ссылаясь на слабое здоровье и совершенное неприятие тропической жары. В ответ на уговоры — нет, мол, в Палестине никакая тропической жары, наши предки там жили среди масляных деревьев и прекрасно себя чувствовали — Рувим лишь недоверчиво улыбался и махал рукой... Впустив в квартирку Жаботинского и Гросмана, хозяин гостеприимно поздоровался, потом деликатно попрощался и отправился на бульвар Распай пить кофе с пышкой.

— Что мы будем ходить вокруг да около? — помолчав, сказал Иуда Гросман.— Вы же умный человек, Владимир Евгеньевич, золотая голова.— Он мельком взглянул на Жаботинского и с удовольствием отметил, что комплимент не произвел из того ни малейшего впечатления.— Да, местечковые евреи пошли в ЧК, потому что они ненавидели старую власть. А куда им было еще идти? Петь в оперу?

— Что это вы всё время острите? — брезгливо сказал Жаботинский и еще более откинулся в кресле, отодвинулся от Иуды Гросмана.— Чекисты за нами не пойдут, поэтому они для меня не существуют. А вот кто пойдет? Вы знаете?

— Никто не пойдет,— осторожно, словно в ожидании нападения, сказал Иуда Гросман.— Ну, может, одиночки.

— А вы пойдете? — внезапно наклонившись к Иуде, с любопытством спросил Жаботинский.

— Знаете,— улыбнулся Иуда,— мы ведь с вами соседи, жили в двух кварталах друг от друга. Так вот там, в Одессе, мне часто снился один и тот же сон: я, князь Давид Реувейни, собираю евреев по всей Европе, чтоб отвоевать Палестину.

— Давид Реувейни — лжемессия,— серьезно сказал Жаботинский.— Не первый и не последний. Почему бы вам не выбрать себе другое имя, более подходящее для еврейской страны — ну, скажем, Бар-Гиора или Бар-Кохба? Или поменять фамилию на Маккавей? Иуда Маккавей? Это, как вам известно, не лжегерои.

— Я тогда был мальчишкой,— продолжал Иуда,— и вот мне снился и снился этот сон: я князь, я на коне, я еду по улице к Большой синагоге, и девчонки глядят мне вслед.

— На коня сел Лютов, а не Реувейни,— сказал Жаботинский и снова фыркнул: фрк! — Вам недостаточно быть самим собой? Значит, знаменитые писатели тоже болеют этой типично галутной болезнью...

— А я и есть галутный еврей,— пожал плечами Иуда Гросман.— Русский еврей. А вы — нет?

— Вы видели собственными глазами,— не ответил Жаботинский,— как этот ваш казак зарезал старого еврея? Взял его за бороду, отвернул голову и зарезал так, чтобы не забрызгаться. Видели?

— Ну допустим,— сказал Иуда Гросман.— А что?

— Великолепно написано, это я вам говорю как коллега,— сказал Жаботинский.— Но почему вы не бросились на помощь старику? Не погибли? Не застрелили казака? Почему, Гросман?

— Станный вопрос! — раздраженно пожал плечами Иуда Гросман.

— Впрочем, вы сами уже ответили на него, процитировав меня по памяти, но почти дословно. Еще вопросы?

— Не так много,— вынимая из кармана пухлую записную книжку, сказал Жаботинский.— И скорее выводы, чем вопросы,— вы ведь все равно не отвечаете...

Иуда снял очки, потер пальцами переносицу. Да что тут, собственно, отвечать? Жаботинский делит всех евреев надвое — на тех, кто хочет ехать в Пале-

стину, и на тех, кто предпочитает оставаться в своих родных палестинах. Всё остальное его не интересует: литература, душевная слабость, субботние коржики с маком. Он просто одержимый, и в этом его притягательность. Но он ошибается: национальный характер, а не государственный гимн удержит еврейство от вымирания, и романтика неизбежно оборачивается кровью, если не расстрельным тупиком... Почему не бросился спасать старика? Да потому хотя бы, что картинка жалкой смерти этого старика дороже целого учебника истории гражданской войны. Написанная им, Иудой Гросманом, картинка с натуры. Почти с натуры.

Жаботинский аккуратно, страничка за страничкой перелистывал свою записную книжку, что-то искал. Найдя, достал из кармана вечное перо и тщательно вычеркнул какую-то запись.

— Что это вы делаете? — с любопытством спросил Иуда.

Жестко улыбнувшись, Жаботинский протянул ему книжку. Вычеркнуты были его, Иуды, имя, фамилия и номер гостиничного телефона.

Часть третья. ИСПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

«Я рос лживым мальчиком, гражданин следовательно. Не я один таким рос, просто об этом принято умалчивать. Говорить правду — это навык, как, например, умение лазать по отвесным скалам. Человеческому существу свойственно фантазировать, на это настроена его бессмертная душа, а правда скучна, как уравнение. Эта правда одна на всех, она похожа на приказ по армии, напечатанный под диктовку генерала. Строевая правда ни к чему ребенку, он видит мир по-своему; иногда это сохраняется надолго, на всю жизнь. А разве любовь — это правда? Совсем наоборот. Только животные, быть может, правдивы от природы: олени, змеи.

Я лгал, уверяя всех, что я образцово-показательный советский человек — не вредитель, не диверсант и не шпион. Не обязательно же, в самом-то деле, разгуливать в плаще и с кинжалом, чтобы быть подрывником и шпионом, закладывая взрывчатку под Каменный мост, по которому едет на работу товарищ Сталин. Правда, только правда, ничего, кроме правды: я прикрепил мину ко второму быку моста. Нет, к третьему. Нет, к первому. Где же мина, куда она делась? А ее унесло течением реки, и секретный взрывчатый материал, переданный мне французской разведкой, растворился в речной воде, как сахар в чае. Я действовал с величайшим умением и предусмотрительностью, но природные обстоятельства, такие, как скорость советской водной артерии и ее напор, не были учтены разработчиками диверсии, попивающими лиловым утром свой кофе на берегах парижской Сены. Кофе с круасанами, из тяжелых устойчивых чашек.

Я лгал не только в этом. Вместо того чтобы писать с натуры советскую строительную жизнь, я сочинил нехарактерного одесского бандита еврейской национальности, куриную торговку и немногословного молодого человека в малиновых штиблетах. Я ткал сказку. В этом моя вина, я признаю ее. И о конном походе я сочинил сказку: ведь буденновцы, как я сейчас с удовольствием припоминаю, каждый день мыли портянки и пели революционную «Марсельезу» на французском языке, а вовсе не хулиганили и не насильничали наподобие несдержанных махновцев, нарочь лишенных пролетарского самосознания. Итак, я писал сказки. Сказка — ложь, хоть в ней нарек: добру молодцу урок. Мне не следовало давать урок добру молодцу, в этом тоже моя ошибка и вина. В хедере на Болоте мне следовало давать уроки, вот где.

Меня вербовали трижды. Нет, дважды. Нет, трижды. Однажды — в масоны. Человек по имени Зебб, в босяцком обличье, предложил мне возглавить ложу «Алеет Восток». Этот человек, отрепья которого пахли земляничным мылом, подсел к моему столику в ресторане московского ипподрома. «Кто этот красивый еврей с печальными глазами и царской плешью?» — спросил подсевший. «Ну, угадайте! — сказал я. — Но у меня складывается впечатление, что вы говорите обо мне». С точки зрения конспирации это было отлично: люди, множество возбужденных людей, хлопанье откупориваемых пробок, и этот запах земляничного мыла... Сначала Зебб, как видно, испытывая меня, предложил

мне выставить пару пива. Затем речь зашла о преимуществах малороссийского борща перед курскими щами. Следующим этапом вербовки стал доверительный разговор о приготовлении жаркого из кролика. И уже после обеда, откланиваясь, земляничный Зебб предложил мне “Алеет Восток” и попросил взаимы двадцать пять рублей до понедельника. Осоловев от пива и борща, я принял предложение и частично удовлетворил просьбу вербовщика. И мы расстались, вполне довольные друг другом.

Я хочу пива. Кружку холодного пива в белом берете, свешивающемся на ухо. Я хочу пива с чесночными сухариками, пропитанными маслом. Я понимаю, что это невозможно.

Многое невозможно в жизни, и теперь я понимаю это очень хорошо. Невозможно распахнуть дверь моей камеры, выйти из тюрьмы на улицу, от которой меня отделяют три десятка метров — и бездна, где клубится ничем не ограниченное время и никак не очерченное пространство. Это я узнал здесь, в тюрьме. За науку надо платить, и вот я плачу. Я заплачу сполна, и в ожидании часа расплаты меня радуют лишь две вещи: то, что камера одиночная, и то, что у меня есть бумага и карандаш. И, пожалуй, еще одно: я никого не должен за это благодарить ни кивком головы, ни низким поклоном — никого, кроме Черного ангела.

Да, вербовки... Между ними — первой и второй — дымится время. Дымок змеится, пахнет можжевельником. Нарезать время на недели и часы столь же бессмысленно, как держаться правды. Самое существенное свойство времени — это его аморфность. Время расплзается по сторонам, плывет, беззвучно обрушивается в провалы, вздымается на кручи — и необратимо движется вперед. Вперед. “Время” и “назад” — понятия несопоставимые: время своего не отдает. Мне бы так хотелось снова проехать на коне по улице, ведущей к Большой одесской синагоге, и чтоб девушки, приставляя ко лбу полочки ладошек, глядели мне вслед... Я понимаю: это тоже невозможно.

Яков Блюмкин был вторым моим вербовщиком, вербовщиком моей души. Можно удивляться, можно, разинув рот, хлопать себя по ляжкам: да, это тот самый Блюмкин, не однофамилец его и не тезка, а бомбист Блюмкин, растерзавший графа и расстрелянный здесь, этажом ниже моей одиночки, за свое любопытство беса. Наверно, я немного завидовал ему — этому молодому безумцу с насмешливо-мрачными глазами. Но и он мне завидовал, я знаю — моим литературным успехам, моей славе. Люди крови и власти всегда завидуют людям Слова: без применения власти, без кровопролития писатель, переживя свой век, остается в памяти людей. Автор — во все времена современник своего читателя, живое дышащее существо, а властитель, еще не успев остынуть, превращается в предмет антиквариата, с которого надобно счищать пыль метелочкой из птичьих перьев.

Кто ж меня мог завербовать, как не поэт Яка Блюмкин?

Вначале о самой вербовке. Говорят, что вербовка — это искусство, “искусство вербовки”. Ничего подобного. Вербовка — это найм на работу на определенных условиях. Шахтера нанимают на работу, имея в виду, что в шахте может взорваться газ и углекислота разорвет в клочья. Рискует здоровьем нанимаемый на службу цирковой дрессировщик. Шпион, поступивший в распоряжение Центра, может оказаться в тюрьме. За свою работу каждый из нанятых получает денежное вознаграждение, приправленное топорными рассуждениями о “преданности делу”, “любви к профессии” или “приверженности идеологии”.

Мне не нужны были деньги, я, любопытный наблюдатель, не верил в победу мировой революции, да и не желал ее; однообразный послереволюционный мир стал бы ужасен под рукой фанатика — будь то Троцкий, Джугашвили или Роза Люксембург. И тем не менее я с готовностью дал себя завербовать. Я, Иуда Гросман, был уже солдатом, был сказочником: был Лютовым, был лошадиником, был бабником, был бродягой, переехавшим озеро. Я желал стать шпионом, замечательным шпионом, я хотел ходить над бездной по лезвию бритвы. Я оступился, и вот я в тюрьме.

Тюрьма — это дорога с односторонним движением: улица, бульвар или коридор. И я тащусь себе, никого не обгоняя и не отставая ни от кого, я, инвалид с

перебитой ногой, выбитыми зубами и вырванными ногтями, с отбитыми почками. Но моя правая рука в состоянии двигать карандаш по бумаге, и это благо. Правая моя рука не отсохла, а это значит, что я не забыл имени белого города в Иудейских горах, до которого я так и не добрался ни на коне, ни пешком, обмазав свою плечивую царскую голову грязью с птичьим пометом пополам. Мог — и не добрался. А к тем, кто меня искалечил, я не испытываю ни ненависти, ни страха. Эти чувства уже не для меня, они существуют по ту сторону тюремной кладки. Да и возможно ли, кончаясь во мху лесной поляны, ненавидеть дерево, упавшее на тебя и перешибившее тебе хребет? Черному ангелу все равно, подползу ли я к нему на брюхе или подбегу на нетерпеливых ногах.

Но не того ради выдали мне стопку желтоватых листочков с коричневыми щепочками, чтоб я писал о породившем их дереве на краю лесной поляны. Я напишу, что мне велено; неважно, о чем писать, важно — как. И всё же я с удовлетворением подчеркиваю: Давид Реувейни мне снился, не Илья Муромец.

О князе Реувейни я думал, когда Блюмкин вербовал меня в шпионы в подпольном игорном доме, в Киеве. Я думал о том, что Блюмкин может стать Давидом Реувейни. Я не смог, я стал Лютовым, а он сможет. “Что такое удача? — спросил меня в тот вечер Блюмкин. — Удача — это каре валетов, они все одинаковые: Эдик, Толик, Жорик... А счастье — это покер: четверка тузов плюс джокер. Так вот, у тебя есть валеты, хотя бы потому, что ты еще жив, а я дам тебе испытать счастье”. — “А ты сам испытывал когда-нибудь счастье?” — спросил я. “Да, — сказал Блюмкин. — В Тибете. Я искал Шамбалу и не нашел ее. И когда я убедился в том, что она не существует, я испытал освобождение от долга”. — “И это было счастье?” — спросил я. “Да, счастье, — сказал Блюмкин. — Легкое и прозрачное, как воздух Лхасы”. А я думал о воздухе Галилеи. “Тибет далеко, — сказал я. — Почему тебя, сына еврейского бедняка, не тянет в Иерусалим?” — “Здесь я делаю историю для всех, и для евреев тоже, — сказал Блюмкин. — Но еще немного — и я доберусь до Иерусалима, вот увидишь!” — “Тогда я с тобой”, — сказал я Блюмкину.

Вот такой у нас был разговор в тот вечер. Я говорил и не верил в то, что говорю, потому что Лютов к месту в России, а не в Палестине. Кирилл Лютов перевешивал во мне Иуду Гросмана.

Впрочем, может, и не было у нас никакого разговора, и мы молчком метали карты. И если я вам скажу, что дышал галилейским воздухом, вы мне не поверите: где паспорт, где визы? Или я ночью переполз по-шпионски южную границу и проехал всю Турцию на верблюде? Но я не умею ездить на верблюде — вот ведь в чем загвоздка...

А потом явился человек по имени Игошуа бин-Нун, по прозвищу Навин. Мы сошлись с ним в московском подвале, в бильярдной, за большим клубным столом. Играли пирамиду, я выигрывал. Навин, сведя рыжеватые брови, сосредоточенно грыз миндаль и следил за перемещением белых шаров по зеленому полю. Дай ему подозрительную трубу — и он стал бы точь-в-точь похож на полковника, наблюдающего за ходом битвы от своего шатра. Шатер, прыгающий на ветру флаг, рев труб из долины, внизу.

— Не увлекайтесь, — сказал Навин, — не увлекайтесь, потому что выигрыш и победа пьянят и искажают перспективу. Лысый курган кажется лесистой горой, а играющая старуха представляется стеснительной барышней. Вам этого нельзя, лютей бильярдист.

— А почему? — я спросил.

— Я вас пошлю, — сказал Навин.

— Куда? — я спросил.

— Вы будете высматривающим, — сказал Навин. — Вам нужно сохранять ясность зрения, присущую снайперам и фальшивомонетчикам.

— Что же я буду высматривать? — спросил я с улыбкой, но уже и с некоторым беспокойством.

— Вы будете высматривать жизнь, плюшевый еврейчик! — сказал Навин, требовательно на меня глядя.

— Но я почти слепой, — попробовал я сопротивляться. — Кроме того, у меня ишиас и астма.

— Ну и что! — воскликнул Навин почти радостно. — Я же не зову вас идти в цирковые атлеты, пальмовый вы человек.

— Я дело свою привязанность поровну между березой и пальмой, — сухо поправил я. — Чтоб вы знали...

— Ну да, — скептически кивнул Навин и покривил губы, и мышцы вокруг его рта вздулись, как бублик. — Из пальмы веник не свяжешь, конечно... И всё же еврею пальма ближе, чем береза, а маслина дороже, чем клюква. Это в крови.

— Я люблю вишню, — сказал я. — Хотя я и еврей.

— Ну, какой вы там еврей! — Навин махнул рукой, и взмах этот был тяжел. — С нашим племенем вас связывает обрезанье, да. Но и в ходе этой операции вы представляли пассивную сторону.

— Не совсем так, — возразил я. — А кто бился и кричал?

— Вам дали пососать ватку, смоченную сладким вином, и вы успокоились, — мечтательно улыбнулся Навин. — Так надо.

— Так куда же вы меня собираетесь послать? — снова спросил я.

— В люди, — сказал Навин.

— Один раз меня уже посылали в люди, — сказал я. — Меня послал человек, совсем не похожий на вас.

— Э! — сказал на это Иегошуа Навин. — Какое это имеет значение... Вы, иерихонский, пойдете в люди и узнаете, созрели ли евреи для того, чтобы подняться и уйти за реку Самбатсион, и дозрел ли фараон, чтобы отпустить евреев и не гнаться за ними по своим лесам и степям, через пни и колдобины. Вы знаете, как зреют финики в кроне пальмы в том же, скажем, Иерихоне?

— Дался вам этот Иерихон... — пробормотал я.

— Я же говорю, что обрезанье — это недостаточно, — строго указал Навин. — Историю надо знать, полотняный вы человек... Да не насытитесь днями ваша душа!

Эта встреча, первая из многих, изменила мою жизнь. Мы, евреи, — люди сказки, люди легенды, мы оглядываемся через плечо и утираем рукавом лица: волны Чермного моря когда еще расступились перед возвращавшимися домой из Египта, а брызги до сих пор летят в нас. И свист камня, выпущенного из Давидовой пращи и угодившего в лоб Голиафа, мы слышим отчетливо. А пыль на нашей одежде — от рухнувших иерихонских стен... Бин-Нун пришел оттуда, Навин увел меня за собой.

Мы, евреи, — люди крайностей: в познании и в тупости, в одаренности и бездарности, в любви и ненависти, в скупости и мотовстве, в чистоте и пороке, во взлете и падении; так и должно быть в сказке. Революция без границ пришлась нам по вкусу: “Кто был никем — тот станет всем”. Можно, дозволено! Поощряется! Если уж из грязи — то в князи. И это уже не говоря о том, что царь-батюшка держал нас под замком в резервации под названием “черта оседлости”. Одесские евреи, эти ветреные дети племени, были счастливым исключением из правил, но и они по мере сил потянулись не в люди, а во власть.

Нам вдруг до всего стало дело. Наша кровь, пролитая в погромах, подсохла. Вчерашние хозяева жизни смыли ее половыми тряпками с наших порогов. Новая, сладкая кровь нам открылась — кровь тех, кто хотел вернуть нас под замок, в местечки, к нашей субботней хале, посыпанной несчастьем. Эти люди были нашими личными врагами, врагами не на жизнь, а на смерть, и на этот раз мы предпочли убивать, а не быть убитыми. И в этой работе мы видели поддержание всеобщей справедливости, на которой всходит, как тесто на дрожжах, новый день Нового времени.

Но глаза устают от долгого высматривания, глаза гноятся, и затуманивается солнечный взгляд. Сколько мы ни смотрели, Новый день всё не наступал, а нашего терпения хватало лишь на то, чтобы из года в год, из века в век ждать, когда же Третий храм, белый и золотой, поднимется над Иерусалимом и соберет нас у своих стен. Каждый еврей хотя бы раз в жизни проходит по улицам Иерусалима и упирается лбом в теплые камни Стены плача, и не имеет никакого значения, лачуги ли местечка Жабокрики окружают еврея, небоскребы Нью-Йорка или стены камеры лубянской тюрьмы. Струнами арфы связана душа еврея с

Западной стеной разбитого иерусалимского Храма, и пальцы ветра касаются тех струн — ветра, рано или поздно возвращающегося на круги своя.

Никому не жилось так вольготно на Руси, как евреям после революции, — ни русским, ни мордве с чудью. Не было среди евреев ни дворян, ни попов в роду, при старом режиме шлепали они ото дня ко дню в рваных башмаках по местечковым лужам. Они хотели и ждали перемен для себя и, не видя к тому никаких возможностей, говорили и фантазировали о всемирном сказочном счастье. Но и в сказках льется кровь, и счастье приходит с болью и ранами.

Не было у новой власти лучшей подпорки, чем евреи, да еще латыши с китайцами. Но и самую лучшую подпорку, как только пройдет в ней нужда, хитрая власть отбросит, порубит ее на щепу и разожжет костерок, чтоб погреть над ним руки. И розовые угли, как положено, залет струей мочи. Евреи были своими до тех пор, пока можно было не только убивать, но и мечтать. Потом и мечты перелили в пули, и пришла очередь евреям стать к расстрельной стене. Я знал это доподлинно, поэтому слова Навина упали не в сухой песок.

Мне хорошо пишется в камере, моя душа смиряется и отдыхает. Я пишу, о чем хочу, пишу о таких вещах, о которых на свободе и думать было опасно. Я молчал много лет. Оказалось, что единственное место, где я свободен думать и писать, — это тюрьма. И вот, наконец, я снова пишу сказку — о рябом фараоне, которого я задумал взорвать вместе с Каменным мостом через Москва-реку, и об Иегошуа бин-Нуне, грызущем миндаль.

Поручение Навина легло в мою душу, как ложится в ладонь нагретая солнцем, обточенная морем гладкая галька. Поднимутся ли евреи, отпустит ли фараон... Мы, русские евреи, так устроены: вникая в обстоятельства другого народа, никогда не забываем о своем собственном. “А как это будет для евреев?” — вопрос, который мы подсознательно задаем самим себе при всяком случае и по каждому поводу: война ли вот-вот начнется или снизили цены на макароны. Как это будет не для меня самого, не для моей кривобокой племянницы, а для всех евреев от полюса до полюса. Это наша родовая тайна, наш племенной секрет, известный мне так же хорошо, как и Иегошуа.

Евреи легки на подъем, евреи рождаются с чемоданом в сердце. Но Америка — это одно, а согласятся ли они ехать в Палестину, разгонять там малярийных комаров над болотами? Сладко звучат в их ушах слова об обязательном счастье, которое уже в дороге, уже под Орлом, и пролитая по подвалам кровь пахнет розовым маслом. Согласятся ли по доброй воле поверившие в то, что дважды два — пять, встать и идти неведомо куда, то ли в Азию, то ли в Африку, на край земли, где невесть когда дикие предки гоняли по холмам своих баранов и козлов? Трудно найти такого еврея, который не захотел бы лечь в назначенный час в иерусалимскую землю, среди своих, на вечное хранение, но куда как не каждый готов жить среди своих, только среди своих, как мелочь в кошельке. Да и козлов там давно уже никто не гоняет, и перевелись цари с пророками... Но поговорить-повздыхать об этом всегда хорошо и светло.

Старьевщик Гедали жил-проживал в старинном городе Козельске, на зеленой окраине, припорошенной степной пылью. Была у Гедали шаткая телега, был меринок, в котором нелегко было признать потомка шустрых половецких иноходцев. Была жена Рива — пивная торговка, по-русски именовавшаяся по-проще: баба Рая. Всё было у Гедали, ну, всё.

По утрам Гедали запрягал своего меринка и, выехав, заводил несвойственным ему в обиходе пронзительным и гнусавым голосом: “Старьем-берьем, ножи-ножницы правим!” — хотя никакие ножницы и ножи он не правил, не имея к этим предметам профессионального отношения. Что же до старья, то козельцы не спешили с ним расставаться: времена на дворе стояли трудные, до коммунизма с его бесплатным трикотажем было не близко. Гедали если что и перепало, то лишь по счастливому случаю: пьяный шапку отдаст, босяк забросит в телегу краденые опорки. Но Господь строг, да милостив: дела пивной торговки бабы Рай шли рысью, и Гедали, захоти он того, мог бы и вовсе сидеть дома и с утра до ночи пить чай с сушкой у окна.

Были и дети у Гедали и Ривы, да. Был сын-первенец, было двое дочерей. Все они давным-давно разъехались по чужим краям, не признав город Козельск

ни родиной, ни просто красивым милым местом. Сын выбился в начальники на Урале, одна дочь жила где-то на электростанции, а другая, по-русски Верочка, вышла замуж за поляка и уехала в Польшу. Письма от детей приходили редко, особенно из Польши: “Мы живы и здоровы, чего и вам, бесценные родители, желаем, в вашем Козельске”. Но и сам Гедали тоже не глядел на Козельск со слезами нежного умиления на старых глазах. Угодил он сюда случайно, уже после победы пролетариата, угодил по той причине, что жила здесь дальняя родственница пивной торговли — двоюродная, что ли, тетя, совсем уже ветхая старушка. А как она сюда, в исторический город Козельск, попала, придурковатая тетя вспомнила не могла и на вопросы любознательного к семейной истории Гедали отвечала невпопад, а то и понуро молчала, таилась.

Гедали, таким образом, не с кем было и словом перемолвиться. С пивной Ривой всё было уже давным-давно переговорено, и не один раз; а доброжелательный мерин хоть и слушал внимательно, наставив ухо, но на жалобы хозяина о том, что в Козельске, в отличие от Житомира, нет синагоги, никак не реагировал.

Как меня занесло в этот городишко, не имеет никакого значения. Следователь допрашивал меня, я чистосердечно признался, что приехал туда на пассажирском поезде, а после того, как мне вывернули три пальца на левой руке и разбили коленный сустав, дал признательные показания на Гедали и бабу Раю. Еще немного — и несдобровать бы мерину, я б и его вывел на чистую воду.

Навин дал мне задание, я на месте, я выхожу из железнодорожного вагона. Журчит речка Жиздра, из нее пили когда-то кони хана Батыея, но любимому этому внуку Чингисхана и в дурном сне не снилось, что антисоветская баба Рива жидринской водою будет разбавлять пиво в своей палатке.

Еврей так же хорошо виден в городе Козельске, как амазонский попугай на Северном полюсе. И вот мы с Гедали уже сидим в его развалюхе, устоявшей против татар, мы пьем чай с мухами, мы говорим на идиш. И этого хан Бату тоже не мог предвидеть, при всем уважении к его полководческому дару.

— Возможно, мы где-то встретались, — сказал я, бренча ложечкой о стенки кружки.

— Что вы бренчите ложечкой? — уклончиво сказал Гедали и направил палец вверх, как серебряный карандаш. — Вы что, думаете, что от этого бренчания чай делается сладким? Тогда бренчите, бренчите!

— Возможно, мы встречались в Житомире, рэб Гедали, — продолжал я. — Игрушечный дворец, цилиндр на гвоздике. Сушеная акула.

— Сушеная акула — любимый провиант японских трудящихся, которые так хотят устроить у себя интернациональ, — вздохнул Гедали. — Меня зовут Геннадий, на всякий случай. Геннадий Андреевич.

— Что хочет услышать еврей от другого еврея, которого почему-то зовут Геннадий? — спросил я.

— Ну, что? — повторил мой вопрос Гедали.

— Вот! — сказал я. — Тут мы пришли на опушку, впереди лес, в лесу болото. Мы обойдем это болото, рэб Геннадий Андреевич.

— Ну, вперед! — сказал Гедали. — Спрашивайте уже, наконец.

— Вот вы сидите здесь при вашем старье, при вашей бабе Рае и при ваших болячках, — сказал я и наклонился вперед и вниз, чтобы увидеть глаза на опущенном лице Гедали. — Кругом сплошные гои. Вы хотите поехать в Палестину и есть там селедочную голову из одной миски с другими евреями?

— Почему вы имеете интерес к этому вопросу? — помолчав, спросил Гедали. — Вы что, чекист?

— И да, и нет, — сказал я. — Иисус Навин послал меня, Иуду Гросмана, спросить вас об этом. Так вы едете?

— А вы едете? — спросил Гедали.

— Значит, нет... — сказала я. — Царь вас бил, белые вас били, красные вас били. Вы бежали, вы падали, ваша душа вся в синяках. Веселье вышло из вас, как пар изо рта. Почему «нет»?

— Я не знаю, — сказал Гедали, и вдруг всхлипнул, и прижал двумя пальцами уголки глаз. — А вы знаете, почему мы не едем, вы, умник? Большой пар-

ход, потом железная дорога, потом баранчики поют в апельсиновом саду, а мы не едем.

Мы не едем, думал я, глядя в жидкий чай, налитый в пивную кружку. Не едем, потому что нам страшно, мы боимся потерять: а вдруг здесь будет когда-нибудь лучше, чем там? Мы привыкли, что мы другие среди одинаковых, мы не к месту, и эту неуместность мы тащим над головами, как флаг на палке. Нам нравится быть другими, мы по-своему гордимся тем, что нас не любят или, наоборот, любят неизвестно за что. В Палестине, где поют баранчики и девушки с овечьими глазами кушают по субботам рахат-лукум, не получится быть другими: мы будем там как все.

— Вы добрый человек, рэб Гедали,— сказала я,— и, хотя в Козельске нет синагоги, вы сами себе синагога. Почему бы вашей рабе Рае не открыть пивную палатку под апельсиновым деревом и не разбавлять пиво водой из реки Иордан? Подумайте о детях в конце концов!

— Добрые люди идут у нас поштучно,— сказал Гедали,— а злые вразвес. Это раз. И, кроме того, надежда хуже ржавчины, надежда душу точит. Пока еврей надеется, что в Козельске вырастет фи́га на березе, он никуда не поедет. Вопрос: кто ему дал такую надежду?

— Кто? — спросил я, потому что Гедали оставил специальное место для такого вопроса.

— Революция! — сказал Гедали.— Вот кто.

— И вы надеетесь? — спросил я.

— И вы надеетесь,— сказал Гедали.— Иначе вы бы уже махали тляпкой в долине Ездrelонской... Фиги на березе, бананы на сосне.

— А что же дети? — спросил я.

— Нет,— сказал Гедали.— Дети — нет, и даже не хлопочите. Они хуже, чем надеются: они верят. Они смотрели на нас, вместо того чтобы отворачиваться, и теперь на их глаза нашла порча.

Гедали замолчал, опершись о стол острыми локотками. Лицо его налилось серебряной стариковской кровью и посветлело, взгляд расплылся. Он что-то бормотал, как во сне. Потом он встряхнулся и продолжал:

— Ваш пароход сел на мель, рэб красный командир,— продолжал Гедали.— Стоп, машина! Мы цепляемся друг за друга, и боимся утонуть, и боимся жить дальше. Счастье ушло с этого корабля вместе с крысами. Что осталось, я вас спрашиваю?

— Надежда,— пробормотал я.— Вы же сами говорите...

— Надежда — игра! — сказал Гедали и наставил палец в потолок, оклеенный старыми газетами.— Мы играем в надежду, когда у нас есть свободная минутка и нам больше ничего не остается делать. Мы играем до самой смерти и надемся, что и там, в темноте, мы нащупаем коробочку спичек.

— А Палестина? — спросил я.— Тоже игра?

— И еще какая! — Гедали улыбнулся и взмахнул руками над столом.— Наши внуки встанут и пойдут в Палестину, потому что им надоест надеяться. Наши внуки будут счастливее нас!

— Переклейте газеты на потолке,— сказал я, подымаясь.— Смотрите, там портреты тех, кто уже нащупал спички в темноте. За эти портреты дают сегодня десять лет как одну копейку. Сделайте это — и прощайте, рэб Гедали!

В своей жизни, гражданин следовательно, я не раз переклеивал газеты. Это было во спасение, но вместе с тем вело к распаду: душа покрывалась пятнами плесени. Возможно, у меня, как у моего Гедали, будут внуки и они будут счастливее меня. Я желаю им, еще не рожденным на свет, чтобы предсказание Гедали сбылось.

А я сам отвел от себя любимую жизнь, как отводят от лица ветку в лесу, и вот теперь я знаменитый шпион и диверсант, в камере смертников я жду прихода исполнителей. Мне есть что вспомнить. Я вспоминаю Париж, тесную темноватую комнатку, за окном которой шумят деревья бульвара Распай. Против меня, откинувшись в кресле, кривит свои африканские губы Владимир Евгеньевич Жаботинский.

— А вы поедете? — внезапно наклонившись ко мне, с любопытством спросил Жаботинский.— Рано или поздно каждый еврей задает себе этот вопрос: ехать или не ехать? Никто больше в мире не задает, только мы... Ну так вы едете со мной в Палестину, Гросман?

Я остался, и вот я здесь. Тогда, в Париже, мне еще не надоело надеяться, сквозь ветви вольного леса я видел мертвое поле, утыканное красными флагами и фабричными трубами, и оно вызывало во мне упрямую радость... А Жаботинский потерял ко мне интерес и вычеркнул мое имя из своей записной книжки.

Я устал. Это не вызывает во мне ни сожаления, ни протеста. Я просто устал, тело мое болит — то, во что превратили мое тело. Я прилягу...

Не знаю, когда за мной придут. Так хочется надеяться, что там, по ту сторону, я нащупаю этот самый спичечный коробок».

За ним пришли после полуночи. Загремел засов, трое по-деловому вошли в камеру.

— Встать! — приказал тот, кто вошел первым.

Иуда Гросман взгляделся. В проеме ожидающе открытой двери стоял Черный ангел. В полутьме коридора белки его глаз поблескивали.

1998—1999



Владимир САЛИМОН

Фактура грубого холста

* * *

На память узелок.
Здесь с Пушкиным прохаживаться мог
под ручку Баратынский не однажды.

Не в силах превозмочь духовной жажды,
Киреевских они решились навестить.
Тонка связующая нить.

В нас ощущение утраты
вселяют памятные даты,
на мысли грустные подчас
событья прежних лет наводят нас.

Минувшие столетья
когда б дерзнул запечатлеть я,
навряд ли краски подобрать сумел.
Но, взявши уголь, не забыл про мел.

Знакомый больше с рисованьем,
изобразил одним касаньем
мир Божий я, как ночь и день,
как свет и тень.

* * *

И. М.

Я в век Золотой
попрошусь на постой.

Хочу я, моя дорогая,
увидеть, как солнце, вставая,
бесшумно скользит, приближаясь ко мне,
карабкаясь ввысь по отвесной стене.

На Божоявление похоже.
Но вдруг продирает морозец до дрожи,
бежит по спине холодок.
И вот уже весь до костей я продрог.

* * *

Так было всегда.
Под утро в каналах дымилась вода,
когда остывала.

Когда б он закутаться мог в одеяло,
как я,
слегка подтыкая его под себя,
наверное, спал как убитый.
Но легкой тряпицей укрытый,
нередко от холода трясся во сне.
Писец задремал, привалившись к стене.

«Здесь золота больше, чем пыли.
Мечи обнажив, мы мужчин истребили,
а женщин угнали в полон.
Но прежде — сровняли с землей Вавилон».

* * *

Свет мутноватый, каковым
наполнены просторы,
он проникает в нас сквозь поры,
как дым.

Как смрад.
Как по утрам кухонный чад
на лестничную клетку из-под двери.

В тумане раздувают ноздри звери
и, широко раскрыв глаза,
обозревают горы и леса,
моря и реки.

Путь из варягов в греки
не столь далек на первый взгляд,
но и не близок, говорят —
уступит в чем-нибудь едва ли
любой другой международной магистрали.

* * *

Жизнь кажется другой —
ее окинуть глазом
не удастся разом, —
на вопиющий долгострой
похожей.

Мы прирастаем салом, кожей.
По чайной ложке день за днем
не в глубь, но в ширь растем.

Вытягиваясь снизу вверх,
вдруг замечаю — свет померк,
легли ночные тени.
Меж небом и землей торчат мои колени.

* * *

Из контекста вырваться хочу,
уподобясь чистому ключу
звоном драгоценным.

Ходикам настенным.
Чем винить во всем подряд
электрический заряд,
пусть уж гирька на цепочке
сдвинет стрелки с мертвой точки.

* * *

Золото, бронза, железо.
С дерева слезли и вышли из леса,
чтобы потом возвратиться назад —
в зоологический сад.

Если еще не поставлена точка,
значит, продолжена будет цепочка:
бронза, железо, стекло и бетон.
Орангутанг, шимпанзе и гиббон.

* * *

Потоком общим увлеченный
завидел крест позолоченный,
снял шапку и, перекрестясь,
с телеги спрыгнул прямо в грязь.

Непроходимым бездорожьем
казалась площадь с храмом Божьим.
Как куст, который одичал,
он посреди ее торчал.

Сучки корявые, колючки.
Во дворик крохотный с полочки
церковный сторож вынес стул,
но лег на землю и уснул.

Блуждала жалкая улыбка
по некрасивому лицу.
Была допущена ошибка,
и дело близилось к концу.

* * *

В борьбе за урожай
выходят на передний край
герои,
готовые отмстить коварной Трое
иль выступить походом против Фив.

Но, сморщенный, как чернослив,
картофель выковыривать из глины
принуждены нередко исполины.

В грязи увязшие гиганты
растрачивают попусту таланты,
размениваются на пустыки
и редко в ход пускают кулаки.

* * *

Повсюду видимый разор.
Морозцем выжженный простор,
как пепелище, посередке
какой-нибудь слободки.

Любой — нет смысла уточнять.
Дождь кончился, но вот опять
в кулак собрались тучи,
и оземь грянул гром
тем тяжеленным кулаком.

Мы оказались столь везучи,
что мимо нас прошел удар,
вскользь зацепил алмазный шар
лишь сараюшку возле дома —
в нем тотчас вспыхнула солома.

Соседка вышла на крыльцо.
От ужаса заголосила.
Повозка у ворот притормозила.
Кокетливо одернув пальтецо,
поспешно слезла баба с возу
и —
предложила нам купить навозу.

* * *

Серо-буро-малиновый.
Мост — непременно калиновый.
Речка — смородиновая.
Ночка — рябиновая.

Это ли не родина моя
горячо любимая!

* * *

Гигантские зонтики — по сторонам.
Китайцам наскучило кланяться нам.
Поджав под себя свои желтые ноги,
они неподвижно сидят у дороги.

На веер, быть может, лопух не похож,
но как опахало — куда как хорош,
а осенью поздней и чертополоха
листок от дождя укрывает неплохо.

* * *

Нескромный аромат цветка.
Благоуханье табака
смертельно бледного на фоне ядовитом.
Лилевый гладиолус бьет копытом.
Рвет постромки пунцовый георгин.

Столь резкий запах издает ультрамарин,
что, глядя в небо, нос воротишь.
А, выйдя на берег, хохочешь —
поскольку пахнет иногда
зеленой киноварью мутная вода.

* * *

Рабочий человек
свой доживает век
на поселеньи.

Поселок здешний при рожденьи
для простоты — рабочим назван был.
Тут с давних пор — глубокий тыл.

Но настроенье боевое
поддерживает кое-как спиртное.
Оно
нам в утешение дано
в часы унынья и печали.

Чуть не пропили.
Чуть не промотали,
увлекшись питием, последнее добро.
Чуть свет, беря с помоями ведро,
на задний двор я лезу сквозь кустарник,
пру на пролом по пахоте — туда,
где покосившийся свинарник,
в глубоких лужах — черная вода.

* * *

Всюду — у Бога за пазухой
либо за азбукой,
за математикой,
филателией и нумизматикой.

Все-то неймется сердешному,
все-то мя грешному
не приспособиться:

междоусобица —
та же распутица,
та же блудница, та же распутница.

* * *

Снег тает на глазах.
У Лермонтовых на усах,
у Пушкиных на бакенбардах —
повсеместно
сосулькам скоро станет тесно.

Толстых и Достоевских — слишком мало.
Весна давно облюбовала
фигурки поскромней —
чугунных латников и бронзовых коней.

* * *

За хлеб и воду
все отдали — и волю, и свободу.
А первородство, будучи не глуп,
Иаков приобрел за чечевичный суп,
лишив наследства бедного Исава.

Дурная слава
не претит
тем, у кого отменный аппетит.

* * *

Светлый Ангел, пролетая мимо,
обронил перо случайно,
что никак не объяснимо
и нелепо чрезвычайно.

Революции культурной
за техническим прогрессом
не поспеть —
за речкой бурной
в небе облачку над лесом.

Между ними остается
неизменным расстояние.
Может быть, признать придется
нерушимым мирозданье.

* * *

Опodelьдоком натереть
больную грудь, но умереть
в конечном счете от чахотки —
обыкновенно, как от водки.

Поэт погиб во цвете лет.
Он по себе оставил след,
едва заметный, что нередко
бывает, если воду ветка
ветлы прибрежной рассечет.

Следы течение занесет.
Я вслед течению реки
смотрю из-под руки
и вижу ясно:
нам дальше плыть становится опасно.

* * *

Потерю красочного слоя
нам возмещает неспроста
фактура грубого холста.
Но все зависит от настроения.

Лишь по желанью твоему
свет превращается во тьму,
сосуществуют лед и пламень,
коса и камень.

Отца и Сына
воедино
соединяет Дух Святой,
страдающий куриной слепотой.



Воскресный троллейбус

РАССКАЗ

Фридрих Петрович звонил Анне Владимировне каждое воскресенье. А бывало, и по субботам звонил. Так как им что суббота, что воскресенье — разница небольшая и незаметная. Да вообще никакой нет разницы, если подходить строго. Поэтому Фридрих Петрович звонил Анне Владимировне иногда в субботу, а иногда в воскресенье — по настроению и самочувствию. В воскресенье почему-то чаще. И они с самого утра договаривались о предстоящей встрече — о свидании, значит. Обычно в одном и том же месте их большого и родного обоим города. Возле бывшего кинотеатра «Правда». Это тот, в котором теперь благотворительная роликовая дискотека спонсорами организована. Для малолетних преступников и прочих трудновоспитуемых детей улицы, стоящих на учете в милиции и в разных диспансерах. То есть кинотеатра как такового ныне не существует. Одно название от него осталось и здание, построенное из железобетонных плит и конструкций. В период расцвета эпохи социализма, начавшего входить в застой, всё из таких конструкций строили — и дома жилые улучшенной планировки, и здания общественных мест. И они все по сей день успешно стоят. Только предназначение свое многие изменили коренным образом. В том числе и кинотеатр «Правда». Фридрих Петрович по этому поводу говорит: «“Правды” теперь нет», — и получается смешно. Но если честно, это он не сам придумал. Это когда-то давно в городе шутка такая была на тему о кинотеатрах. Когда старый кинотеатр «Победа», вместо того чтоб отремонтировать, бросили и он стал саморазрушаться, в кинотеатре «Родина» пожар случился второй категории, а на той стороне Днепра (на левой, если по течению считать) возвели по самому последнему, типовому, слову техники новый кинотеатр «Правда». И тогда по городу пошла гулять эта злая, но справедливая шутка: «Победу забыли, родина сгорела, а правда на той стороне». И Фридрих Петрович, значит, говорит: «“Правды” теперь нет», — и получается что-то вроде продолжения той известной шутки и связи времен.

И, значит, возле этого бывшего кинотеатра они по традиции и встречаются. Только не возле, а напротив. На противоположной стороне проспекта, который, к слову, тоже именем «Правды» назван. Потому что если встречаться возле кинотеатра, то ехать от него практически некуда. От него три остановки — и кольцо, где загород начинается, поля с угодьями, а также с аэродромом областного и сельскохозяйственного значения. А в противоположную сторону — весь маршрут впереди к их услугам. И не один, а два маршрута, ведущих в разные точки центра города через разные мосты — Новый и Старый (это названия у мостов такие — прямолинейные, но официальные). И, встретившись по предварительной договоренности, Фридрих Петрович и Анна Владимировна ждут первый попавшийся, независимо от маршрута, троллейбус, садятся в него и едут. Обычно здесь, на этой остановке, в троллейбусе народу еще мало и полно свободных мест, и они выбирают себе те, что получше и поудобнее. Ну чтоб сиденье неразрезанное и невыпотрошенное и чтоб не на колесе, где трясет, и не у печки, в любое время года работающей. И, конечно, не с той сто-

роны, куда бьют лучи с утра палящего солнца. Солнце им медициной строго противопоказано и вредно. Из-за преклонного пожилого возраста, чреватого повышением давления. Жизнь у них у обоих в сложных условиях протекала, и от этого в конце ее они заболели гипертонией и регулярно поддерживали давление в своих артериях лекарством «адельфан». А без лекарства оно у них не держалось на нужной отметке и то повышалось до недопустимо опасных показателей, то падало ниже всякой установленной нормы. Из-за этого они и избегали сидеть на солнце. Да и просто им бывало по-человечески жарко — ехать в троллейбусе летом с солнечной стороны. И никакого тогда от поездки удовольствия. И зачем нужна сама эта поездка — неясно. Они же не куда-то ездили или там за чем-то необходимым. А потому, что могли себе это разрешить и позволить. В выходные дни для всех пассажиров проезд дорогой — пятьдесят копеек вместо обычных тридцати, а для пенсионеров — как и в будние дни, бесплатный. Ну и людей в транспорте гораздо меньше. Вот они всеми этими льготами в комплексе и пользуются для своего удовольствия. Фридрих Петрович всегда при посадке пропускает Анну Владимировну вперед и всегда говорит:

— Садись, заслужили.

А кондукторше, если она все-таки спрашивает у них проездной документ — по глупости своей или по недоброте душевной, — Фридрих Петрович говорит:

— Пенсионерам проезд бесплатный.

И после этих слов он обычно продолжает ту же самую начатую тему, но уже обращаясь к Анне Владимировне. А если кондуктор к ним не пристаёт, на глаз определяя, что они льготники по возрасту, Фридрих Петрович все равно говорит:

— Хоть что-то мы заслужили у нашей родины милой и многострадальной.

А Анна Владимировна отвечает:

— И не говори.

И разговор их продолжается сам собой — произвольно.

— Раньше слово «Родина» только с большой буквы писалось, — говорит Фридрих Петрович, — по правилам советской грамматики. А сейчас рука не подымется так его на бумаге написать, хотя бумага и всё терпит. Даже в газете этой, которая «Факты», пишут родину с маленькой беззастенчиво.

— Да уж, — говорит Анна Владимировна, — факты есть факты. У нас Родина была не в пример нынешней и не ей чета, как говорится. И в троллейбусе могли себе позволить проезд оплатить все граждане без исключения, независимо от возрастной группы и общественного статуса.

— И льгот никаких транспортных от государства никому не требовалось. — Это уже Фридрих Петрович резюмирует. — Потому что энергоносителей всех возможных видов хватало с лихвой, страна была великая, и народ в ней жил не менее великий, а даже более.

Они едут какое-то время молча и в движении вспоминают о том, какой великий жил в их стране и в их время народ. И не только великий, но и хороший, добрый и сочувствующий. Например, когда муж Анны Владимировны в результате неизлечимого профзаболевания и инвалидности безвременно ушел из жизни, предприятие все расходы на себя приняло. И похороны произвело за свой государственный счет, и компенсацию Анне Владимировне выплатило, и все ей от души сочувствовали и с нею, как могли, сопереживали. А теперь всем все до лампочки: и беды людские, и страдания — тоже. Каждый только о себе и думает, а другие никого не интересуют. И народ, значит, распадается на отдельных безразличных индивидуумов, переставая быть народом в высшем понимании этого слова.

А Фридрих Петрович и Анна Владимировна — люди сильно пожилые и не привыкли жить в распавшемся народе, не чувствуя и не ощущая своей к нему исторической принадлежности. Поэтому живется им неуютно. Не только, конечно, поэтому. Еще и потому им неуютно, что они вдовствуют, так сказать, на этом свете, и потому, что жизнь их подходит к своему логическому завершению.

Чего, конечно, никому не удастся избежать — логического завершения, в смысле. Но от этого и не легче никому.

Конечно, Фридрих Петрович и Анна Владимировна могли бы соединить свои судьбы в одну посредством простого законного брака. Ничто им не мешало это над собой проделать. Но они тем не менее воздерживались и не проделывали. Наверно, они как только начинали думать, что это же надо кому-то переезжать со всеми необходимыми пожитками и квартиру свою оставлять опустевшей, так у них и пропадало всякое желание к объединению стремиться. И они продолжали встречаться в выходные дни, чтобы куда-нибудь съездить на троллейбусе, погулять вместе по городу и вместе же вернуться к бывшему кинотеатру «Правда». А от кинотеатра уже разойтись по домам и жить по привычке, сложившейся и выработанной годами жизни.

Конечно, если бы они были людьми какой-нибудь новой формации, то они бы одну, освободившуюся при объединении, квартиру, допустим, сдали внаем и стали бы получать некоторую нетрудовую прибавку или, другими словами, прибавку, равную двум их пенсиям в сумме. Ничего для этого фактически не делая и никаких усилий не прилагая. Нет, риск в этом квартирном вопросе существовал. Могли им жильцы попасться бессовестные и нахальные. Сейчас много таких людей откуда-то у нас в стране взялось и появилось. И, значит, они свободно могли вселиться и не платить за квартиру. Посмотреть, что со стариками беззащитными дело имеют и воспользоваться их беззащитностью ради корысти. Можно было бы с жильцов вперед деньги взять — допустим, за год. Ну а пройдет этот год быстро и незаметно — что тогда? И денег следующих не получишь, и из квартиры не выселишь. Так что лучше не рисковать и за дармовщиной не гоняться. На старости лет. Так, наверно, они думали — Фридрих Петрович и Анна Владимировна. Или вообще они об этом не думали, а думали о другом. О том, предположим, что упустили свое время и оно прошло. Могли же они раньше подумать и побеспокоиться — чтобы свои близкие отношения отрегулировать и документально оформить. Хотя бы тогда, когда Фридрих Петрович перестал быть мужем своей жене, а стал вдовцом. Да и еще раньше могли. Анна Владимировна чуть ли не половину жизни у Фридриха Петровича в любовницах просостояла, и все об этом знали. И жена его, ныне покойная, знала, и другие. Только муж Анны Владимировны, может, достоверно не знал. Но, может, и он знал. Или по крайней мере смутно догадывался. Если был не дурак и не слепой. А теперь, конечно, теперь чего уж пертурбации затевать вместо того, чтобы жить, как живется исстари. Много ли им радостей жизни надо? Вот на троллейбусе они ездят по выходным, бесплатным проездом пользоваться и денег на длительные поездки совсем не тратя. И чувствуют они себя от этой экономии хорошо. И от экономии, и от общения друг с другом в привычной, непринужденной обстановке. И они начинают ждать воскресенья или там субботы еще с четверга. А случается, и со вторника начинают ждать. Потому что больше ждать им нечего. Не происходит в их жизнях ничего такого, чего надо было бы с нетерпением ждать. Только встречи эти, ими самими придуманные. Может, кстати, из-за этих встреч они и не соглашаются жизнь свою поменять на семейную. Потому что тогда естественным путем никаких встреч у них не станет за ненадобностью. Какие могут быть встречи, когда друг с другом пребываешь с утра до вечера, с вечера до утра и ни «здрасьте тебе», ни «до свиданья» вставить некуда? Хотя тут могут быть и другие, самые разные причины. Может, при мыслях о женитьбе Фридрих Петрович вспоминает, как сумасшедшей Лане какая-то старушка с трясущейся головой и челюстью привозит в красных «Жигулях» потенциальных женихов. И все соседи эту картину неизменно наблюдают, и потому им есть о чем говорить целыми днями, так как есть предмет и тема обсуждения. У Фридриха Петровича и Анны Владимировны случай, конечно, несколько иного характера, им никого искать и осматривать не надо. Но все равно как-то неловко им — жениться в глубоко преклонном возрасте. Они

люди по характеру и воспитанию стеснительные. Робкого, значит, десятка. И предметом разговоров, и обсуждения, и чьих-то домыслов быть им не улыбается. Наверно, их и так обговаривают в подробностях, поскольку, ясное дело, они вместе некоторым общим знакомым на глаза попадались и встречались. И в троллейбусе встречались, и на улицах города, и у того же бывшего кинотеатра «Правда». Но, с другой стороны, мало ли почему и зачем они могли вместе в троллейбусе ехать или на остановке под навесом стоять? Тут пойдешь докажи что-нибудь определенное. Ничего тут доказать невозможно. И некому к тому же доказывать. Разве что друг другу от нечего делать и от скуки. А все по-настоящему заинтересованные люди, которым их теплые отношения небезразличны были, они или так постарели, что все забыли и только собой и своей старостью заняты, или вообще умерли во времена оны. Как парторг завода Евгений Ильич Мачула, к примеру. Да, он в свое время крови из Фридриха Петровича попил со вкусом. То требовал объяснить, откуда у него имя нерусское Фридрих, то угрожал вынести его моральный облик на повестку дня партбюро и освободить от занимаемой должности. Только одно препятствие парторга останавливало — что Фридрих Петрович действительным членом компартии не был, а на предложение того же Мачулы вступить отговаривался: мол, не достоин и не готов морально взять на себя такую высокую ответственность перед товарищами. И какой, значит, толк был его разбирать? Ни строгий выговор объявить, ни из коммунистических рядов исключить с позором, ни на вид поставить. А насчет имени Фридрих тоже у Мачулы не сложилось серьезных обвинений. Фридрих Петрович сначала пугался и не знал, как оправдать свое буржуазное имя, а потом придумал сказать, что имя у него в честь Энгельса, а отчество, хоть и не Ильич, но тоже рабоче-крестьянское — в честь революционера Петровского. Того, чьим именем город Днепропетровск назван. И Мачула от него отстал с именем. Только иногда цеплялся, на территории встречая, — воспитывал и угрожал за аморалку привлечь и обесчестить перед лицом коллектива. А теперь парторга Мачулы нет с ними, поскольку он умер, дожив до преклонных, старческих лет, и к нему мало кто пришел на похороны. Но Фридрих Петрович и Анна Владимировна пришли. И память его почтили вставанием и поблагодарили мысленно, что он не вызвал их когда-то в партком и не унизил перед всем предприятием, хотя, конечно, вполне мог, так как полагалось ему это по долгу службы. В общем, неплохим он мужиком был, покойный парторг Мачула — к такому утешительному выводу пришли на похоронах Фридрих Петрович и Анна Владимировна.

Да, и вот они встретились, как всегда, у бывшего кинотеатра «Правда», троллейбус подождали минут пять и поехали. Через Новый мост, потому что седьмой номер подошел, а не третий. И места в троллейбусе были свободные. Много свободных мест на любой, как говорится, вкус. И они сели в середине салона с правой стороны, прямо за средними дверями. Кондуктор их не тронул. И вообще никого он не тронул, так как его, наверно, или совсем не было, или он торчал в кабине водителя, о чем-нибудь с ним беседуя и отвлекая от выполнения прямых обязанностей. Ну не обратили они внимания на кондуктора и его отсутствие. Они сидели, ехали и разговаривали о квартплате, а также о других коммунальных платежах. И по сторонам не смотрели. Поэтому они и не поняли, что именно и как произошло. Они только дым почувствовали, вдохнув его и закашлявшись, от разговора своего внутреннего отвлеклись, а троллейбус уже не едет, а стоит, и народ из него выйти всей душой стремится. Кто через двери открывшиеся тесные лезет, а кто и окна разбить пытается от нетерпения и страха. И они — Фридрих Петрович и Анна Владимировна — тоже, конечно, со своих мест вскочили и, увидев, что троллейбус горит на ветру, тоже к дверям кинулись. Но к этому моменту, к моменту возгорания, в салоне уже много людей собралось и на остановках набилось. Этот троллейбус как раз к электричке успевал на станцию Нижнеднепровск, и в нем дачники ехали. С лопатами, граблями, ведрами, удобрениями и кто с чем.

Короче говоря, чтобы не затягивать и никого не томить излишней интригой, смогли из троллейбуса все эвакуироваться. И Фридрих Петрович с Анной Владимировной смогли. Правда, самыми последними и в самый последний миг, так сказать. У Анны Владимировны даже волосы обгорели и подол сарафана, собственноручно ею сшитого из старого, лежавшего в запасе отреза крепдешина. Еле потушила она подол. Ладошками по нему хлопая. И когда всё обошлось без жертв, она Фридриху Петровичу сказала:

— Ты как хочешь, а я больше в троллейбус не сяду. Ни за что.

И пошла в обратном направлении пешком к дому. А Фридрих Петрович зачем-то остался в толпе потерпевших и свидетелей происшествия и следом не пошел. Он принимал участие в общем возбужденном разговоре, слушал водителя, объяснявшего пассажирам истинную причину возгорания, сам что-то говорил, но параллельно все время думал. Одну и ту же мысль: «Будние дни — хрен бы с ними, много ли нам их осталось, но как же теперь, — думал, — воскресенье или субботы, и что же теперь по этим дням делать и чем заниматься — неужели дома в окружении стен сидеть без женской, как говорится, ласки и участия?»



Павел БАСИНСКИЙ

Высокая болезнь

ИСПОВЕДЬ ГРАФОМАНА

Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
И гневом мстит за свой уход.

Борис Пастернак

— Уйди, дорогой! По-хорошему уйди! Да уйдешь ты или нет, скотина?! Давай, п-шел вон! Эй, вахта! Не пускайте сюда больше этого типа! Запомните хорошенько и не пускайте. В крайнем случае вызывайте милицию. Что-о?! Он не буйный? Он вежливый? Приятный молодой человек? А вы в глаза ему заглядывали?

Ах, ты еще и вежливый, гад? Ну тогда слушай, я тебе тоже — по-вежливому... Ты больной, понял? Твое место в Кащенко. Это единственное место в Москве, которого ты заслуживаешь. Как ты мне надоел! Не знаю, хуже я тебя или лучше, но уйди, прошу! Тошно мне, рвотно...

Что ты опять мне принес? Стишки? Как это мило! Давай прочитай вслух две первые строчки... Ну? И тебе не стыдно? Тебя самого-то не корчит? Не хочется провалиться сквозь землю? А мне стыдно. Меня корчит. Мне хочется провалиться, исчезнуть навсегда, чтоб только тебя никогда не видеть, не слышать... Чтобы забыть о твоём существовании... противный урод!

Нагнись поближе, я шепну тебе что-то очень важное. Ты самый обыкновенный у-род! Если бы ты мог чужими глазами на себя посмотреть, ты пошел бы и повесился. Ха-ха! Кстати, такой великий гуманист, как Короленко, тоже советовал вашему брату вешаться, исчезать из жизни, чтобы не портить картину мироздания. Он так и написал в телеграмме одному такому же уроду, как ты, когда тот пригрозил повеситься, если его не напечатают: «Вешайтесь!» По-моему, это очень гуманно с его стороны.

Как ты стал уродом? Что ж, я тебе расскажу... Когда-то ты учился в нормальном тмутараканском институте животноводства или, скажем, городского хозяйства (какая разница, тебе, уроду, сейчас все едино). И вот на втором или третьем курсе ты из любопытства (ха-ха! знаю я это любопытство!) пошел в литературную студию, которой руководил местный классик Вася Горемыкин, — я правильно его назвал? Горемыкин прославился тем, что написал несколько романов о войне, на которой не был. В одном из них Гитлер в мае сорок пятого года сидит в бункере и ест клубнику со сливками... И так это он живо изобразил! Будто сам рядом с фюрером сидел! А знаешь, почему? Потому что, когда он писал, он жил на роскошной даче своей тещи, заведующей торговой базой, и тоже лопал клубнику со сливками. Ну как тут вдохновению не снизойти! И вот этот самый Горемыкин однажды назначил коллективное обсуждение твоих стихов... Стихи были слабенькие, ничтожненькие, ты и сам это вроде бы понимал, но зачем-то согласился участвовать в этой групповухе, в этом изнасиловании младенца, то есть тебя. И когда твои товарищи, такие же графоманы, но только похитрее, понормальнее, что ли...

Словом, ты помнишь, что они тебе наговорили... Весь этот стыд, пылающие уши, слезы в глазах и странная невозможность просто встать и уйти. Так вот, дорогой... Если бы ты не был уродом (то есть если бы в тебе уже тогда не было этого гена уродства), на том бы все закончилось. Ты бы по-человечески прятал свои стихи в комод или еще лучше — не писал бы их вовсе. Но в тебе же поселился бес гордыни! Маленький такой бесеночек с сопливым рыльцем. Он тебе и нашептал: «*Да что они все понимают?*» Бес-то был умен, а вот ты, братец, оказался круглым дураком! Разумеется, они ничего не понимали. Поэтому и стали полноценными людьми, а ты дебил, калека, тебя не любят женщины и кусают дворовые собаки. Они ничего не понимали, факт. А ты понимал! В тебе ведь и в самом деле тлеет какой-то крохотный огонечек, и вот ты решил раздуть его и спалить себя без остатка. И что в результате получилось? Дым и вонь. Отодвинься, любезный, от тебя и сейчас воняет.

А тут еще Горемыкин барственно взял тебя под крыло и пригласил в ресторан (денежки у него тогда водились). И там под коньячок-с он и поведаль тебе, что писатели-то, оказывается, бывают *настоящие* и *ненастоящие*. Стать *настоящим писателем* непросто. Уж он-то, Горемыкин, это по своему собственному опыту знает. Тут нужны судьба, талант, вдохновение и еще черт знает что нужно. Чтó он тебе, пьяный, тогда наврал, это, собственно, неважно. Важно, что, думая поступить благородно, он поступил, как последняя свинья! Ведь этот Горемыкин был законченный подлец, в котором души и совести не было даже в осадке. Он и студию взял только затем, чтобы бегать от своей больной жены (на которой женился ради тещиних связей) к молоденьким студисточкам. Кстати, все замечали, что сексуальные сцены в его романах были написаны ничего, смачно, как та клубника с фюлером. Разные там медсестры в юбочках, матовые зубки, круглые коленки, сдавленный шепот и сиськи, как яблоки... Но тебя-то он — хе-хе! — не для этого пригласил. Я так думаю, он в тебе свою породу высмотрел. То есть не то, что ты тоже подлец, а что ты свой, из простых, не интеллигент, словом... Дай-ка, сказал себе Горемыкин, помогу этому рабочему пареньку. Ведь в Москве о Горемыкина разве что ноги не вытирали. Ты бы видел его здесь хоть раз, когда он приезжал и шустрил по столичным редакциям, поил всех маленьких начальников и их секретарш. Он весь точно скукоживался. Даже анекдотца своего в разговор вернуть не смел, только над чужими исправно заливался. Зато дома был сноб и барин.

Ну и поступил с тобой по-барски... То есть думал, что по-нашему, по рабоче-крестьянски, а вышло все равно по-барски. Он ведь чего не учел (или, напротив, учел)? Что ты его слова прямо в сердце примешь и сам *настоящим писателем* стать возмечтаешь. Помнишь, когда он был совсем пьяненький? О чем он толковал? О жидках-издателях и как тебе, рабочему пареньку, будет трудно. И как его, Горемыкина, затирали. Тут бы тебе уши на макушке — и слушать. Потому что в тот момент Горемыкин перед тобой всем нутром выворачивался, голую правду о себе говорил. А ты этой правды-то и не заметил! А все потому, что высокомерен, брат, стал.

И откуда в тебе это высокомерие? Ты посмотри на ногти свои лопатистые. На нос свой — картошкой. На ноги свои кривые, короткие. На пиджачишко плебейский. Впрочем, это бы еще ничего. Но твое «г» фрикативное, ты с ума сбрендил?! С твоим «г» неприлично — слышишь ты, не-при-лично? — стихи вслух читать. И даже писать их неприлично. Потому что «г» это и в письме твоём выпирает.

Не было бы в тебе этого странного высокомерия, ты бы Горемыкина мигом раскусил и случаем воспользовался. Ты бы ему наутро, похмельенькому, про жидов-то и напомнил. А заодно и о фамилии девичьей супруги его эдак невзначай вернул. Не шантажа и надругательства ради, упаси Бог, а как бы с пониманием. И сел бы Горемыкин на крючок. Притом сам бы охотно на этот крючок сел. Потому что Горемыкин твой хоть и негодяй первостатейный, а все ж таки и страдалец. Понимания в тебе не хватило... Простого человеческого понимания. Теплоты. Бес тебя водил...

А как было бы славно! Был бы ты сейчас не урод, а самый настоящий писатель. В том смысле настоящий, что не шатался бы по Москве, как бомж какой-то. Сидел бы в своем тихом городишечке и делал дела. И книжечки бы были, и работенка в издательстве. Глядишь, и стал бы ты сейчас важным человеком. В Турции бы отдыхал. Или вот хоть с Васей Горемыкиным на даче — на своей, дурачок, даче-то! — коньячок распивал. Эх, ты, Аким-простота!

Ты не смотри на меня, пожалуйста, как комсомолка на гестаповца. Не надо мне глазки строить. Знаю я вас, видал! И не жалко мне вашего брата ничутьючки, а только противно. А не заплачешь, не-ет! Потому что ты весь уже сухой, как старая куколка, а мотылек из тебя так и не вылетел. В тебе же — ха-ха! — и сдох. Да и был ли мотылек? Может, мотылька-то и не было? Может, сам уже догадываешься, что не было, и только признаться себе боишься? Но — нет! Такого горбатого могила вылечит.

Вот ты говоришь, что я циник. Я не циник, а идеалист. Я в тебе живого человека разглядеть пытаюсь, докричаться до тебя хочу. Кричу, кричу, а ты уже ничего не слышишь. На вот, возьми зеркало, посмотри на себя трезвым взглядом. Лицо желтое, кожа нездоровая, круги под глазами, а глаза какие больные! Из рта пахнет, потому что желудок давно и безнадежно испорчен. А где твоя жена, слышь, христосик? Ну да, ну да, сидит дома и ждет любимого муженька, а муженек покоряет московский Парнас. А где твой дом, чучело? Неужели в той вонючей коммуналке, которую ты снимаешь пятый год, из которой тебя скоро выгонят за неуплату? А жена твоя, дружок, сейчас ревмя ревет. В подушку воет, чтобы соседи не услышали. А они все равно ее слышат...

Понимаешь, мужик, русская баба все вытерпит. Алкаша вытерпит. Нищету вытерпит. Коммуналку вытерпит. Она одного не вытерпит — полной и окончательной безнадеги. А ты именно безнадежный. И она это поняла. Посмотрела на тебя, как я нынче. И сразу все поняла.

Ладно, ладно, не сжимай кулаки! Может, я ошибся. Может, жена твоя святая и верит в твою гениальность. Но подумай хорошенько... Человек, который верит в нечто, во что не верит ни один смертный (кроме тебя, разумеется), — это ведь уже не святость. Это идефикс. Болезнь, так сказать, на двоих. От этого лечиться нужно...

А моя жена, старичок, с детьми на даче. Лето, понимаешь, жара, и в квартире нашей трехкомнатной дышать нечем. Я тут с тобой время трачу, а внизу меня, между прочим, машинушка дожидается. Девяточка. Цвет металл. Новенькая, совсем необъезженная. А после шести вечера пробки на дорогах ой какие начинаются!

Да нет, я тебя не гоню. Сиди, дорогой, сиди! Знаешь, что мне в тебе нравится? То, что ты *честный графоман*. То есть это-то в тебе и самое страшное, но в то же время и привлекательное. И в стихах твоих обязательно что-нибудь есть, не спорю. Недаром ты над ними столько лет горел, что аж пожелтел весь, *как лист осенний*. Ха-ха-ха! Посидишь эдак с тобой и сам сделаешься графоманом!

Давай поговорим о странностях литературный судьбы... пока пробки на дороге не рассосутся. Вот ты говоришь: *служенье*. Да ведь это метафора, дружочек! Метафора — и больше ничего. Какой такой Аполлон, ты сам серьезно подумай. К тому же помнишь, как у Пушкина? Не терпит суеты... Прекрасное должно быть — что? А твоя жизнь — сплошная суета-маета и томление духа. Скажем проще: кому ты нужен? Кому нужны твои стихи, допустим, искренние, допустим, выстраданные, но только, увы, мой милый, не угодившие в некое расположение звезд на литературном небе, потому что расположения этого ты никогда не понимал и вряд ли поймешь.

Ну ладно: служенье, предположим. А кто тебе, Ванюша, сказал, что ты служить-то право имеешь? Настоящие писатели — ведь это жрецы. Порода! Ты послушай, как они о себе говорят, будто в третьем лице, будто сами себе изумляясь. Они свое место в литературе всегда перед глазами держат, через это место и на всех остальных смотрят. Ты поглядел бы на них, когда они вместе на фур-

шетах собираются. Вот где журавлиные танцы! Например, стоят двое и беседуют. Вроде спокойненько, вроде как просто шампанское распивают. А присмотришься к ним: ба! — да они танцуют! И так это, знаешь, плавно, так слаженно! Один другого фалдочкой пиджака никогда не зацепит, потому что выучка, чутье на свое и чужое место в литературе. Ну и ругаются, конечно. Но — как ругаются! Вся русская литература тогда стонет и дрожит.

И вот, представь себе, появляешься ты. Ребята, кричишь, я, мол, тоже хочу служить! Вот — послушайте! А они смотрят на тебя и ничего не видят. Нет, ты для них даже не пустое место. Для них пустое место — это как раз свято место, а оно, как ты сам знаешь, пусто не бывает. Ты просто человек без места. Ты есть — а места тебе нет.

Что ты лоб наморщил, как двоечник на экзамене? Ай, какие глазки серьезные, испуганные! Смотреть на тебя — со смеху помрешь! Я непонятно объясняю? Вот поэтому ты и сидишь передо мной жалкий такой, и я с тобой разговариваю исключительно по своей прихоти. Потому что я, братишка, ихний язык хорошо знаю. Но тебя обучить не могу.

Вот что ты сделал, когда расстался с Горемыкиным? Ты пошел бродить по ночному городу — угадал? Тебя охватил какой-то трепет, ты почувал присутствие в жизни чего-то огромного, какого-то незримого мира, о котором раньше не знал. Все вдруг связалось воедино — и Пушкин, и несчастный Вася Горемыкин, потому что *тоже писатель*... И тебе безумно захотелось попасть в этот мир... Да, сказал ты себе, я куда еще не достоин! Но я буду работать... работать как проклятый... Работать, работать, работать... И однажды (ты уже представлял себе это?) *из-под моего пера* (ха-ха!) появится первая *настоящая* строчка. Когда ты вернулся домой, твоя жена как-то странно на тебя посмотрела, но ничего тебе не сказала. И начались эти бессонные ночи, чаёк на кухне и дым коромыслом... который потом вдыхал твой бедный сынишка. И у тебя все не получалось, не получалось... А потом вдруг накатило и полилось, полилось... И опять жена посмотрела на тебя как-то странно, но ты этого уже не видел.

А еще ты читал, читал запоем... однако не так, как раньше. Ты ведь решил, что ты уже почти *свой*, ну и читал их всех как *своих*. Ты читал и все старался понять: почему, ну почему Пушкина считают гением? Вот же строчки самые обычные, вот просто слабые («Слыхали ль вы?») Слыхали львы. Ха-ха!). А все зачем-то превозносят его до небес.

Теперь слушай и запоминай. Может, хоть это тебя немного отрезвит. Пушкин — это... Нет, ты слушай внимательно и запоминай каждое мое слово, а думать будешь потом. *Пушкин — это общественный договор*. Это не я придумал. Это сказал один настоящий жрец, не нам с тобой чета. Чувствуешь, как все хитро и гениально? В начале девятнадцатого века жил-был один хороший поэт. Человек сто примерно договорились назвать его первым поэтом. Через пятьдесят лет после его смерти Достоевский предложил слиться в экстазе уже несколькими тысячам. А в эпоху всеобщей грамотности к ним присоединились миллионы. Понимаешь, нет? Англичане выбрали себе Шекспира, итальянцы выбрали Данте, мы выбрали — Пушкина.

Вот так-то, родной... И напрасно ты волновался и листочки книжные на просвет смотрел — нет ли там еще чего-нибудь за буквами? Нет ничего! Нетути! И Пушкина твоего (в которого ты сам в конце концов уверовал — потому что как же иначе?) вот хоть завтра совсем отменить можно. Передоговориться на кого-нибудь другого. Но, во-первых, лень. Во-вторых, зачем? В-третьих, людишек жалко. Тебя вот, дурачка, жалко — эдакую цацку отнимать!

Настоящие писатели про это давно знают. Потому-то они и настоящие, не недомерки вроде тебя. А теперь прикинь: что они про себя знают? Нет, себя, любимых, они, конечно, очень уважают, без этого нельзя, это входит в правила игры. Но они же не сумасшедшие, как ты. Могут иногда на себя трезво, когда нужно, посмотреть. Есть, правда, такие, что уже и не могут, но им это статус, видишь ли, позволяет. А теперь прикинь: что они про тебя-то знают?

Вот то-то! А ты обижаешься, дурашка! Ты сам рассуди: кто и зачем о тебе договариваться станет? Я, что ли? Так это дорого, понимаешь, стоит. Шутка. Шучу это я...

На-ко, выпей водички. Предложил бы тебе водочки, да не купил нынче. За рулем. Впрочем, зачем тебе водочка? Ты и без нее всегда пьяный до невменяемости. Водочка нам, редакторам, полагается. За вредность. Вот ты, разумеется, думаешь, что нам, редакторам, легко жить. Сидим, мол, и над вашими муками изгаляемся. Кровушку вашу пьем. А на хрена мне твои муки, если по-честному?! Ты только представь, сколько таких, как ты, шизоидов, через мои руки прошло! И каждый меня норовил своими проблемами по уши накачать. Я, что ли, сливная яма из железобетона? Я не человек? Во мне души нету? А знаешь ли ты, больной, что твоя болезнь заразная? Я по-хорошему в скафандре с тобой беседовать должен. И читать тебя вполглаза, по-быстренькому, чтоб не заразиться. Так что цинизм — это наш профессиональный атрибут, вроде маски и перчаток у патологоанатомов. Ну и водчонка, конечно.

Зачем я работу такую выбрал? Так не мы выбираем, а нас выбирают. Все психиатры, как известно, немножечко психи. И мы тоже немножечко... Объясняя совсем для дураков: каждый редактор — выздоровевший графоман.

Как ты думаешь: почему я тебя насквозь вижу? Да потому, что сам в свое время этой гадостью переболел. И все было так же, как и у тебя: и тмутаракань своя, и Горемыкин свой, и ночные бздения, и супруга уже косо поглядывала. Это ж стандарт! Писал я тогда рассказы и повестушки, а замахивался, как водится, на роман, которым всех собирался поразить. Напишу рассказик, и читаю сам себе вслух, и сопли по щекам размазываю. Отошлю его в редакцию, а мне назад возвращают с похабной отписочкой. Как же, думаю, сволочи, так? Я же вам кусок души своей послал! Неужто душа моя ничего не стоит? Похудел килограммов на пятнадцать.

Потом один мудрый человек мне все объяснил. Показал на своем столе пачки с рукописями и говорит: знаешь, сколько в нашем городе таких несчастных, как ты? И чем, ты думаешь, они занимаются? Они стремятся, чтобы мир, все люди то есть, их *грязенькими* полюбили. И не просто полюбили, но еще и превознесли и деньги за грязнотцу их платили. А люди, голубчик, они не дураки. Они ни своей, ни чужой тем более грязи не хотят. Они хотят зеркальности, да такой, чтоб в зеркале этом прихорашиваться можно было. Писатель, который это понимает, снимает банк. А что касается гениев разных... Тут людишек принуждать надо. Внушать им надо. Это и есть культура, о которой один литературный герой сказал: если бы папаша меня сёк, то я бы знал французский. Думаешь, много людей, положи руку на сердце, любят, например, Набокова и Пастернака? Да что их? Пушкина и Достоевского! Ой, как ты ошибаешься! Народ вот что любит: ромашки спрятались, завяли лютики... Но жрецам выгодно — понимаешь, вы-год-на? — собственная иерархия. Потому что лютиками народ особо-то не заморочишь (хотя именно так и считается). О лютиках каждый дурак свое понятие имеет. А зачем тогда жрецы?

Сейчас, правда, народились здоровые ребята. Они этих гениев литературных в дерьмо опускают, и правильно делают. Словечко страшненькое подыскали: *литературоцентризм*. И на место Пастернака, который с собой, драгоценным, всю жизнь разбирался, «Иванушек-интернешнл» и «На-ну», будьте любезны! «Упала шляпа, упала на пол!»

Старые жрецы с ними покуда еще воюют, но позиции свои потихоньку сдают. И сдадут. Им ведь главное — что? Главное, чтоб самим остаться с гордо поднятой головой, а солдатиков вроде тебя они давно уже не считают. Так ты, мил человек, пока не опоздал, ступай к здоровым ребятам. Советую. Они тебе место непременно отыщут. Если, конечно, правила их игры поймешь... в чем сильно сомневаюсь.

Но продолжим наши мемуары... Когда тот редактор (теперь большой человек в Москве) мне все это популярно объяснил, я не сразу врубился. Обиделся,

надулся, как индюк. Подонком его назвал. Вылечило меня другое... Написал я рассказик, в котором изобразил своего приятеля, а в конце — для эффекта — заставил его умереть. Проходит месяц, а приятель и вправду помер. Написал что-то о ревности, а жена моя — бац! — рога мне наставила. Чуть не в тот же день, когда я над законченной вещью слезами обливался. А как не наставить, когда через буквы эти чертовы я совсем почти мужиком быть перестал? И вспомнил я тогда, что лежит у меня в загашнике одна штука... слишком, понимаешь, личная, слишком уж откровенная. Первый опыт моего пера, хе-хе! Я и забыл о ней совсем, а тут вспомнил, достал с антресолей, читаю... И волосы на голове дыбом! В той штучке герой от страшной болезни гибнет. В сознании и, так сказать, исповедуясь сам перед собой. Это я, начитавшись толстовского «Ивана Ильича», сделал.

Кинулся я в больницу, сдал все анализы. Прихожу, а врачиха и говорит: вы только не волнуйтесь пока. Надо еще раз провериться, в Москве. Сама в сторону грустно смотрит. А чего это вы, говорит, так похудели?

Что со мной было, рассказывать не хочу. Коротко: три месяца я из этой истории выбирался, пока ошибка не подтвердилась. И такого я тогда насмотрелся, что описать нельзя. Потом взял рассказик и с наслаждением сжег. Говорят, что рукописи — ха-ха! — не горят. Горят, горят. Только очень плохо. Столько от них дыма и вони, кошмар!

И тогда я впервые задумался: что это такое? Какое же это отражение реальности в присущих этой реальности формах? Это ж чистый демонизм! Пошел к редактору своему умному, в ножки ему поклонился. Научи, говорю. Он меня выслушал и долго смеялся. Дурак ты, говорит! Настоящий писатель описывает опыт уже состоявшийся и то все время врет, запутывая следы. А дураки вроде тебя, графоманы несчастные, все придумывают, не понимая, что в жизни ничего придумать нельзя. Все уже придумано. Ну и пророчат на свою голову. Ладно бы на свою, а то ведь другим за что-то достается.

Кончай, говорит он, с этим делом. И благодари судьбу, что тебя на этот раз *отпустили*. Второй раз — не отпустят. Слезай-ка с этой иглы. Ну я и соскочил... Веришь ли, счастливым человеком стал! Смотрю: мир вокруг какой прекрасный! Солнышко, водичка, баб столько хороших и разных, и все на меня с улыбкой смотрят. Ох, и лют я стал в то время на баб, чуть с женой не развелся! А главное, понимаю, что я живой, живой, а не то, что вот ты... М-да.

Что-то заболтался я с тобой... Это опасно. Давай расстанемся по-хорошему, по-доброму. Ты в свою сторону, я — в свою. Последнее тебе скажу. Если можешь (но это вряд ли), кончай с этим делом. Хочешь — с местечком в рекламном агентстве пособлю, там мой сокурсник по Литинституту большой начальник? Я бы и в литературе, пожалуй, тебе помог (между нами — местечки тут еще есть). Да больно ты ненадежный тип! Того и гляди либо сорвешься, либо такой сволочью окажешься, что и мне от тебя — хе-хе! — не поздоровится. Так что ступай лучше в рекламу. Это гораздо, гораздо чище. А не можешь, так пропадай! Унавоживай почву для этих гениев литературных. Болей этой *высокой болезнью*, что хуже последней заразы.

Будь здоров, родной! Прощай...

.....

— Иван Иванович, что это с вами?

— А! Ниночка? Что-то заработался я сегодня. Болит у меня все, Ниночка... Что болит? Лучше и не спрашивайте. Вы вот что, Ниночка... Сейчас придет ко мне один человек спрашивать о рукописи. Так вы его, пожалуйста, ко мне не пускайте. Соврите, что я в срочной командировке или еще где-нибудь. А рукопись как-нибудь вежливо ему верните. У вас это прекрасно получается.



Валерий ПИСИГИН

Письма с Чукотки

7 декабря. Билибино

Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна!

Я еще в Билибино, но скоро переберусь в Анадырь. Говорят, дыра невероятная, вроде бы и название с этим связано. А главная беда в том, что там свирепствуют пурги (во множественном числе и с ударением на «у»). Спрашиваю: почему «пурги»? Отвечают: увижу — пойму...

На днях повстречал девочку-чукчанку, лет семи-восьми. Она была в черной шубке, белой шапочке и настоящих чукотских торбасах. Прямая черная челка контрастировала с шапочкой и заканчивалась точно над глазами-щелочками с черными бусинками-зрачками. Сообразив, что я не просто смотрю, а люблюсь ею, девочка не смутилась и приветливо улыбнулась. Я увидел ее белые смешные зубы — враслопырку. В поведении маленькой чукчанки не было кокетства, но проглядывались та открытость и доверчивость, от которой родители стараются поскорее избавить своих детей, чтобы они не стали жертвами этих несомненных добродетелей.

Я подошел и спросил, не позволит ли она себя сфотографировать. Девочка спокойно, с достоинством разрешила: «Пожалуйста!» Меня поразили четкость и ясность ее ответа и то, как чисто было произнесено маленькой чукчанкой русское слово. Мне даже показалось, что она сделала реверанс. После нескольких снимков я поблагодарил ее и вновь услышал: «Пожалуйста». И опять это было сказано с неким подобием реверанса.

Так же произносят заветные слова — «пожалуйста», «спасибо», «здравствуйте», «до свидания» — те, увы, уходящие люди, которые застали краешек века галантности и учтивости, когда важным считалось не только слово, но и то, как оно произносится, с какой интонацией, в сопровождении какого жеста. Этот некогда обязательный, а нынче забытый патриархальный ритуал делал жизнь краше и добрее. Без него те же слова оказались дежурным оформлением дежурных отношений. По пальцам одной руки я могу пересчитать тех, кто сопровождает даже мимолетное обращение почтительным поклоном. Все они далеко не молоды. Если бы мы так друг с другом здоровались и прощались, то уже одним этим добрым жестом изгнали бы из себя внутреннее рабство и вернули достоинство.

Но откуда взялась эта уходящая манера здесь, на Чукотке, у маленькой чукчанки? Глядя ей вслед, я сожалел, что больше ее не увижу, и спросил вдогонку, как ее зовут. Девочка повернулась и, прищурив без того узкий глаз, нежно произнесла: «Ксюша!»

На следующий день я зашел в краеведческий музей. Он расположен в относительно старом двухэтажном здании и является гордостью Билибино. Собранным здесь материалам и экспонатам могут позавидовать лучшие музеи северных городов, в чем безусловная заслуга Григория Сергеевича Глазырина — основателя музея.

Он родился в 1909 году в глухой деревеньке в Вятской губернии. Закончил педагогический институт, Московский университет и работал инженером в столице. С началом войны был мобилизован, воевал, но в 1942-м попал в плен. Из плена бежал к своим. С армией прошел всю Восточную Европу, однако в Венгрии сгоряча прокомментировал Гимн Советского Союза. То ли засомневался в строчках, то ли мотив не понравился, а может, понравился, но не так, как должен нравиться гимн Отечества, — словом, загремел Григорий Сергеевич на десять лет. И еще легко отделался. Могли дать и двадцать, и двадцать пять и даже расстрелять. Попал Глазырин, как и положено, на Колыму, а после освобождения, в 1953 году, еще дальше — на Чукотку. Но вместо того чтобы сгинуть, Григорий Сергеевич стал выдающимся гражданином. Сначала работал начальником геолого-разведочной партии, которая базировалась в Билибино, затем гидрогеологом Анюйской геолого-разведочной экспедиции, а выйдя на пенсию, занялся созданием музея, который принес ему общечукотскую славу. Так, выход на пенсию может оказаться не концом, а началом подлинной деятельности.

Я видел фотографию Глазырина: здоровенный сибирский дядька с длиннющей густой бородой, над которой нависает огромный, как у Жерара Депардье, нос. Григорий Сергеевич в длинной толстовке, препоясанный, уверенно шагает по улице, теперь носящей его имя, и если бы рядом с ним шел сам Депардье, на француза — при всей его славе — никто бы не обратил внимания: столь блеклым казался бы он на фоне Григория Сергеевича. У Глазырина и прозвище было соответствующее — «Дед». Говорят, не было такого, чего бы этот Дед не знал про Чукотку. Светлая ему память.

Помимо продолжателей дела Григория Сергеевича, в краеведческом музее работают еще и уборщицы-смотрительницы: чукчанка Лариса и эвенка Надя. Лариса родом из Кепервеема, ближайшего к Билибино села. У нее есть старшая сестра — Татьяна, которая живет в Кепервееме, и пять братьев. Они обитают в тундре. Родители уже умерли. Отец много лет работал учителем русского языка и литературы, затем председателем колхоза, а мама всю жизнь была чумработницей. Это и швея, и повар, и воспитатель... Все в одном лице! Лариса закончила восемь классов и ушла в тундру, куда звала душа: вышла замуж и, как мама, стала чумработницей. Ее муж, бригадир оленеводов, в 1997 году неожиданно заболел, его вовремя не вывезли из тундры, и он умер. Лариса осталась с двумя сыновьями (шестнадцати и тринадцати лет) и восьмилетней дочерью... Ксюшей.

Я был рад, что моя знакомая так скоро и неожиданно обнаружилась. Назавтра я уже видел ее в музее, куда Ксюша зашла после занятий в школе.

Вторая смотрительница, Надя, и ее муж, Афанасий, принесли эвенскую одежду и нарядили меня. Уж очень мне хотелось иметь экзотическую фотографию на фоне костей мамонта. Поскольку пришла Ксюша, то я фотографировал и ее, не переставая поражаться исходящему от нее теплу и свету. Все дети светлы — это правда. Но маленькие дети тундры... Близость к природе и удаленность от цивилизации сделали их такими, что любоваться их душевной чистотой и искренностью можно без конца. Ксюша, вдобавок ко всему, отлично владеет русским. И я, кажется, выяснил, откуда это у нее.

Ксюша часто бывает у своей тети в Кепервееме, а та, как и бабушка, преподает русский язык и литературу в средней школе. Теперь ниточка потянулась в Кепервеем.

Уже через день я встретился с Татьяной Алексеевной в сельском клубе. Маленькая, хрупкая, спокойная, неулыбающаяся и в очках, она показалась мне настоящей русской учительницей, хотя, кроме языка, русского в ней не было ничего. Но прежде о Кепервееме.

Село Кепервеем — по-чукотски «Росомашья река» — находится на реке Кэпэрвеем, чуть южнее Билибино. Проживают в нем в основном чукчи, хотя есть и эвены, и русские, и латыши, и белорусы, и киргизы. Всего шестьсот человек. Здесь находится аэропорт — своеобразные ворота, минуя которые люди попадают в Билибино.

Когда-то на берегах Малого Анюя жил богатый оленевод, настоящего имени которого никто не помнит. Запомнили кличку — Кэпэр (росомаха). Росома-

хи всеядны, жадны и поедают все, что попадает на глаза: зайцев, грызунов, птиц, а попадемся мы — и на нас нападет ненасытная росомаха. Они едят даже падаль, но могут напасть и на больших рогатых оленей, и на лосей, вспрыгивая им на спину и перегрызая сонную артерию. Росомахи разоряют продуктовые склады и умудряются вытаскивать приманку из капканов. Словом, это не по размерам сильный, хитрый, ловкий и осторожный хищник, и, кроме меха, в нем трудно отыскать что-нибудь доброе. Я видел чучело этого зверя, так у него ко всему еще и морда препротивная. А вот маленькие росомашки — очень милые создания, их хочется взять на руки и приласкать. Что ж такое: пока дети — все хороши, все милые! Как вырастают — так черт знает что!

Так вот, этот богатый оленевод, владеющий бесчисленными стадами, отличался неслыханной жадностью и потому заслужил в народе соответствующую кличку — Кэпэр. Когда он умер, его похоронили на берегу реки, у которой почему-то не было достойного названия. У нас безымянную реку назвали бы в честь какого-нибудь положительного героя, а у чукчей все по-другому.

Но это предания. На самом деле поселок Кепервеем возник в 1947 году. До этого здесь стояли лишь несколько яранг. Совхоз, который сюда переместился, возник вдалеке, на берегу Ледовитого океана. Центральная усадьба затем разделилась на два совхоза с нечукотскими названиями: «Им. Маленкова» и «Вперед!». Первый совхоз в 1957 году после разоблачения антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова превратился в поселок Илirianей. А «Вперед!», в полном соответствии с названием, не стоял на месте и докочевал до реки Кэпэрвеем. Оленеводы, пришедшие со стадами, решили строить новую центральную усадьбу неподалеку от Билибино, там, где сейчас добывают золото. Называется это место Коральвеем — «Холодная река». Уже было построили колхозную контору, школу-интернат и столовую, уже оленеводы приезжали за зарплатой, как обнаружили мотивы (я их так и не выяснил), по которым усадьбе оленеводов находиться здесь было нельзя. Надо было срочно искать новое место.

Его искали по всей тундре, но никак не могли найти, что неудивительно. Иной раз по комнате ходишь и не знаешь, куда табуретку поставить... Все же решили построить контору там, где уже стояли яранги, неподалеку от места захоронения жадного оленевода Кэпэра-Росомахи. В 1947 году началось интенсивное строительство домов. Но последняя яранга исчезла лишь в конце семидесятых. В ней жила старенькая бабуля, которой по виду было лет шестьсот — семьсот. Она ни за что не хотела переселяться. И действительно: посмотришь на убогие кепервеемские дома — как в них жить?

Татьяна Алексеевна живет в одном из таких домов вместе с мужем и тремя детьми. Ее родители (бабушка и дедушка маленькой Ксюши) были в этих краях знамениты. Алексей Родионович Канталин («Идущий за оленем») родом из богатой семьи. Он был оленеводом, кочевал, но, когда пришла советская власть, решил учиться. Закончил среднюю школу в Островном, затем педучилище в Анадыре, пединститут в Хабаровске, после чего вернулся и работал преподавателем в Красной Яранге.

Что это такое?

Это непросто, Валентина Федоровна. Вы сорок лет преподавали в Торжокском педучилище, и к Вам со всего тверского края приезжали учиться русскому языку и литературе. А здесь — наоборот. Алексей Родионович сам ездил и учил. Красная Яранга — это выездная кочевая школа. Представляете? Бегать по тундре и ликвидировать безграмотность... Вскоре его перевели в Анюиск, где Алексей Родионович стал вторым секретарем Восточно-Тундровского райкома партии.

Татьяна Алексеевна рассказывает, что отец был интеллигентным, образованным, к нему шли за помощью и за советом из самых отдаленных поселков, и он никогда не отказывал. Алексей Родионович сделал столько доброго, что старики-чукчи прозвали его Алексеем Революцией! Это не какая-то Росомаха. К сожалению, даже фотографии его не сохранилось: весь семейный архив сгорел. А вот мама Татьяны Алексеевны (Ксюшина бабушка) была из бедной се-

мы и имела лишь три класса образования. Имя у нее было замечательным — Солнечная Женщина. Она воспитывала семерых детей и несла на себе все то тяжкое бремя, которое только и способна нести женщина в тундре. Безропотно, спокойно, тихо... Но вот пришла советская власть, а с нею и новая жизнь. Началась поголовная паспортизация. А в паспорте важнейший и первейший параграф: фамилия, имя, отчество.

Представляете, советский ответственный работник в галифе, имея за спиной мощь великого пролетарского государства, спрашивает: «Как ваша фамилия, товарищ?» А ему отвечают: «Идущий за оленем». Он переспрашивает, полагая, что ослышался, а ему повторяют... А ведь имя должно быть как имя и фамилия как фамилия. Все должно быть как у людей, без всяких «солнечных женщин».

Отобранные имена превращались в фамилии, а новые имена были уже нашими, понятными и привычными: Федя, Петя, Маша, Таня... Так чукотская семья обрела фамилию Канталины. Красиво, но создана-то фамилия из мужского имени. Впрочем, какое дело паспортистам до этой мелочи! А представьте, если девушка в тундре родилась красивой и светлой и родители дали ей имя Подснежник (почукотски — Ы'лгинтынэчьын)? Что делать с такой девушкой при выдаче паспорта? А если мальчик был резвым, много смеялся, шутил, клоунничал и старики назвали его Шумным (Никуликин)? Вот и получились: Наталья Николаевна Ы'лгинтынэчьына и Юрий Владимирович Никуликин. Но были чукчи, которые русскими именами-отчествами себя не именовали, а, поскольку закон соблюдать было необходимо, оставляли имена чукотские. Получались забавные созвучия, например: Таграй Эттувьевич Гыргольтагин или Векет Танатовна Нутеуги. В местной газете я встретил фамилию, которую ни за что не выговоришь, да и напишешь с трудом — Выквырагтыгыргина. Но ее выговаривали, причем часто: обладательница этой фамилии работала корреспондентом на радио.

Антропонимические вивисекции «старшего брата» вызывали повышенный интерес у исследователей, которые находили в них «прогрессивное влияние русского народа». Нам, русским, это действительно любопытно. А каково маленькому северному народу, где у каждого должно быть имя, отражающее внешность, характер, привычки? Но от чукчей требовали об этом забыть. Вот и живут они с русскими именами и переделанными фамилиями. Под этими фамилиями лежат на сельском кладбище в Кепервееме Идущий за оленем и Солнечная Женщина...

Пятеро их сыновей были заняты в оленеводстве, в совхозе, но после его развала остались безработными. Перебиваются, как могут. Младшая дочь, Лариса, работает в Билибинском краеведческом музее, и лишь Татьяна пошла по стопам отца. Она поступила в Анадырское педагогическое училище, по окончании которого в числе лучших студентов была направлена на учебу в Ленинград. В 1980 году вернулась в Кепервеем и с тех пор преподает в школе. Муж у Татьяны Алексеевны — украинец, работает кочегаром. Сын в армии. Старшей дочери — десять лет, младшей — пять.

Как живет на Чукотке учителям? Татьяна Алексеевна отвечает: «Как везде». Это значит, что живет плохо, бедно. Тем не менее все работают и не жалуются, хотя зарплату не получали семь месяцев. Да и что это за зарплата! Две с половиной тысячи. Высокая в сравнении с зарплатой учителя в Торжке и ничтожная для Чукотки.

«Мы — долгожители», — говорит Татьяна Алексеевна. Это означает следующее. Учителя, врачи, работники коммунального хозяйства и прочие жители идут в магазин, и продавец отмечает, на какую сумму получили они товар. Речь идет о самом необходимом: хлеб, сахар, крупа... После этого «покупатель» остается должником и отдает деньги после получения зарплаты.

...Государство наше не наскучит, потому что никогда не перестанет удивлять. Вы работаете, учите, лечите, обогреваете, охраняете, но вам не выплачивают зарплату. У государства нет денег, и, следовательно, оно становится вашим должником. Но государство наше милосердно. Оно выдает продукты, чтобы вы не померли и не перестали учить, лечить, обогревать, охранять... Так,

учитель или врач, не получающий полгода законную зарплату, сам оказывается в должниках. О каком роптании или недовольстве может идти речь, если ты — должник! И что же должно твориться с душами людей, какое унижение должны испытывать они, стоя в очереди и расписываясь при получении буханки хлеба или куска мыла в долг?

Но остерегитесь кого-то ругать. Парадокс (наш парадокс!) состоит в том, что ругать некого. Такая «раздача» продуктов — единственная возможность для местных властей хоть как-то поддерживать жизнь. Это все, на что они способны, потому что сами беспомощны.

И что же? Может, кто-нибудь озлобился, отвернулся, бросил школу, котельную, больницу и ушел «в партизаны»? Нет. Врачи продолжают добросовестно лечить, кочегары — топить, учителя — учить... Все несут свой крест. И худенькая чукчанка выходит к детям так же, как и ее коллеги в Твери, Нижнем Тагиле или Воркуте, как тысячи учителей по всей России, и мелом выводит на старой школьной доске слова, а дети таких же бедных и измученных нищетой родителей читают вслух:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...

И попробуй скажи что-нибудь дурное о России, зайкнись о том, что есть в мире страны красивее, а люди лучше, заяви, что где-то есть поэты более великие и литературы не меньше...

Всей школой, всем Кепервеемом отмечали двухсотлетие со дня рождения Пушкина. Проводили викторины, конкурсы стихов, выставки рисунков по произведениям Александра Сергеевича, вечер «Болдинская осень» и даже бал, на котором ученики были одеты в бальные платья и костюмы. Особенно удался вечер, посвященный женщинам, которых любил Пушкин. Ученики определяли, какой из них было посвящено то или иное стихотворение. И на всех этих мероприятиях чукчи, эвены, белорусы, украинцы, киргизы, литовцы читали стихи. Даже самые маленькие знают о Пушкине, любят его сказки и играют в героев этих сказок. Не только в дни юбилея. И если зайти в библиотеку, то первое, что увидишь, — заботливо оформленный книжный стенд с книгами Александра Сергеевича и слова: «Пушкин всегда с нами!»

Вот почему так хорошо говорит по-русски маленькая чукчанка Ксюша, вот откуда ее изысканные манеры и отчего искрится в ее глазах жизнь.

8 декабря. Билибино

Дорогая Вероника!

Знаешь, что во время полярной ночи доставляет особенное блаженство? Сон.

Если еще способен ощутить в сладкой дреме блаженство и по утрам стараешься хоть на мгновение продлить это безобидное удовольствие — лучшим условием, чем полярная ночь, не найти, и удачнее места, чем Крайний Север, не отыскать. Широкая, бескрайняя кровать, огромное теплое одеяло и мягкие подушки — добрые спутники и непременные участники этого блаженства; обволакивающая тишина — обязательное и счастливое условие заветной неги и, наконец, темнота — заботливая сопроводительница. Здесь все это есть! Никуда не надо спешить, нет забот, тревог, нет никого и ничего, что могло бы отвлечь, обеспокоить, что прервало бы сон и бросило в круговорот жизни. Всё устроено и оговорено, всё на своих местах, никто не нуждается в твоём участии, ничто не страдает, не разрушается, не пропадает, всё находится далеко-далеко, оно недоступно, недостижимо. Мир отдыхает от твоего присутствия в нем и дает шанс отдохнуть тебе.

Иногда снятся сны. Они выволакивают из небытия давно ушедшие картины, воскрешают оставленные чувства и уже, казалось, забытые лица... Для чего и по чьему велению выхвачены они из закоулков памяти и спустя много лет возвращены? Впрочем, и сны меня не тревожат. В полузабытьи, лишь на миг

приподняв веки, чтобы увидеть за окном синие сумерки и розовую полосу горизонта, я вновь погружаюсь в сон, и нет ничего более драгоценного, чем можно отблагодарить свое тело, которое все еще служит.

Надо найти силы и оставить все дела, заботы, хлопоты, умчаться на конец света, в самые дальние его пределы, и там, забравшись под одеяло, спать долго-долго, столько, сколько возможно. Все обязанности и обязательства, завтраки и обеды, метро, газеты и телевизор, троллейбусы и автобусы, автомобили и поезда, слякоть и дождь, снег и ветер, писклявые дети, нудные жены и еще более нудные мужья, кастрюли, подъезды, конторы, лифты, бумаги, цифры, клиенты, кухни, стирки, уборки... всё прочь!

Есть ли такие, которые не мечтают о безмятежном сне и не сетуют: «Ну когда же?» Может, в отпуске? Но кто же спит в отпуске, и без того скоротечном? И уже в отпуске тешим себя, что, вернувшись домой, все же отоспимся. Но куда там! Все наши заботы — от самой большой до ничтожной — против сна. Тогда возникает еще одна иллюзия: «На пенсии!» Только и это невозможно. Видел ли кто наслаждающихся сном стариков? С нами ли, без нас они постоянно в тревоге и всегда бодрствуют.

Так что же, неужели сон «от души» несбыточен и то, о чем мечтаем, станет возможным, только когда мы переступим порог иного мира? Нет, нет, пока мы живы, надо ехать на Чукотку, причем зимой, в мороз, в стужу, когда здесь темно. Лишь на короткое время светлеет и то лишь для того, чтобы более сладким казался сон. Природа смиряет, делает безучастным, убирает самонадеянность и лечит гордыню. Смирившись, мы успокаиваемся, и нас клонит ко сну. Сопротивляться этому — нет никаких сил...

Мне пока не удастся встретиться с пожилой чукчанкой. Она заболела, и дочь попросила перенести встречу. Но если я улечу в Анадырь, то поговорить с нею не удастся, а я чувствую, что могу узнать нечто очень важное. У меня в Билибино остается всего день.

Еще раз был в больнице. Две роженицы, которые должны были родить под Новый год, произвели на свет мальчика и девочку. Я, конечно, рад, но ведь они были кандидатками на то, чтобы родить первого Младенца-2000. В утешение меня провели в родильное отделение и пригласили рожениц. Я высказал сожаления. Они улыбались и пожимали плечами.

Если бы они родили в ночь на первое января, я бы прыгал до потолка. Впрочем, и это событие. На улице минус пятьдесят, а здесь в теплых кроватках спят только что родившиеся билибинцы. И, пока я разговаривал с Оксаной и Татьяной, по коридору прошла еще одна беременная. Я вопросительно посмотрел на молодого врача Диму, и он сказал, что, возможно, срок подойдет к Новому году. Так что у Билибино шанс сохраняется...

Этот Дима вчера впервые участвовал в родах и помогал акушерам. Внешне он выглядит инородным в северных широтах. Кажется, что его занесло сюда какое-то недоразумение. Он похож на сынка рафинированных петербургских интеллигентов: тонкий, светящийся, стесняющийся, немногословный, да еще в белоснежном халате, колпаке и очках. И манеры у него утонченные, и голос высокий. А между тем Дмитрий Анатольевич родился и вырос в Свердловске, в рабочих кварталах Уралмаша, которые дают такую выучку, что затем человек чувствует себя одинаково в высоком кремлевском кабинете и на буровой в тайге, в дорогом парижском ресторане и в зачуханной столовке, во дворце и на нарах... В свое время родители Дмитрия уехали на Чукотку и обосновались в далеком Омолоне. Они и до сих пор живут там. Отец — водитель, а мать — повар. В Омолоне Дима закончил школу. Затем поступил в Хабаровский медицинский институт, по окончании которого, в 1996 году, приехал в Билибино и с тех пор работает в больнице.

— Каково здесь? — спрашиваю его.

— В гости приезжать хорошо, а жить... Холодно, денег нет, добраться трудно, выбраться — еще труднее...

— Уезжать не собираетесь?

— Пока нет. Надеюсь работать реаниматором-анестезиологом до пятидесяти. Если доживу до этих лет — значит, буду жить дальше.

За несловоохотливого сотрудника досказала главный врач: «Труд у него тяжелый, ответственный, сложный, часто незаметный и не всегда благодарный. Анестезиолог готовит больного к наркозу, затем его проводит, а реаниматолог поддерживает системы жизнеобеспечения и в экстремальной ситуации оживляет человека. В этом случае, а они бывают, Дмитрий Анатольевич в столь раннем возрасте становится самым главным врачом. Но что важно: он относится к больным с уважением, терпением и все, что только можно для них, делает. Если по молодости чего-то не понимает, спрашивает. А вообще много работает над собой, читает литературу, учится...»

Были ли случаи, чтобы Дима, этот робкий, стеснительный, худенький молодой человек, если не сказать мальчик, спасал от смерти? Ирина Александровна коротко ответила: «Спасал, и не раз».

...Только что позвонили и сообщили, что самолет назавтра отменяется. Значит, мой вылет переносится, как минимум, на день. Заметь, не на час, не на два, а на день! О причинах никто не спрашивает, словно так и должно быть. Подумаешь, перенесли рейс!

Если удастся встретиться с пожилой чукчанкой — напишу. В письмо вкладываю отрывок из книги Тана-Богораза. Представь, что меня ожидает. Сам Владимир Германович — личность в этих краях легендарная. Его имя мне не было известно, но всплыло тотчас, как только я собрался на Чукотку. Несколько человек посоветовали прочесть книгу «Чукчи», предупредив, что это большая редкость.

В. Г. Тан-Богораз родился в 1865 году в Волынской губернии. Во Франции могут не знать, что сейчас это Житомирская область суверенной Украины. В семь лет Владимир Германович поступил в гимназию в Таганроге и на переменах мог видеть симпатичного паренька в изношенной обуви, который с грехом пополам, оставаясь дважды «на второй год», закончил-таки это злополучное заведение и получил аттестат зрелости. Впоследствии и паренек (Антон Павлович Чехов), и Тан-Богораз кляли на чем свет стоит эту гимназию, сравнивая ее с тюрьмой. Кроме прочего, им не нравились темы сочинений, вроде этой: «Нет зла более, чем безначалие». Антон Павлович сдал сочинение последним, потратив на него 4 часа 55 минут, и получил четверку. А Владимир Германович... Смотри, что случилось с ним.

В 1880 году Тан-Богораз поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета, через год перешел на юридический факультет, но вскоре за участие в студенческих волнениях был выслан обратно в Таганрог. Через несколько лет он был арестован, посажен на три года в Петропавловскую крепость, а затем сослан на десять лет в Средне-Колымск. С тех пор Тан-Богораз связан с Крайним Севером. Он ведет дневник, изучает язык чукчей и эскимосов и пишет рассказы, которые были опубликованы В. Г. Короленко. В 1898 году ему разрешают вернуться в Петербург, где он выступает в Академии наук с докладом о своих этнографических находках. Но в нем еще не умер революционер, из-за чего полиция решает его арестовать и выслать. Тан-Богораз опережает события и спасается бегством. Не в Женеву, не в Париж, а в Нью-Йорк. Там быстро оценили талант Владимира Германовича и способствовали его развитию. Тан-Богораз выезжает на Чукотку и путешествует на собаках и байдарках, изучая быт, нравы и традиции чукчей. Вернувшись в Америку, он пишет труд под названием «Чукчи», который принес ему признание и славу.

Уже здесь, в билибинской библиотеке (каково созвучие!), я открыл для себя эту книгу. Вряд ли еще какой народ бывшего СССР, включая русский, может похвастать таким исследованием. А специалисты говорят, что и во всем мире нет ничего подобного. Чукчам повезло с Таном-Богоразом, а Владимиру Германовичу с чукчами: писать о них — одно удовольствие.

После революции Тан-Богораз вернулся в Россию, работал в Комитете народов Севера при ВЦИКе, затем в Институте народов Севера, организовал музей истории религии при Академии наук и руководил им. В 1936 году он умер. Владимир Германович похоронен на «Литераторских мостках» Волковского православного кладбища в Санкт-Петербурге, там, где покоится цвет отечественной мысли и гордость нации, начиная с Н. А. Радищева.

Из книги В. Г. Тана-Богораза «Чукчи»

Муж и жена спят вместе до наступления родов. В этот период не существует никаких запретов и ограничений относительно их супружеской жизни. После родов муж обычно в течение десяти дней воздерживается от сношений с женой. Считается, что до истечения этого срока в теле женщины остаются следы родов. С другой стороны, если супруги хотят, чтобы у них возможно скорее родился другой ребенок (в том случае, если первый ребенок умер вскоре после рождения), то они вступают в сношения до указанного срока. Считается, что это полезно для нового зачатия.

Когда приближается время родов, во внутренний полог не впускают никого из пришельцев, «чужих людей». Даже близким родственникам мужского пола не разрешается подходить близко, особенно днем. С ними может войти какое-нибудь невидимое дурное влияние и повредить роженице. Во время родов все мужчины, не исключая маленьких мальчиков, удаляются из внутреннего лога и могут вернуться лишь тогда, когда все следы родов будут убраны. Они могут оставаться в наружном шатре, но должны сидеть очень тихо. Родственницы роженицы могут находиться возле нее, хотя полагается, чтобы присутствующих при родах было как можно меньше. Необходимо лишь присутствие старухи матери или тетки для оказания помощи роженице.

У чукотских женщин вообще существует тенденция свести число помощниц при родах до минимума. Мне известны случаи, когда за отсутствием родственниц помощь жене при первых родах оказывал ее муж.

Как только ребенок покажется на свет, восприимница перевязывает ему пуповину куском сухожилия, в которое вплетено несколько волос роженицы. Сухожилие приготавливается заранее. Женщина перерезает пуповину острым камнем, взятым из скребка для икур, который служит ей для этой цели в течение всей жизни. Обычно он хранится у нее в вещевом мешке. Пуповину оставляют незавязанной. Ее все время натирают толченым углем, до тех пор, пока она не отвалится. Ребенка обтирают заранее приготовленной мочой его матери. Пучок травы, которым производится обтирание, тотчас же сжигается на огне очага.

Оленеводы убивают молодую важенку и готовят в большом котле крепкий бульон из ее грудинки. Воду или снег для бульона приносит муж. Наполняя котел, он кладет поперек его верхнего края деревянную колотушку от бубна и повторяет три раза следующую краткую формулу: «О Солнце! Дай нам теплую воду». Роженица надевает широкую одежду, под подол которой ставится котел с бульоном. Над паром бульона она греет грудь, так как считается, что от этого грудь ее делается мягкой. Она съедает часть мяса и старается выпить как можно больше бульону. Она должна выпить весь котел, и чем скорее она сделает это, тем лучше. Первые две недели после родов роженице дают самую лучшую пищу, тщательно сваренную. Кроме того, она все время пьет крепкий бульон. Считается, что бульон увеличивает количество молока.

9 декабря. Билибино

Привет, дорогая Вероника!

Только что вернулся со встречи с семидесятипятилетней чукчанкой. Нахожусь под впечатлением. С нею была ее младшая дочь. Она мне помогала, потому что речь чукчанки была мне не совсем понятна. К тому же она разговаривает очень тихо.

Я сделал кое-какие наброски и пересылаю их тебе. Это «сырой» материал, из которого в будущем может вырасти целый роман. Теперь жди моих писем из столицы Чукотки. Надеюсь, завтра я все-таки окажусь там.

В последний день пребывания в Билибино я встретился с Марией Васильевной, пожилой чукчанкой, которая родила и воспитала восьмерых детей. Причем шестерых из них — в тундре. Мы познакомились на вечере национальных культур, и я попросил Марию Васильевну о встрече.

Сначала я хотел пригласить Марию Васильевну к себе. Но она предпочла «свою территорию». За мной пришел ее внук и отвел к старому длинному одноэтажному дому на улице 30-летия Советской Чукотки. Здесь обычно останавливаются чукчи, приезжающие из поселков в райцентр, главным образом в больницу.

В одной из небольших комнат этого барака меня ждали Мария Васильевна и ее дочь Людмила. Я старался запоминать все сказанное и делал записи, чтобы не ускользнула ни одна реплика. Сосредоточиться было трудно, потому что хотелось смотреть на Марию Васильевну, на ее лицо, глаза и, конечно, на руки. У старой чукчанки руки особенные. Они кажутся уставшими, огрубевшими, измученными и напоминают зимнюю тундру с замерзшими реками-жилками и грядками сопок-морщинками. Взгляд у Марии Васильевны внимательный, но бесхитростный. Жизнь, как ни ломала, как ни разубеждала и ни разочаровывала, ничего не смогла поделаться с нею. Спасали тундра и ее непреложные законы, не терпящие зла и не прощающие малодушия. Ее голос — тихий, нежный, даже жалобный, сохранивший интонации, обороты и выражения, которые были в ее речи двадцать, сорок и шестьдесят лет назад.

Язык народов Крайнего Севера, и особенно язык чукчей, несмотря на обилие твердых знаков, жесткое соседство гласных, включая буквы «ы», с глухими и шипящими согласными, тих и мягок. Им не накричишься, не выразишь злобу или ненависть, не позовешь в атаку, не споешь «Марсельезу». Этот язык для неторопливой передачи памяти, для легенд и преданий, он — для разговора на малом расстоянии, когда собеседники рядом. Мне показалось, что из уст женщины язык чукчей звучит иначе, чем из уст мужчины. Голос чукчанки будто создан для колыбельной, едва слышной в полумраке яранги. В любви это должен быть язык не менее чувствительный и обворожительный, чем французский. Русский актер, постигнув тайны языка чукчей и эскимосов, блистал бы на сцене и в пьесах Чехова не имел бы равных.

Мария

Мария Васильевна родилась в середине двадцатых годов в яранге. Ее семья носила имя Рассвет (Вэнтынэ) и относилась к чукчам-лучникам, в древности охотившимся с помощью лука и копья. Отец был оленеводом, и звали его Оленёнком (Коравьге). Маму звали Солнышком (Тэркытваль). До замужества она пастушила у богатых, чтобы прокормить семью. После того как Оленёнок с Солнышком поженились, у них стали рождаться дети, и, что немаловажно, росло стадо — до трех тысяч оленей. Впрочем, по тем временам у чукчей такое стадо не считалось большим.

Мария Васильевна помнит из рассказов матери, как пришедшие в тундру большевики — «Какой-то Мандриков» — отобрали стадо; помнит, что один из большевиков, его звали Железная Нога, отказывался исполнять грабительский приказ, и его свои же расстреляли; помнит, что все время голодали и что родители, поддерживая отношения с американцами, ездили на Аляску, увозили шкуры и пушнину, а привозили чай и сахар. Помнит Мария Васильевна и начало коллективизации, когда их, едва окрепших, вновь ограбили, теперь уже под видом раскулачивания, оставив на пропитание триста оленей. Приехал какой-то русский и сказал: «Вы, товарищи, пасите оленей, как пасли, только повнимательнее: теперь это стадо государственное!» Помнит, как вновь голодали и были вынуждены есть вражек (сусликов) и медвежатину.

Тогда же стали организовываться совхозы, а при них — школы. Но мама Марии Васильевны считала, что никакого образования в тундре не надо. Сама тундра — лучшая и единственная школа, а всякое прочее образование едва ли принесет счастье. Скорее, наоборот, грамотная чукчанка обязательно выйдет замуж за русского и покинет тундру, в то время как главный завет предков и неперемненное условие существования кочевого народа: «Никогда не оставлять ста-

до!» Как земля кормит крестьянина, станок — рабочего, а мастерок — строителя, так стадо кормит пастуха-оленевода. И не только кормит. Стадо — это домашний очаг-юранга, тепло и свет жирника, спасительная одежда, наконец, это стремительное движение вперед и единственная возможность выжить в условиях, в которых, кажется, человек жить не может. «Никогда не оставляй стадо!» — этот древний завет вполне относится и ко всем нам.

Мама Марии Васильевны была мудрой и доброй, настоящим Солнышком в холодной тундре. Однажды она тяжело заболела. Марии Васильевне было двенадцать лет, когда Солнышко закатилось... Отчего-то я не спросил Марию Васильевну о судьбе отца, знаю только, что после смерти матери она осталась сиротой и не пропала лишь потому, что трудилась в стаде, помогая братьям.

Иван

В то далекое от нас время в тундре появился молодой оленевод Иван — высокий, симпатичный русский парень из Брянской области. Родился он сразу после революции, в 1918 году, рос в деревне и однажды набедокурил: с кем-то подрался. Его судили, но «пожалели», отправив не в тюрьму, а в тундру пасти оленей. (А мы ругаем режим за отсутствие гуманизма.)

Иван поначалу просто пастушил, но вскоре проявил способности, возглавил оленеводческую бригаду и в этой должности проработал до конца жизни! Бригада Ивана всегда занимала первые места, а сам бригадир стал уважаемым и известным человеком. У него не раз была возможность уехать, но он тундру не оставил и каторжный труд оленевода ни на что не променял. «Тайна» этого профессионального успеха — в крестьянском трудолюбии, умноженном на счастливую восприимчивость: Иван учился оленеводству у старейшего олонского пастуха Куриллова, и тот открыл русскому парню многие тайны ремесла.

...Труд оленевода действительно каторжный, не допускающий ни перерыва, ни отдыха, ни отвлечений. Весной появляются на свет телята, и пастухи круглосуточно их караулят: будят, поднимают, согревают, чтобы телята не околели. Причем это надо проделывать осторожно, стараться не спугнуть важенок, которые могут убежать, оставив теленка, и тогда он наверняка погибнет. Надо выходить со стадом на такие места, где рыхлый снег, иначе слабые телята не проберутся сквозь ледяную корку ко мху. Но где найти рыхлый снег, если днем пригревает солнце и ночью от мороза на снегу образуется ледяная корка? Остается перемещать стадо из леса в долины, затем опять в лес, в ягельные места, которые надо хорошо знать. Ягель — основной корм оленей в зимнее время. Он растет медленно — три-четыре миллиметра в год. Это связано с коротким периодом вегетации. При недостатке влаги ягель (его еще зовут оленьим мхом) не погибает, но перестает расти. При обкусывании оленями верхней части рост ягеля замедляется, а съеденный до основания, он вообще не восстанавливается. Такие особенности требуют от оленеводов не только внимательного отношения при выпасе, но глубоких знаний и скорых обдуманных решений. Например, нельзя в течение двух лет подряд пригонять стадо на одни и те же пастбища. Летом и осенью нельзя загонять оленей на обезвоженные ягельные участки. А ведь олень движется только вперед. Поэтому пастух-олeneвод должен знать не отдельный участок, а всю тундру, на сотни и даже на тысячи километров! И водить стадо тоже надо осторожно: бросившись наутек, олени могут затоптать телят. И, чтобы провести отел, тоже надо подобрать удобное и безопасное место. Для всего этого надо кочевать, кочевать, кочевать... Ночью надо смотреть в оба, потому что не дремлют безжалостные волки, ненасытные медведи, коварные росомахи. Чуть зазевался, отвлекся — и нет твоего стада. Волк не только злой и безжалостный, он хитрый и умный. Долго, терпеливо, с прищуром следит он... нет, не за оленями (зачем за ними следить?) — за оленеводом: изучает его поведение, ищет слаbinу, чувствует ее и, если обнаружит, не прощает. У-у-у! Матерый полярный волк, глядя раскосыми глазами на оленевода, точно знает, есть у того патроны или нет. А на три тысячи голов всего три оленевода! Не то что поспать — чайку попить и то не всегда удается. Затем надо выходить со стадом на послевесенний маршрут. Летом работы тоже много: жара, дожди, туманы, гнус... В августе появляются ядовитые грибы. Олени их поедают, пьянеют и

часто гибнут. К тому же летняя ночь — рай для хищников. Надо дежурить усиленно. Сентябрь — время гона. Тоже период ответственный. Ненужных быков-самцов надо кастрировать. Надо также спиливать рога и сдавать. Из них извлекается ценный препарат стимулирующего действия. Потом приближается забой оленей и надо формировать товарное стадо. Затем нужно вновь выходить на зимовку, готовиться провести ее без потерь. А там — весна, и все происходит по кругу, повторяется из года в год, из века в век...

Я изложил сотую, тысячную часть того, что продельывает пастух. А ведь жизнь полна неожиданностей, и к ним надо добавить всевозможные бюрократические препоны, вмешательство начальства: сегодня так, завтра иначе, послезавтра вновь по-старому.

Вот и вся жизнь, без остановок, без отдыха. И все пешком, на лыжах или на оленях. Все время оленевод при стаде, и яранга — его желанный дом, его очаг... Но какой очаг без любимой?

Встреча

Однажды русский оленевод Иван, кочуя вдоль берега реки Олой, притока Омолона, остановился у избушки, где его бригада обычно заготавливала мясо. В то самое время мимо кочевала другая бригада, в которой работала чукчанка Мария. На заснеженном берегу они и встретились.

Он сказал ей: «Возьму тебя замуж, но будешь ли меня слушать?» «Конечно, буду!» — ответила Мария. «Будешь делать то, что я скажу?» — вновь спросил Иван. «Буду делать все, что скажешь!» — сказала Мария и, в свою очередь, спросила: — А ты?.. Ты меня не бросишь?» «Нет! Никогда не брошу! Буду всегда жить с тобой!» — ответил уверенно Иван.

Так поведала об этой судьбоносной встрече Мария Васильевна, и я дословно привожу ее рассказ, не сомневаясь, что разговор с Иваном был именно таким... хотя Мария в то время не понимала по-русски, а Иван совсем не знал языка чукчей. Когда душа говорит — нужны ли переводчики? В тундре, у реки Олой, они познакомились и полюбили друг друга. Мгновенно. С первого взгляда.

Но что дальше? Вот испытание! Родственники Марии были решительно против того, чтобы она выходила за русского. Даже спрашивать об этом не стоило. В тундре обычаи надо чтить. Решение семьи — закон, противиться которому — дело неслыханное. Что было делать? Времени на раздумья не было, а шансов встретиться еще раз — никаких. Тогда Иван подкатил нарту, постелил оленьи шкуры и шепнул Марии: «Ложись и не шевелись!» Она, как и обещала, подчинилась. Он накрыл ее шкурами и рванул.

Братья Марии были проворными и, заметив исчезновение сестры, бросились вдогонку. «Убьют они меня!» — запричитала из-под шкур Мария. «Не бойся! Я с тобой!» — успокоил Иван. Но чукчи оказались не лыком шиты. Может, на Брянщине они бы Ивана не догнали, но тундра — их стихия. Они настигли беглецов, бросившись наперерез. Остановили, схватили Марию, и если бы не Иван, то ей несдобровать. Ведь, связываясь с русским, она предает их языческую веру. Братья сначала хотели запугать сестру и вернуть в стойбище. «Ты с ним или с нами?» — строго спросили они. Но Мария, собрав волю, сказала: «С ним поеду. Его одного люблю!» Тогда один из братьев засунул ей в рот палец: «Разорву, если только не вернешься!» Но тут уж Ваня пришел в ярость. Он был парень крепкий — взял одного за волосы, другого за грудки и расшвырял. Убивать не стал: все же родственники...

«Ну раз не хочешь с нами ехать — больше в стойбище не возвращайся», — строго предупредили братья, отряхивая снег с кушлянок.

Раньше, если муж бросал жену, то такая женщина оставалась на стоянке и уже не смела кочевать вместе с родом. Оставшись одна в тундре, она была обречена на гибель. Вот и Марию предупредили: «Бросит — не возвращайся». Но Иван сказал: «Если я тебя однажды взял, то уже не брошу. Будем жить до смерти!» И слово сдержал, прожив с Марией всю оставшуюся жизнь.

Первенец

Итак, они встретились. Это произошло то ли в 1946-м, то ли в 1948 году. Мария Васильевна точно не помнит и уже, наверное, никто не помнит, но это не важно; главное — они теперь вместе. В 1949 году у них родилась дочь. Первого ребенка назвали Валентиной. В то время уже выдавали паспорта, детей должны были ставить на учет, лечить, учить — словом, имя нужно было русское.

А вообще у чукчей имя ребенку давала мать. Вот что пишет об этом В. Г. Тан-Богораз:

«Имя выбирается при помощи гадания на «подвешенном предмете». В качестве «подвешенного предмета» в данном случае служит особый камень или часть одежды матери или ребенка, например, обувь или шапка. Мать держит в руках ремень с привязанным к нему предметом, перечисляет по порядку имена всех умерших родственников. Называя какое-нибудь имя, она говорит: «Это подойдет?» Выбирается имя, при произнесении которого предмет начинает раскачиваться.»

Как же родила Мария своего первенца?

Ей надо было ехать в Омолон ко врачу. Иван посоветовал остаться, потому что врач обещал приехать сам. «Нет, я поеду!» — проявила характер Мария. Только отъехала — начались роды. Пришлось возвращаться. Но это сейчас Мария Васильевна говорит: «Начались роды». А тогда она просто чувствовала, что заболел живот. В чукотских семьях запрещалось говорить о деторождении, и, случалось, роженица до последнего дня не знала, что с ней происходит, тем более не знала, как рожают и вообще отчего получают дети. Мария тоже не понимала, почему у нее такой большой живот.

«Я посмотрела: почему пупок не открывается?» Она была убеждена, что дети выходят наружу через пупок. А Иван, занятый стадом или из деликатности, ничего ей не объяснил. А может, и сам не знал. В общем, Мария совершенно не представляла, откуда берутся дети.

Чукчанки рожали особенно. Быстро, неожиданно, без лишних приготовлений, церемоний и тому подобных сантиментов, на которые в кочевых условиях нет времени. Рожали молча и... сидя на корточках. Как бы ни было больно, чукчанка даже пикнуть не могла. Это считалось грехом: если закричит — придет злой дух и заберет ребенка. Сейчас таких подвигов от чукчанок не требуют, но они и по сей день рожают быстро и молча.

«Женщина, которая имела помощь при родах, потом всю жизнь терпит насмешки, и даже муж ее нередко получает насмешливое прозвище: «повитушный». Широкий таз, ввиду того что он облегчает роды, считается одним из главных признаков женской красоты. Влюбленный чукча похвалу своей возлюбленной начинает с восхваления ее силы и статности. Потом указывает на ее дородность, затем упоминает о ее широком тазе и уже только после этого обратит внимание на длинные волосы, густые брови и румянец лица. Краткая формула похвалы проста: «Большая женщина, большой таз, длинные косы». (В. Г. Тан-Богораз. Чукчи.)

Оставшись одна в яранге, Мария стала рожать. Считая, что ребенок должен появиться из пупка, она встала на четвереньки и ждала, когда пупок откроется. Слава Богу, вовремя пришла двоюродная сестра: «Ты с ума не сходи! Чего стоишь на четвереньках?» Сестра помогла Марии, показала, как надо встать, как дышать, что делать после родов с ребенком, помыла его, запеленала... Так появилась Валентина, которая живет и здравствует в Омолоне.

Следующий ребенок родился через пять лет. Причем в обстоятельствах не менее любопытных.

На Брянице

В 1954 году Иван неожиданно собрал вещи. В тундру сел небольшой самолет, погрузились в него всей семьей и улетели на материк. Как казалось, насовсем.

Иван привез жену и ребенка в Брянскую область к своим родным. Мария волновалась: примут ли ее, чукчанку, в русском селе? К тому же она была беременна, да еще с пятилетней девочкой на руках.

Но оказалось, все переживания были напрасны. И родственники, и сельчане приняли Марию радушно и тепло, хотя было необычно, что в исконно русском селении появилась чукчанка. Иван сказал всем: «Я ее привез, и пусть она здесь живет. Не обижайте ее». Поскольку Мария впервые оказалась на материке, то поначалу вела себя, словно дикая. Вдобавок она практически не понимала по-русски. К этому времени Мария почти десять лет прожила с Иваном, но русский знала плохо. Как же они понимали друг друга? Оказалось, когда надо, помогала все та же двоюродная сестра. Она была грамотной, и именно у нее научилась Мария разговаривать по-русски.

Итак, Иван привез Марию на свою родину, и спустя несколько недель у них родился второй ребенок. Уже не в яранге, а в родильном доме. Им вновь оказалась девочка, которую назвали Раей. Иван построил дом, намереваясь начать новую жизнь, но, прожив год с небольшим, неожиданно собрал вещи и вернулся в тундру.

Мария Васильевна считает, что муж вернулся в тундру потому, что на селе платили маленькую зарплату. Но Иван Михайлович был человеком масштабным. Север таким его воспитал. На Брянщине он был обыкновенным колхозником, каких тысячи, а в тундре — уважаемым и значимым человеком, в котором нуждались все: от начальства до оленевода. Никто во всей оломонской тундре не знал так своего дела, как он, русский деревенский мужик. Там, на Крайнем Севере, он был нужнее, и это решило всё.

Мария, оставшись в русском селе с двумя детьми, опасалась, что муж больше не вернется. Однако спустя полгода он приехал за ней. Родители Ивана (добрые русские души!) привязались к чукчанке и так полюбили внучек, что попросили оставить их на какое-то время, пока есть силы нянчить. Поэтому Иван решил оставить дочерей на Брянщине, где они и росли под заботливым оком бабушки и дедушки. «На время», как водится, растянулось на многие годы. Валентина выросла, пошла в школу, впоследствии вышла замуж, родила ребенка и только потом вернулась в Оломон. А Раиса и по сей день живет в Брянской области.

Снова в тундре

В сентябре 1955 года родился еще один ребенок и вновь дочь. (Что ты будешь делать!) Как и Валентина, она родилась в тундре. Но теперь, будучи опытной, Мария рожала без посторонней помощи. Муж как всегда был со стадом. Когда начались боли, Мария приготовила ножницы (вэныткунэн), нитку из оленьих сухожилий, расстелила шкуры и родила. Затем она перерезала пуповину, аккуратно завязала пупок и, как это делают акушеры, прижгла йодом. Девочка оказалась здоровой и способной к учебе. Сейчас Лариса проживает в Москве, по профессии врач: занимается охраной здоровья народов Севера.

Следующего ребенка ждали четыре года. Ждали мальчика, потому что оленеводу нужен наследник. Мужчина — глава семьи, охотник, оленевод, с ним связано будущее. Но почему-то рождаются девочки, и женщины вынуждены рожать до тех пор, пока не появится мальчик. Оттого в тундре часты многодетные семьи.

Но у Марии с Иваном четвертым ребенком вновь оказалась девочка. Она родилась под самый Новый год.

В то время при каждом совхозе был клуб, а в нем — отдел агитбригад с довольно мощной технической базой, включавшей вездеходы и киноаппаратуру. Агитбригады объезжали оленеводческие стойбища и даже отдельные бригады, которых в то время в одном только Оломоне насчитывалось десятка полтора. Пастухам привозили популярные фильмы и крутили их прямо в палатке. Надо было ни о ком не забыть, всех просветить и все объяснить, а главное — показать, что люди в тундре не оставлены, что о них помнят и они нужны стране. И оленеводы это ценили. Сейчас, конечно, даже представить подобное

невозможно. Не потому, что появились телевизоры, а потому, что в том же Омолоне коренным жителям не до кино. Они нередко голодают, питаются комбикормом, к тому же свет там включают лишь на несколько часов. Это в поселке. Про тундру же и говорить нечего.

Вечером 31 декабря агитбригада привезла в тундру кинофильм «Тихий Дон». Конечно, пастухи из бригады Ивана собрались посмотреть кино, а заодно встретить Новый год. И Марии тоже хотелось увидеть фильм, о котором столько слышала. Но именно в этот предновогодний вечер у нее начались схватки. Что делать?

«На дворе пятьдесят градусов. Все приехали смотреть кино, а я рожаю!» — смеясь, рассказывает Мария Васильевна. Но тогда было не до смеха. В их яранге, ожидая начала сеанса, находились четверо мужчин.

«Представляете! — включается в разговор Людмила. — Люди пьют чай, а мама сидит напротив и рождает!»

«Нет, не так, — поправляет младшую дочь Мария Васильевна. — Вот стол, вот люди сидят, вот я рожаю. Акулина, соседка, меня платком прикрыла, а они пьют чай, рассказывают друг другу какие-то истории и не подозревают, что я рожаю». Как он (муж) приехал, зашел в палатку, как все увидел — так сразу всех выгнал! А они даже не поняли, в чем дело. Только ушли — я родила. Они пошли смотреть кино, а я осталась с ребенком».

Людмила добавляет к рассказу Марии Васильевны: «Мама родила Свету, завязала пупочек, завернула дочку в рубашку, успокоилась и говорит: «Я тоже хочу посмотреть кино. Это же впервые в жизни». Но папа строго наказал отдыхать после родов. И, кроме того, что подумают остальные? «Ты же не собачка какая-нибудь!» Но мама папу перехитрила».

Ивану и в голову не могло прийти, что чукчанка сразу после родов способна не только смотреть кино, но, если надо, играть в футбол. Мария, как только ушел муж, оделась потеплее, вышла из яранги, незаметно подобралась к палатке, в которой демонстрировали фильм, проделала дырочку (а может, дырочка там уже была) и, стоя на коленях, в пятидесятиградусный мороз смотрела кино!

Закончилась первая серия, и, пока киномеханик менял катушки, Мария быстро вернулась в ярангу, сняла верхнюю одежду и как ни в чем не бывало залезла под шкуры.

Пришел Иван проведать жену и ребеночка: «Ну, как там Мария? Не замерзла?» — спросил Акулину. Соседка, которая в заговоре с Марией, отвечает: «Нет, не замерзла». А Мария лежит под шкурами, вроде как спит. Иван попил чаю и пошел досматривать «Тихий Дон». Только началась вторая серия — Мария вновь к палатке. Так она посмотрела весь фильм.

Если бы его создатели знали, что на краю земли, в тундре, только что родившая чукчанка, стоя на коленях в жуткий мороз, смотрела сквозь дырочку в палатке их трехчасовой фильм, то уже одним этим зрителем были бы счастливы. И если бы присуждали самые высокие премии, включая Оскара, не только за лучшие роли и режиссуру, но еще и самому великому кинозрителю всех времен и народов, то, думаю, таковой был бы определен единогласно. Им бы стала Мария!

Мария Васильевна родила Светлану, «не дотянув» до 1959 года два часа. Но Иван все же поставил дату рождения 1 января 1959 года. (Боюсь, и сейчас чукчанка родит, а муж поставит дату рождения по своему разумению.)

Омолон и Аполлон

Спустя два года у Ивана и Марии, наконец, родился мальчик, Владимир. Это произошло в феврале. У них почти все дети зимние. И все росли здоровые и крепкие. Владимир сейчас проживает в Омолоне.

В 1965 году, но уже летом, вновь родилась дочь — Катя. А следующим появился на свет Витя. Он родился в мае, и это были самые драматичные роды.

Бригада Ивана кочевала в это время в поселок, вели туда новорожденных телят. А у Марии начались схватки.

«Два шага сделаю — сижу. Еще два шага — опять сижу. Он говорит: «Мария, потерпи! Надо добраться до поселка». Только поднялись на сопку, как на-

чалась пурга. Он говорит: «Пойду телят поднимать, а то снегом засыпет и погибнут». Он ушел, а я давай рожать».

В палатке было холодно. От сильного ветра она ходила ходуном. На то, чтобы затопить печку, не осталось сил. Кроме того, Мария боялась, чтобы от искры не загорелась палатка: тогда — верная гибель. Иван спасал стадо, выбиваясь из сил, поднимал со снега телят, а его жена в это время спасала себя и будущего ребенка. Как обычно, она приготовила все необходимое для родов: ножницы, нитку, йод, подстелила пыжиковую шкуру и силилась родить. Но на этот раз ничего не получалось.

В палатке был небольшой столик, вроде журнального. Мария постелила под ним пыжиковую шкуру, стала на колени и обхватила столик руками. Затем уперлась животом в крышку: «Или умру, или рожу! Как потянула этот стол, ребенок у меня прямо и выскочил. Он был такой холодный! Ведь печка не топится, ветер гуляет по палатке...»

Впотьмах и суматохе куда-то подевались ножницы. И она, как это делали предки, перегрызла пуповину, потом завязала пупок кусочком платка, завернула ребенка в шкуру и упала без чувств. Спустя какое-то время пришла в себя, встала, разожгла печку, растопила лед и помыла сына.

Невероятно, но точно так же, как родился этот чукотский мальчик, появился на свет луконосный сын Зевса и Лето, о чем свидетельствует Гомер. Только вместо столика богиня использовала тропическое дерево. Девять дней и столько же ночей мучилась Лето в «безнадежно тяжелых схватках», и никак на помощь не приходила Илифия, богиня — покровительница рожениц. Ее удерживала ревнивая Гера. Наконец Илифия добралась до острова:

«Только ступила на Делос Илифия, помощь родильниц, / Схватки тотчас начались, и родить собралась богиня. / Пальму руками она обхватила, колени уперла / В мягкий ковер луговой. И под нею земля улыбнулась. / Мальчик же выскочил на свет. И громко богини вскричали...»

Счастье Марии

В 1970 году у Марии и Ивана родилась еще одна дочь — Людмила, с которой я и познакомился.

«Я родилась в Омолоне, на полу восьмиквартирного дома, в более-менее человеческих условиях», — рассказывает, улыбаясь, Люда.

Она была восьмым ребенком и вторым, который родился не в тундре. Больше Мария не рожала: «Ну хватит уже! Сколько можно!»

Зачем же столько рожать, да еще в таких условиях?

Мария Васильевна ответила просто: «Они нам были нужны!» А Людмила пояснила, что таковы были устои и традиции: «Больше, чем оленями, богатство семьи определялось количеством детей. Женщины не делали аборт, а о том, чтобы предохраняться, не было и мысли. Если Бог дает, значит, так надо, и кто мы, чтобы противиться? И отец хотел иметь сыновей».

Я спросил, не ругал ли он Марию Васильевну за то, что родила только двух сыновей. Людмила ответила, что отец вообще никогда не ругал жену.

«Мама считает, что ей повезло. Кажется, разные национальности, различные вероисповедания, понятия о жизни тоже разные, и даже изъясняться они в полной мере не могли, но тем не менее прожили вместе жизнь. И прожили счастливо. Мама жила как за каменной стеной и даже не знала, что за этой стеной происходит. Войны, политические бури, кризисы и прочие события были ей неведомы и прошли, ее не касаясь. Лицом и душой она была обращена к семье. Был дом-крепость, и она была в нем хозяйкой. Мама не знала, что и где купить, достать, как заработать, на что потратить. Все делал отец. Если надо ехать в отпуск, значит, надо. Москва, Сочи, Адлер, Ялта... Мама не ведала, откуда берутся деньги и вообще что это такое. Таких забот у нее не было. Она знала, что нужно убрать в яранге, пошить одежду, постирать, приготовить еду, заниматься детьми... Хотя и отец тоже нас воспитывал».

«Только начну что-нибудь делать, — добавляет к словам дочери Мария Васильевна, — он останавливает: «Мария, у тебя есть дом и дети. Остальное сделаю я»».

«Отец маму одевал, возил на материк, на курорт и гордился ею, — продолжает Людмила. — Он был интересный, высокий, стройный, настоящий русский мужчина и, наверное, мог влюбить в себя много красивых женщин. Но он любил только свою Марию».

«Многих бросали мужа, — говорит Мария Васильевна. — В Омолоне русские часто женились на чукчанках, делали детей, потом бросали их и уезжали. Остались вместе жить только мы с ним и еще одна семья».

В августе 1990 года Иван Михайлович Процкий умер. Он, потомственный русский крестьянин, всю жизнь прожил в тундре. Работал на совесть, так, как и коренные не могли, знал свое дело не хуже чукчей или эвенов. Круглый год в тундре, а значит — постоянно мокрые ноги... В конце концов у него развился ревматизм, и он захромал. В 80-е годы ревматизм обострился и перешел на сердце. Иван Михайлович мог уехать на материк и постараться вылечиться, а если не удастся — умереть на родине. Но он предпочел остаться в тундре, рядом с Марией. Его похоронили в ставшем для него родным Омолоне.

Он оставил ей детей, заботливых, чутких, совестливых. Они любят и берегут Марию Васильевну. Этим летом возили ее в Брянскую область повидаться с дочерью Раей. Мария Васильевна живет в Билибино у младшей дочери, в тепле и заботе, в окружении любящих внуков. Ей есть что вспомнить. И все потому, что однажды у реки Олой судьба одарила ее любовью. Ей надо было решать мгновенно, сразу, в течение нескольких секунд. И она не испытывала судьбу, не противилась ей. «Я счастлива, потому что прожила жизнь с тем, кого любила».

Вот уже десять лет, как Мария осталась без своего Ивана. Но она всегда думает о нем. В ее жизни он был единственным мужчиной. И этот единственный оказался и любимым, и любящим! При первой нечаянной встрече, не зная языка, Иван сказал: «Никогда не брошу!» И она была счастлива с ним, живя в его тени, под его защитой. Она жила так, как хотел он, и была такой, какой он хотел ее видеть, и делала всегда только то, что говорил он.

Покорство? Рабство? Ничуть. Просто она так понимала жизнь и свою роль видела в том, чтобы идти за ним и помогать ему. Во всем. Он и был для нее всем. За время разговора Мария Васильевна ни разу не назвала своего мужа по имени. Только Он. Конечно же, с большой буквы.

ЧАСТЬ II. АНАДЫРЬ

11 декабря. Анадырь

Дорогой Иверий!

Я уже в Анадыре... Прибыл на рейсовом самолете, который три часа летел из Магадана в Билибино, затем — уже со мной — долетел до Певека и только потом, перелетев через всю Чукотку, добрался до Анадыря. Так же петляют по нашим дорогам сельские автобусы, заезжая во все встречные деревни, останавливаясь у каждого столба, выгружая и набирая пассажиров.

Анадырь напоминает Билибино только пятиэтажками на сваях, устройством квартир в них, а также множеством магазинчиков. В остальном Анадырь резко отличен. Он значительно больше (здесь шестнадцать тысяч жителей), и история у Анадыря гораздо длиннее и богаче.

В 1649 году Семен Дежнёв основал острог на правом берегу лимана — широкого устья реки Анадырь. В Древней Руси острогом называли крепостную стену из вкопанных вплотную и заостренных сверху (остроганных) столбов. Потом так окружали селения и небольшие города. Еще позже — острогами стали называть тюрьмы. Дежнёв, по-видимому, основал здесь нечто универсальное. В 1771 году Анадырский острог снесли, и лишь в 1889 году на его месте казаки во главе с Л. Ф. Гриневицким построили пост Ново-Мариинск. На вытянутой вдоль берега косе располагались казачья казарма и несколько домов. В 1923 году Ново-Мариинск был переименован в уездный поселок Анадырь, в честь одноименной реки, а в 1965 году преобразован в город.

О том, что означает «Анадырь», споры идут по сей день, и определенного ответа я не получил. В Москве утверждали, что столица Чукотки — редкостная дыра, отсюда, мол, и название. Но в самом Анадыре эту гипотезу с гневом отвергли. Вроде бы с юкагирского слово переводится, как «Чаячья река». Чукчи называют Анадырь труднопроизносимым словом «въэн», или «въенын», что значит «зев», или «вход». Еще они называют Анадырь словом «кагыргын» («устье» или «отверстие»). Как ни крути, а от «дыры» недалеко. И ничего оскорбительного в том нет. Есть у нас названия и еще более «глубокие». Дно, например, забавный городок!

В середине семидесятых здесь началось интенсивное строительство. Анадырь выросал на глазах, умножалось население, и к середине восьмидесятых город достиг пика развития. Со всех концов Союза сюда устремились тысячи жизнерадостных людей, молодых и крепких. Из Анадыря они затем растекались по всей Чукотке.

Город расположен на своеобразном выступе, который с одной стороны омывается заливом, с другой — лиманом. Это значит, что границы Анадыря очерчены и predeterminedены. Город мог развиваться только по выступу и, судя по всему, в этом себя исчерпал. Расположение лишает Анадырь защиты от ветров, пурги и прочих напастей, которые здесь в избытке. Посмотри на ладонь и представь, что в самом ее центре, там, где обычно пересекаются линии судьбы, находится город. Это Билибино. Теперь переверни руку и вообрази, что на обратной стороне ладони, в самом незащищенном и открытом месте, чуть ниже костяшек, стоят дома. Это Анадырь. Только вокруг еще водная стихия, почти всегда ледяная.

Беда и в том, что аэропорт находится на другой стороне лимана, в поселке Угольные Копи. Добраться до него на машине или автобусе можно, только когда лиман скован льдом. В остальное время к услугам граждан вертолеты или катера. Но в непогоду, что здесь не редкость, Анадырь оказывается отрезанным. Бывает, вернувшиеся из дальних странствий анадырцы еще несколько дней ожидают погоды, чтобы попасть домой. Случается и обратное: собравшись в отпуск, они пересекают лиман и несколько суток, а то и неделю торчат в аэропорту, не имея возможности ни вылететь, ни вернуться домой. Это «неудобство» стало притчей во языцех, и, кажется, еще не было журналиста или литератора, который бы не отметил на этот счет.

Центральная улица Анадыря проходит через город сверху вниз и в зимнее время служит своеобразным пургоуловителем. Стихия, прокатываясь вдоль чукотского побережья, подыскивает место для пристанища и, обнаружив удобную гавань, что есть мочи устремляется туда. Пешеходы здесь не то что в Билибино. Прогуливающих нет. Каждый старается поскорее добраться до места, будь то магазин, место учебы или работы. В ходу капюшоны, а если его нет, то поднят воротник. Голову анадырцы прячут вовнутрь. Отсюда «украдистая» походка. Я не заметил, чтобы прохожие стояли и разговаривали. Интересно: был ли архитектор у Анадыря, и если да, то кто он по профессии?

В Анадыре много молодежи, в том числе коренной. В основном это студенты педагогического и медицинского училищ. Как и подобает столице, здесь находятся административные учреждения со множеством чиновников. Оттого чукотские провинциалы относятся к Анадырю примерно так же, как российские к Москве.

Цены в анадырских магазинах на порядок ниже, чем в билибинских, а ассортимент несоизмеримо богаче. Есть молоко, кефир, творог, масло, сметана, сыр. Причем продукты как местного производства (из сухого концентрата), так и привозные, главным образом московские. Продается мороженая оленина, свинина и говядина. Всегда в продаже красная рыба и икра. Ассортимент мучных изделий богат и разнообразен. Пользуется спросом выпечка. Из фруктов — яблоки, бананы и мандарины. В центральном гастрономе очередь во все отделы. Объясняют это выдачей зарплаты, приуроченной к выборам в Думу. В небольших магазинчиках в работе продавцов чувствуется конкуренция. Особенно активны украинки. В магазинах, торгующих парфюмерией, — оживление. Вообще

билибинского спокойствия нет и в помине. Анадырцы всюду готовятся к Новому году.

Неожиданно пробудились воспоминания из далекого детства, когда я жил на Украине. Там каждый, кто только мог, ходил «на обед» — домой. Начальники, конечно, приезжали. Городок небольшой, до всякого угла рукой подать, а системе общепита в тех местах доверяли еще меньше, чем милиции. Наш сосед был ни много ни мало прокурором. Фронтвик, без руки, непомерно суров, с левитановским металлом в голосе. Его все боялись. Помню, он приезжал на светлой «Победе», которая тут же уезжала, потому что водителю тоже надо было успеть поест. Прокурор обедал, полчаса отдыхал, затем уезжал и появлялся лишь поздно вечером. Примерно так обедали все начальники.

И вот в Анадыре я столкнулся с таким же, как мне казалось, ушедшим в прошлое хождением «на обед». Это ведь крайне невыгодно, учитывая трату самого дорогого, что только есть, — времени. Но не у нас. Хождение на обед — выгодно! Сварил кастрюлю супа или борща и кормись им несколько дней, не растрачивая попусту деньги, которых, в отличие от времени, нет вовсе.

Я наблюдал, как работники окружной администрации дружно расходились на обед. Некоторых «по пути» развозила машина, живущие неподалеку шли пешком. Спустя сорок минут они воссоединятся в главной чукотской конторе. И, между прочим, всегда видна разница между тем, какими уходят на обед и какими возвращаются. Так было и в городке моего детства. На обед шли быстро, с серьезным видом, не обращая ни на кого внимания, иногда не здороваясь... А с обеда возвращались не спеша, умиротворенно, даже весело, и я не припомню, чтобы кто-то, включая самых больших начальников, не поздоровался. Так рота солдат молча и целеустремленно марширует к полковой столовой, а спустя полчаса уже доносятся со всех сторон воинской части разудалые песни... Нет, нет, все же мы близки к природе, а значит, еще не совсем безнадежны!

Жара в анадырских квартирах такая же, как в билибинских, и на ночь я не закрываю форточку, хотя мороз ниже тридцати. Но говорят, такое тепло не во всех домах. В старых — даже холодно. В отличие от Билибино здесь обзаводятся приличной мебелью. В остальных городах и поселках Чукотки ею пренебрегают, полагая, что при временном проживании это лишние траты. Мебель в квартирах доказывает, что Анадырь — самый стационарный из городов Чукотки.

Настоящая беда с горячей водой. Нет, она подается без перебоев, почти кипятком, но такая ржавая, что мыться лучше под душем: грязь не так заметна. Если же налить в ванну, то уже ни за какие деньги в нее не окунешься. К тому же вода пахнет мазутом. Как мне объяснили, у городских властей нет денег заплатить местной ТЭЦ, и энергетики этим безобидным способом дают понять, сколь важное место они занимают. Так ли это, но такой воды я еще не видел. Откуда только ее черпают? Ни в лимане, ни в заливе, ни в чукотских реках ржавой воды нет. Не загрязняют ли ее специально перед тем, как подать? Едва ли. Ведь и на это нужны деньги. Не меньше, чем на химочистку. Впрочем, сетования на качество воды уместнее заменить восторгами от того, что она вообще есть.

Анадырь не принадлежит к тем редким городам, которым всякая погода к лицу. Когда морозный ветер обжигает лицо, мучит вопрос: «Почему люди здесь живут?» Но когда погода налаживается и из-за горизонта выкатывается солнце, думаешь: «Не из-за него ли?»

После полярной ночи мне показалось, что более яркого солнца я еще не видел. Да что там! Здесь восходят сразу три солнца! Чтобы удостовериться: не мерещится ли мне? — я сегодня даже выбежал из дому. И обнаружил, что нахожусь в гигантском театре Солнца! Город на косогоре — амфитеатр, лиман и залив — авансцена, по бокам белоснежные горы образуют кулисы: слева — живописные серебристые сопки, справа — величественная гора Дионисия, а из глубины сцены, предваряемое заревом, поднимается огромное светило, и вскоре по обеим его сторонам образуется сияющий эскорт из солнечных отражений!

Быть может, этим солнцем, столь ярким, каким оно не предстает больше ни перед кем, природа награждает анадырцев за их терпимость?

12 декабря. Анадырь

Дорогой Б. З.!

Я нахожусь в столице Чукотки. Здесь располагается местное начальство, конторы и учреждения; здесь находятся учебные заведения, научные институты, местное радио, редакция окружной газеты и телецентр, а также рестораны, бары, кинотеатр и библиотеки. Я даже видел вывеску ночного бара. Словом, Анадырь — настоящая столица.

В Билибино прогулкам мешает мороз, а в Анадыре — ветер. Но мороз — переносим, а ветер — нет. Он увеличивает каждый градус вдвое. Поэтому я или сижу в квартире, или добегаю до краеведческого музея и скрываюсь в нем.

Музей — в самом центре города, в двух совершенно одинаковых двухэтажных зданиях, отстоящих в двадцати шагах один от другого. Для музея это лучшее место. Дома относительно старые, что также благоприятствует музею, тем более краеведческому. Но все же здания, их местонахождение и даже экспонаты — не самое важное. Главное — в посреднике, который бы взялся представить жизнь города или края. То же и с библиотекой. Что толку от богатых фондов и внушительных каталогов, если библиотекарь равнодушен, безучастен и не становится соискателем твоих знаний? Я знаю работников сельских библиотек, хранителей скромных фондов, у которых каждая книга в работе. Такой библиотекарь прежде читателя знает, что ему нужно и зачем он пришел. Но есть огромные библиотеки, с уникальными фондами, работники которых выполняют роль клерков, превратив библиотеки в безмолвные хранилища, где директор всего лишь номенклатурный чиновник.

Так же с музеями. Можно прийти и остаться один на один с экспонатами. Хорошо если это Эрмитаж, когда уместнее сказать не «пришел», а «вернулся». Но когда находишься в незнакомом городе и хочешь о нем узнать, как обойтись без того, кто поможет приоткрыть новый мир? Без такого посредника экспонаты останутся побрякушками.

Вот и в Анадыре краеведческий музей жив своими работниками, и прежде всего двумя сестрами. Одна — директриса, другая — заведующая литературной частью. И кроме них, есть сотрудники, столь же добросовестные, сколь и отзывчивые, готовые к обстоятельному разговору с каждым, кто переступил порог музея.

Директор, Наталья Павловна, — невысокая, энергичная чукчанка, с европейскими манерами, яркая, словоохотливая, повидавшая мир, поддерживающая связи со многими музеями, ведущая научную и просветительскую работу и обладающая безграничными знаниями в своем деле. Рассказывать о Чукотке она может без усталости. Голос у нее громкий, звонкий, если надо — требовательный и жесткий.

Заведующая литературной частью музея, Ольга Павловна, — полная противоположность. Тихая, незаметная, предпочитающая больше слушать, чем говорить. Ее невозможно представить в брючном костюме, тем более курящей. Голос едва слышный, ненавязчивый. Наталья Павловна — язычница, не скрывает этого и даже гордится. Ольга Павловна — православная христианка, о чем я узнал, только когда увидел ее перед аналоем в местной церкви. Наталья Павловна, как и положено директору, отстаивает интересы музея, пробивает фонды, защищает сотрудников, требует внимания и руководит. Ольгу Павловну в роли руководителя представить невозможно, тем более невообразимо, чтобы она требовала или с кем-то выясняла отношения. Вероятно, Ольге Павловне не просто от того, что ею руководит сестра, но она принимает эту роль и старается не подводить.

Я не расспрашивал об их личной жизни, знаю лишь, что их отец — известный на Чукотке деятель, и его имя носит главная улица в Анадыре. Это значит, что воспитание у сестер было не тундровое. Знаю также, что у Натальи Павловны две дочери. Одна учится в местном педагогическом училище, а другая — в Москве. Больше мне ничего не известно. Зато известно главное: эти чукотские женщины — язычница и православная христианка — призваны собирать и охранять память своего народа, быть может, в решающий для него час. Промысел

избрал их, чтобы они организовали музей, словно это Ноев ковчег, готовый отплыть с бесценным грузом к араратским высотам.

Именно надвинувшаяся катастрофа сделала краеведческий музей столь всеобъемлющим и всеохватывающим, что он вышел за рамки краеведения, а его работники стали настоящими подвижниками истории и искусства Чукотки.

Почему? Потому что мы дорожим лишь тем, чего недостает, и по-настоящему ценим только то, что теряем. Нам будто невдомек, что вверенное наследство надо хотя бы не преуменьшить. Мы же бездумно прожигаем его. Лишь когда маячит опасность невозвратной утраты и прозвучит последний трубный глас, мы неуклюже спохватываемся и мечемся в поисках спасительных решений.

Россия — бедная страна. Бедная, потому что дети наши неухоженные и старики нищие: чем еще определяется благосостояние нации? Что мне до недр, богатых нефтью, золотом, газом или платиной? Наш Крайний Север и Чукотка сказочно богаты, а народы Севера едва ли не беднее всех. Вымирающим чукчам, эвенам, эскимосам, юкагирам не до музеев. И как важно, как справедливо, что именно в это время находятся люди, понимающие, что самое важное сейчас — сохранить память в надежде, что придут лучшие времена, и когда неравнодушный потомок спросит: «Что после себя оставили?» — ему будет что ответить. В этом смысле скромная, незаметная работа сотрудников окружного краеведческого музея и восьми его филиалов — ключевая в сохранении культуры и самой жизни Крайнего Севера. Это раньше других понял могучий билибинский Дед — Глазырин, это понимают две миниатюрные чукчанки, Наталья и Ольга, и их сотрудники. Надеюсь, это понимают и чукотские начальники.

«В какой области вы видели столько краеведческих музеев?» — с гордостью спрашивает Наталья Павловна, словно я способен оценить. Я редко бываю в музеях, тем более в краеведческих, и в Анадырский зашел лишь потому, что он оказался на пути. Вот так: зашел обогреться, а открыл для себя целый мир!

В музее представлена, кажется, вся жизнь Анадыря и Чукотки: история и современность, искусство и быт, литература и наука, география и природоведение. Каждый метр использован для просветительства. Даже в коридорах развешаны картины местных художников и расставлены поделки самодеятельных талантов. В музее можно узнать, когда произошло то или иное событие, какие животные и птицы обитают сейчас или обитали когда-то. Стараниями работников здесь представлена почти вся литература о Чукотке, а книги, сопровождаемые подробными сведениями об авторах, выставлены на специальном стенде. В отдельном зале размещены предметы быта коренных народов: яранга, вельбот, байдара, охотничьи и рыболовные принадлежности, праздничная и повседневная одежда, представлены вещи, которыми и поныне пользуются в тундре, но есть и орудия первобытного человека.

В музее хранится и то, что не выставлено напоказ, но представляет ценность. Например, книжный фонд, который собирают работники музея. Мне показали знаменитую книгу Степана Крашенинникова о Камчатке, изданную в 1786 году. Точно такую же, того же года издания, перечитывал Пушкин. Хранятся здесь «Путешествие Биллингса», и беспримечный труд В. Г. Тана-Богораза «Чукчи», и редкая книга П. И. Полевого «Анадырский край», изданная в 1915 году. В запасниках на отдельном стеллаже — библиотека Т. З. Семушкина. Юрий Рытхэу подарил свои рукописи, и теперь в музее создан отдельный фонд самого титулованного чукотского писателя. В книжном фонде хранится переписка писателей, их неопубликованные произведения, материалы к биографиям, много фотографий и документов. Все аккуратно собрано, рассортировано в соответствии с музейными правилами и оберегается, ожидая исследователей, ученых, писателей, публицистов, просто интересующихся историей и культурой Чукотки.

Кто знает о писателе П. Я. Кравченко? Я впервые услышал. Но Павел Яковлевич жил и трудился в Анадыре в сороковые годы, во времена ГУЛага. Он много лет кропотливо фиксировал то, о чем и думать было страшно. Потом подарил музею два чемодана рукописей. Наталья Павловна ездила за ними в Ма-

гадан, и теперь рукописи бережно хранятся. Значит, труд писателя не пропадет и рано или поздно дойдет до читателя, и мы узнаем о жизни на Чукотке в то страшное время. Есть в музее и богатейший фотодокументальный фонд, и подписка газеты «Советская Чукотка» за 1933 год. Еще один экземпляр хранился в Ленинке, но там подписку не уберегли. Есть фонд истории Чукотки, с которыми работают в основном специалисты. В нем — материалы о здравоохранении, географии, этнографии, по сельскому хозяйству и культуре. Все есть: фольклор, книги на языках народов Чукотки, археология, первые буквари — словом, андырский музей действительно ковчег.

Но особая гордость музея — косторезное искусство. Скульптура и графика. Дорогой Б. З.! Я открыл для себя это искусство только здесь, на Чукотке.

Страх и голод были главными движителями существования первобытного человека. Смысл жизни заключался в том, чтобы укрыться от одного и избежать другого. Пребывая в стаде, первобытный человек почти не оставался в одиночестве. Но если такое все же случалось, он вглядывался в небо, искал горизонт и гадал о том, что находится за ним. В эти минуты он не мог не думать и о том, что происходит внутри него самого и отчего постоянный страх. Оставаясь один на один со стихией, человек создавал кумира по своему образу и подобию и, падая ниц перед собственным творением, просил кумира быть милостивым. Всматриваясь в этих божков, мы можем судить о тех, кто их сотворил. Мы восхищаемся наскальными фресками и каменными фигурками, исполинскими истуканами Пасхи и гигантскими рисунками в пустыне Наска, пирамидами в Гизе и в Теотихуакане близ Мехико, но все же понимаем, что они, при всей красоте и величии, лишь бледная тень того, что создано Творцом — природы и самого человека.

Изгнанный из Эдема, человек рассеялся. Избегая смертоносной стихии, он осваивал пространства, дрался с такими, как сам, побеждая врагов, обретал силу, уверенность, власть и... забывал о страхе. Забывал о том, что всякая его удача — Промысел Божий. Утверждая границы владений, считая их священными и неприкосновенными, покоряя других, постигая науки и развиваясь, накапливая и обогащаясь, человек уже не помнил, что его удел — бояться Бога. И только в отдаленных уголках оцивилизованной Земли, там, где неуютно богатому и грустно мудрому, человек по милости Божией еще сохранил первозданность и первородность и не утратил того животного страха перед Богом, который, быть может, гораздо угоднее Господу, чем показное и чопорное благоговение по праздникам.

Вся жизнь на Севере зависела от природы. Если стихия благосклонна — удавались рыбная ловля, охота, приумножалось стадо, а значит, в порядке был очаг и не голодали дети. От того и настроение было хорошее, и духовное состояние возвышенное. Тогда человек не просил своего бога о большем, но думал, чем ему воздать. И, когда свирепствовала пурга и стадо хоронилось в снегах, а море было сковано льдом и охота становилась невозможной, когда нельзя было ничего, только смиренно сидеть в яранге, человек брал инструмент и творил. Стремился ли он запечатлеть быт, отразить радости и горести, оставить воспоминания о тех или иных событиях, о победах или поражениях, о любимой женщине, наконец о самом себе? Едва ли подобная сентиментальность была присуща древним. Они посвящали себя только своему богу.

В 1260 году был освящен Шартрский собор. И до сих пор это строение, наравне с другими готическими соборами, справедливо считается вершиной творческого гения. Сколько же веков или даже тысячелетий прошло, прежде чем наскальная живопись палеолита поднялась до готических соборов? Сколько времени ушло на то, чтобы горловые звуки шамана под удары бубна преобразились в симфонию? Но представьте: то и другое находится в неразрывной связи и живет рядом с нами. Живет сейчас! И мы, если захотим, можем возвращаться к ис-

токам высокого искусства, восхищаться им, а наиболее чувствительные учатся видеть мир таким, каким видели его наши далекие предки.

Незадолго до смерти Альфреда Шнитке спросили, к какому направлению относится его музыка, и композитор был обескуражен. Он ответил, что человеческий век (имея в виду человечество вообще) столь непродолжителен, а пространство, на котором человек обитает, столь мало, что мы не вправе разделять человечество ни во времени, ни в пространстве. Все искусство — от древности до наших дней — есть одно целое, и он, Шнитке, относит себя к искусству вообще. Древний Египет и Палестина, Греция и Рим, Месопотамия и Индия, средневековая Европа и Китай, цивилизация инков и древнерусская культура — все это рядом и неотделимо от нас, не говоря об эпохе Ренессанса или более поздних эпохах.

Действительно, кто ближе к началу мира: Боттичелли или Модильяни? (Или — правильнее спросить: кто от него дальше?) Кто ближе к первым музыкальным опытам: великие симфонисты XIX века или тот же Шнитке, и где тогда находится Бах — позади, впереди, в центре?..

Пространства, на которых обитают чукчи и эскимосы, не имеют границ. Но их быт ограничен ярангой, а кочевая жизнь требует минимального имущества. Значит, размеры поделок и изделий должны быть не велики, а сами они — не тяжелы. Что же может служить холстом или исходным материалом? Стены пещеры? Но их не возьмешь с собой, не перенесешь за сотни километров. Может, камень? Камень тяжелый, серый и хрупкий. Дерево? Его в тундре нет. Остается кость и прежде всего — клык моржа. Его можно обрабатывать, словно твердое дерево, он невелик, к тому же — белый, и тень, оставляемая в микроскопической бороздке, хорошо видна в полутемной яранге. Наконец, моржового клыка — много, и изделие не станет разменной монетой, предметом вожделения и зависти, кражи и насилия, как это происходило там, где основным материалом для поделок было золото или драгоценные камни.

В краеведческом музее мне показали образцы косторезного искусства. Почти все они сделаны умельцами из Уэлена, где находится всемирно известная косторезная мастерская.

Уже здесь, на Чукотке, я видел много рисунков с изображением чукчей, эскимосов, эвенов... В основном они выполнены приезжими художниками. Можно спорить о достоинствах или недостатках, восхищаться некоторыми работами или оставаться равнодушным, очевидно одно: никто не смог передать пластику коренных жителей, не уловил их приземистость, обтекаемость, природную устойчивость, или, как Вы говорите, — остойчивость. Еще женщины изредка получают: к ним художники более внимательны.

Европейский мастер всегда старался оторваться от земли, воспарить и окинуть свысока окружающий мир. Оседланные гигантские птицы, крылатые кони и змеи отражали вечное стремление ввысь. Северный человек, напротив, прижимался к земле, остерегаясь потерять почву. Дерзость и темперамент южного человека были ему никчемны. Вольности и свободе, столь желанной в остальном мире, люди Севера предпочитали жесткую дисциплину и строгую иерархию. Уйти из тундры, подобно тому как лермонтовский Мцыри покинул монастырь, едва ли могло прийти в голову: вокруг тундры была только тундра. «Чому я не сокіл? Чому не літаю?...» — пели мы, мечтательно глядя на небо. «Я не завидую орлам, парящим в небе голубом...» — поется в одной из чукотских песен...

Южные танцы легки и воздушны, танцоры тянутся ввысь, становятся на цыпочки, часто подпрыгивают. Северный танец иной. Танцующий никогда не отрывается от земли. Напротив, под монотонные звуки ярара он жесткими, даже грубыми движениями словно вкапывается, вбивается в землю. Его колени полусогнуты, руки распростерты, а кисти в такт притопу с силой сжимаются в кулаки. На случай непогоды, когда пространство ограничено ярангой, у эскимосов есть «сидячие» танцы, когда танцуют лишь верхней частью тела.

Я до сих пор не интересовался ни бытом северных народов, ни их искусством и лишь однажды видел скульптурную композицию из кости. В Эрмитаже. Ее сработали косторезы из Архангельска и подарили Екатерине II. Эта компози-

ция оставила меня равнодушным. Фигурки охотников, оленей, собак статичны. Они будто вкопанные. А вот фигурки из анадырского музея — все в движении, в динамике. Глядя на них, можно представить, что было мгновение назад, и проследить за тем, что еще только будет.

Произведенная чукчами и эскимосами миниатюрная скульптура отражает неуловимую пластику северного человека, его движения, ритм и энергию. Глядя на маленькие, не больше десяти сантиметров, шедевры, можно понять темперамент народа, тысячелетия прожившего в тундре и не пропавшего. Некоторые фигурки поражают сходством с работами Пикассо. Если говорить о женской пластике — это «Женщины, бегущие по пляжу», и «Флейта Пана», если иметь в виду пластику мужскую.

Осторожно, не касаясь пальцами, я брал в ладони фигурки, подносил их к свету и рассматривал...

13 декабря. Анадырь

Привет, Веро!

Я перелетел в Анадырь — главный город на Чукотке. Здесь уже нет полярной ночи. Дом, в котором я живу, находится на краю города. Из окна видна какая-то деревня, а за нею — залив и бесконечность, из-за которой ненадолго появляется солнце. По сравнению с Билибино жизнь здесь более ритмична и многолюдна. Поначалу немного мелко, но вот уже третий день стоит отличная погода. Говорят, весь декабрь такой, чего здесь не помнят. Все ждут пургу. Я не против. Посмотрю, что это такое.

Пытаюсь встретиться с окружным акушером. Уже был у нее в больнице и договорился о времени, когда можно спокойно побеседовать. Главный акушер в курсе всех деторождений. Информация стекается к ней со всех районов Чукотки. Можно никуда не ездить и ждать Нового года...

Сегодня вышел к окраине города и увидел небольшую церковь. Она находится на том месте, откуда впоследствии вырос Анадырь. В церкви крестили детей, поэтому я в ней не задержался и по тропинке, минуя склады и базы, прошел дальше, чтобы сфотографировать панораму Анадыря. В конце концов я вышел на дорогу, которая так увлекла, что вскоре я оказался в деревне Тавайваам, той самой, которую видно из моего окна.

Деревня показалась жалкой и убогой. Ветхие одноэтажные дома, которые правильнее называть хижинами, соседствуют с двухэтажными, также довольно обшарпанными. Они к тому же покрыты изморозью, от чего кажутся холодными, неприветливыми и безжизненными. Тем не менее в этих домах живут. Вокруг домов расположились деревянные сарайчики разных форм и размеров, тоже малопривлекательные. Видел я здесь и несколько новых коттеджей. Картину дополняет стоящий посреди поселка недостроенный трехэтажный дом. Судя по всему, таким он остается много лет и уже едва ли достроится. Пока я шел, не встретился ни один прохожий, не проехала ни одна машина.

Тавайваам — речка, по которой в Ново-Мариинск ездили чукчи с товаром для обосновавшихся здесь казаков. Отсюда и название — «Река, служащая для поездов». Сами казаки, основавшие Ново-Мариинск, назвали реку — Казачкой. Протекает Казачка между Анадырем и поселком, который в отличие от реки название сохранил. Сразу за Тавайваамом начинается безбрежная водная (сейчас ледяная) пустыня Анадырского залива. В Тавайвааме живут в основном чукчи. Жизнь их так или иначе связана с Анадырем, куда они ходят на работу, если таковая есть, а их дети — в школу.

В деревянном двухэтажном здании, на котором обозначено «Администрация», расположен еще Дом культуры с библиотекой. В одной из комнат я застал нескольких девушек за печальным занятием: они сплетали траурный венок. Чтобы работа не казалась скучной, девушки смотрели телесериал. Встретили они меня тепло, усадили за стол и угостили чаем. Когда разговорились, я спросил о возможности рождения ребенка в тундре. Чукчанка Надя — кажется, она

директор этого Дома культуры — сразу предложила встретиться с одной из жительниц, которая могла бы ответить на мой вопрос. Надя ушла за нею и спустя некоторое время возвратилась с Валентиной Ивановной и ее девятилетней дочерью Марийкой.

Валентина Ивановна — чистокровная чукчанка, родилась и выросла в Тавайвааме. Ее родители всю жизнь проработали в тундре. Отец — потомственный оленевод, мать — чумработница. Сама Валентина Ивановна уже на пенсии, хотя ей только пятьдесят. Раньше работала в спорткомитете. Занималась ездовыми собаками и организовывала соревнования, довольно популярные в этих краях. У Валентины Ивановны шестеро детей, которых она делит на партии. «Старшая партия» состоит из дочери — ей двадцать восемь лет, и двух сыновей, которым по двадцать три года. У «старшей партии» свои семьи, и там Валентина Ивановна уже давно бабушка. Но, будучи бабушкой, она не переставала становиться матерью. «Младшая партия» состоит из десятилетнего сына и двух дочерей, которым соответственно девять и семь лет. Таким образом одна из дочерей Валентины Ивановны младше ее же внука. Никого из шестерых она в тундре не рожала. Зато родилась там сама, и мама рассказывала ей обстоятельства этих родов.

Я спросил: может ли сейчас в тундре родиться ребенок и остаться неуценным? Валентина Ивановна считает это маловероятным. Теперь даже в отдаленных бригадах имеются рации, по которым сообщают о разных происшествиях, в том числе и о предстоящих родах. Вместе с тем она рассказала, что ее приютельница из Билибинского района несколько лет назад родила в тундре.

Муж Валентины Ивановны умер десять лет назад, и с тех пор она одна воспитывает троих детей. Впрочем, они дети только с виду. На деле — самостоятельные личности, которые не только помогают матери, но и являются полноценными добытчиками пищи. Пенсия у Валентины Ивановны 750 рублей. Это при чукотских ценах! Проживают вчетвером в однокомнатной квартире. Так теплее и, главное, дешевле. Зато есть электрическая печь, которая греет воду.

По выходным Валентина Ивановна с сыном и Марийкой ходят на рыбалку. Не ради удовольствия. (Тут ради удовольствия ничего не делается.) Ловят корюшку, небольшую рыбку, сантиметров десять — пятнадцать. Чтобы был толк, наловить надо много, но не всегда удается. Рыбку жарят, вялят, солят, коптят — словом, она для них, что для нас картошка. Уху варят редко: на нее этой корюшки надо уж очень много. Покупают еще только хлеб и немного картошки: «Надо же детей чем-то баловать!» Сама Валентина Ивановна картошку старается не есть. Иногда едят оленье мясо, но сейчас с ним трудности. Вот и весь рацион этой тавайваамской семьи. А есть и такие, которые обходятся только рыбой. Некоторые выпекают хлеб сами. Получается дешевле, чем покупать. В семье Валентины Ивановны еду готовят в основном дети и чаще всего Марийка, которая на все руки мастер. В девятилетнем возрасте она ведет почти все домашнее хозяйство.

Эта крепенькая, с серьезным видом девочка меня поразила. По всему видно, что она играет важную роль в семье, и потому мать с нею на равных. Валентина Ивановна много курила. Конечно, самые дешевые папиросы. Марийка решила бороться с маминым курением и способ нашла безупречный. Она не обвиняла мать, не апеллировала к здоровью, а взяла карандаш и подсчитала, во что обходятся папиросы. Затем положила расчеты перед матерью и сказала: «Бросай!» На листке было подсчитано, сколько хлеба, муки и картошки можно было бы купить на деньги, улетевшие в табачный дым.

Марийка шьет вполне серьезные вещи, и, случается, они с мамой их продают. Она показала рукавицы из заячьего меха, и было трудно поверить, что девятилетний ребенок на такое способен. А ведь она не только шьет, но и выделывает шкуры и, кроме этого, умеет вышивать бисером. Этому Марийку учат в Национальном колледже — специальной школе, где есть художественное и фольклорное отделения. Но главным ее учителем была бабушка.

Мне хотелось поговорить с Марийкой, и я даже попросил Валентину Ивановну оставить нас, полагая, что девочка стесняется. Однако, оставшись со мной

наедине, Марийка не произнесла ни слова! Валентина Ивановна просила дочь, чтобы та рассказала известные только ей истории, но Марийка была непреклонна. Она молчала и в лучшем случае улыбалась, плотно сжав рот. Я корил ее, даже ругал, но все это не давало результата.

Жаль, потому что Марийка знает о Тавайвааме многое. Недавно умерла ее бабушка, у которой с внучкой были самые доверительные отношения. Незадолго до смерти бабушка передала Марийке свои бумаги: газетные вырезки, тетради с записями, документы, которые бережно хранила. В этих бумагах, кроме прочего, записана история села. Теперь Марийка — обладательница ценного наследия, дорожит им и не хочет делиться с заезжим незнакомцем. Наказ бабушки был строг, и Марийка выполняет его неукоснительно. Может, когда-нибудь она предоставит эти материалы человеку более достойному и заинтересованному, а может, сама расскажет историю своего бедного селения. Бедного — другого слова не подобрать.

Когда мы с Валентиной Ивановной и Марийкой вышли из Дома культуры, нам повстречались несколько странных (и страшных!) существ. Это старушки-чукчанки. Беззубые, едва передвигающиеся, одна на костылях, а одежда такая, что это скорее лохмотья. Я было приготовился их фотографировать, но это показалось столь кощунственным, что я не решился. В руках у одной старушки была выцветшая тряпка, похожая на бывшее полотенце. В тряпку было завернуто полбуханки хлеба. Опираясь на костыль, старушка делала два шага, останавливалась для передышки, ступала еще, вновь останавливалась и так продвигалась к двухэтажному дому. Чтобы войти в него, ей предстояло преодолеть несколько ступенек, и я не представляю, как она могла бы это сделать. Валентина Ивановна с нею поздоровалась, они поговорили по-чукотски, а я прятал глаза, чтобы не встретиться со старушкой взглядом. А она-то как раз смотрела на меня и ждала, чтобы я посмотрел на нее. Только потом я понял, что меня сковал стыд. Я не представлял, что стыд может вызвать бегство от сопричастности к беде, отстоящей от тебя в полуметре... Не я, а Валентина Ивановна проводила пожилую чукчанку до подъезда и помогла ей взойти по ступеням. Оказалось, старушка шла из своей одинокой лачуги в соседний дом поделиться хлебом с человеком еще более немощным и нуждающимся...

У сельского магазина мы встретили пьяную чукчанку, с виду молодую. Еще только полдень, но по всему видно, что в таком состоянии она с утра. Ее старое, грязное драповое пальтишко было накинуто на то, что с натяжкой можно назвать нижним бельем. Женщина была не просто неряшлива. Она была расхристанной и разболтанной, без головного убора, хотя мороз был под тридцать. В любой момент она могла упасть, и едва ли у нее хватило бы сил подняться. Ей никто бы не помог, потому что вокруг никого не было, а редкие прохожие, вроде несчастных старушек, не обратили бы на нее внимания.

Говорят, северным народам нельзя пить. Их организм не сопротивляется воздействию алкоголя. Вроде бы в нем нет ферментов, растворяющих алкоголь. А вот русский организм, наоборот, устроен из одних только этих ферментов! Как, впрочем, и французский. На самом деле, чукчи, эскимосы, эвены и другие северные народы, организм которых веками приспособивался к условиям, в которых никто другой жить не может, устроены так, что вмешательство в их жизнь — будь то жилье, одежда или питание — немедленно вызовет отрицательную реакцию. Организм отторгает все, что несовместимо с их образом жизни, и небрежение этим губительно. Вот почему мудрые люди столь категорично выступают против всякого постороннего вмешательства в жизнь и быт своего народа. И прежде всего накладывают табу на алкоголь.

Я спросил Валентину Ивановну, что она думает о нас, русских.

Она ответила, что русские сейчас ничем не помогают. Если надо что-то построить, например, дом, надо идти за разрешением, затем выкупать землю. Валентина Ивановна спрашивает: «Почему мы, родившиеся и прожившие здесь тысячи лет, должны выкупать свою же землю? Выкупать у тех, кто сюда пришел, похозяинничал и теперь сматывается?» Она считает, что должны платить

им: за право пользоваться их землей и недрами. «Были газеты на чукотском языке. Сейчас их нет. Был Центр народного творчества. Сейчас его нет. Хорошо, остается еще Национальный колледж. Наше село считается национальным, но что вы здесь видели национального? Одна разруха. Были небольшие домики, аккуратно стоящие один против другого, а теперь — разгром! Теплотрассы открыты, из них бьют фонтаны. Трехэтажку строили-строили, разворотили полсела и бросили. Людей видели, какие они у нас? Старушек видели?..»

Валентина Ивановна говорила без злобы, но и без надежды на то, что это когда-нибудь изменится.

Мы расстались. Выйдя на дорогу, я пошел в Анадырь, а мои новые знакомые остались в Тавайвааме, поселке-спутнике чукотской столицы. И, пока я шел, — вспоминал о необычном экспонате из местного музея. Вам, французам, этого не понять, но я попытаюсь объяснить...

В краеведческом музее, в котором я уже несколько дней пропадаю, любуюсь косторезным искусством, есть дверь, обитая черным дерматином: нечто вроде заменителя кожи. На двери надпись: «СЕРВИЗ, подаренный Губернатором ЧАО НАЗАРОВЫМ А. В. к юбилею Москвы».

Плотно закрытая дверь с подобной надписью может привлечь даже самого равнодушного из посетителей, не говоря обо мне, с детства предпочитающего закрытые двери открытым. Я попросил показать подарок. Как житель Москвы я сгорал от любопытства: что за сервиз подарили нам к юбилею? Не из моржового ли... клыка?

Оказалось, нет. Сервиз на двенадцать персон изготовлен из высококачественного фарфора на подмосковной фабрике, чьи изделия в особом почете среди ценителей. В одной из искуснейших супниц, окаймленной золоченым исконно русским орнаментом, покоится грамота, свидетельствующая о том, что сей сервиз действительно подарен Первопрестольной «от лица Народа Чукотки с пожеланием процветания и благополучия». На стене комнаты с плотно занавешенными окнами висит красочный, под стать сервизу, плакат-календарь с изображением торжественной передачи подарка мэру столицы.

Ей-богу, сервиз столь роскошный, что и налитая в тарелку баланда сошла бы за наваристый борщ.

Осмотрев сервиз, я уже было представил себя в полутемной горнице в числе двенадцати избранных, разделяющих со мной трапезу, и одного приземистого, подающего мне кусочек хлеба... как меня вдруг заинтересовал вопрос: почему подарок москвичам находится в Анадыре?

Конечно, дареному коню в зубы не смотрят. Так, быть может, мэр Москвы, приняв сервиз, затем от него вежливо отказался, догадываясь о богатых недрах Чукотки? Но нет. Подарок действительно находится в Москве, а здесь, в краеведческом музее, лишь уменьшенная копия настоящего сервиза. Тот — на двадцать четыре персоны!

Пока я осматривал сервиз, а поглядеть на «подарок» приходят целыми группами, девушка-смотрительница постоянно поправляла оконную занавеску, чтобы из дома напротив не заметили блеск золоченых тарелочек...

Только не надо спешить с выводами и, как у нас говорят, с «однозначными оценками». Во Франции общественность бы возмутилась, подняла шум, и от бедного губернатора уже ничего бы не осталось. Он бы сидел в Консьержери, а сервиз пошел бы с молотка. Но это Россия. Здесь все иначе. И я не стану никого обвинять в растрате народных средств. Кто знает, может, благодаря этому сервизу Чукотка не погибла? Может, в обмен на подарок сюда доставили парутройку танкеров с нефтепродуктами? А может, Москва, умилившись подарком, приняла к себе на попечение несколько тысяч чукотских детей? Или засыпала полуостров дешевой мукой, по 13 рублей за килограмм? Быть может, сервиз этот уже сто раз окупился. Может, оттого губернатор и подарил его музею, не стесняясь и не стыдясь, что сервиз сыграл существенную роль в преобразовании Чукотки и из захолустья она в одночасье станет развитой территорией и, когда придет время, мы все о том узнаем? А узнав, воспоем славу чукотскому губернатору и устыдимся мелочных и недостойных упреков.

В любом случае когда я буду писать книгу о Чукотке, историю с сервисом упоминать не стану. Это я тебе, французенке, раскрываю некоторые наши нюансы, которые в иные времена назывались «социалистической предприимчивостью», а еще до того... не помню как. Но то, что так было всегда,— точно. И еще долго будет, как бы мы того ни хотели.

14 декабря. Анадырь

Дорогой Валентин Яковлевич!

Я не ответил на Ваше письмо, потому что вылетел на Чукотку неделей раньше. Только сейчас понимаю, сколь это удачно. Мне казалось, десяти дней будет достаточно, чтобы собрать материал. Но для Чукотки десять дней — ничто. Неделя ушла только на то, чтобы прийти в себя.

Интересного не просто много. Интересно все. Сначала я был в Билибино и теперь знаю, что такое полярная ночь. Едва ли у меня хватит способностей передать ее в письме, предположу лишь, что человеку, прожившему на Псковщине, вряд ли когда-нибудь привидятся пейзажи, какие можно наблюдать на Чукотке. Также родившийся и проживший в тундре, на необъятных просторах, посреди сопок, едва ли представит мир вокруг Савкиной горки, с гогочущими гусями, мычащими коровами и каркающими воронами. Кажется, вся природа разместилась между этими двумя полюсами.

В Анадыре нет такого дикого холода, как в Билибино. Зато дуют ветры. Вечерами бесконечно пью чай и переносу на бумагу впечатления, а днем скрываюсь в краеведческом музее. В одном из его залов открыта экспозиция чукотской литературы. Создан также Рукописный фонд, в котором собирается все, связанное с писателями и поэтами Чукотки, и с теми, кто когда-либо о Чукотке писал. А кто только об этом континенте не писал? Врачи, геологи, летчики, учителя, моряки... Одни между делом вели дневники, другие черкали заметки, третьи описывали быт. Не для истории. Для себя. Ведь приехавший с материка попадал в совершенно новый мир, где была другая природа, другие отношения, все другое. Руки невольно тянулись к перу. Стараниями работников музея, и в первую очередь Ольги Павловны, заведующей литературной частью, все эти записи и документы сохраняются.

Что до самого творчества, то, по словам Ольги Павловны, которая много лет следит за чукотской литературой и за литературой о Чукотке, положение здесь неопределенное. Хотя и конкурсы проводятся, и мероприятия разные и присуждаются премии имени Юрия Рытхэу (десять тысяч рублей победителю), прорыва пока нет. Все содержание чукотской литературы — в каком-то мечтательном взгляде в невозвратное. Редко кто рискует размышлять о будущем. Нет исканий, не задаются писатели сложными вопросами, а значит, и ответов на них не ищут. Не задумываются чукотские литераторы и о том, что происходит сейчас. Тот же Рытхэу никак не отступит от стереотипов. Он даже не чукотский, а скорее русский, точнее — советский, писатель. Нет в чукотской литературе и настоящего героя, который мог бы стать национальным символом, через которого Россия и остальной мир поближе узнали бы Чукотку, поняли заботы и беды живущих здесь людей. Никто не поведал, какие духовные изменения произошли на Крайнем Севере и какие внутренние противоречия испытывают коренные жители после распада СССР. Хотя бы одним предложением, одной фразой кто-нибудь разродился...

Ольга Павловна считает, что писатель, если только он хочет быть услышанным и понятым, должен разговаривать доверительным, негромким и спокойным тоном. Северяне во многом разуверились. Их все время обманывали: обещали, призывали, укрупняли, разукрупняли... Теперь люди уже ничего не ждут. Они смирились с тем, что их все равно обманут. Чукчи и эскимосы горделивы. У них нет комплекса неполноценности. А внутренняя гордость у них — от сознания того, что только они могут жить там, где больше не сможет жить никто. И работу свою могут выполнять только они. Им, конечно, обидно, что в хо-

ду анекдоты про чукчу, недоразвитого и слабоумного. Но относятся они к этим анекдотам с юмором и сами не прочь их рассказать.

Откуда пошли эти анекдоты? Скорее всего от самих чукчей. В одной из статей некто Борис Шишлов написал, что «основоположником» анекдотов про чукчу следует считать Юрия Рытхэу. Дескать, в его произведениях чукча выведен однобоко, только с внешней стороны, запечатлен лишь в рудиментарных, единичных действиях: просыпается, умывается, чистит зубы, ест, влюбляется, слушает музыку, ходит в театр... То есть совершает то же, что и остальные. Писатель словно доказывает: чукча — тоже человек. Рытхэу добросовестно пишет о чукчах, но так, как его учили и как должен писать о малых народах советский писатель. А нужно нечто иное. Почему-то американский индеец выведен в герою. Он сильный, ловкий, отважный, метко стреляет — словом, мужчина во всех смыслах. Чукчи или эскимосы — тоже ловкие стрелки и искусные охотники. Они не менее отважны, а сфера их жизнедеятельности шире и романтичнее: здесь есть море, Ледовитый океан.

Валентин Яковлевич, вероятно, я вторгаюсь во что-то мне неизвестное, но я лишь передаю слова чукотского литературоведа, собирателя и охранителя духовных ценностей, а кроме того — чуткой и внимательной женщины, чукчанки, прекрасно говорящей на родном языке и у которой не грех поучиться русскому. Я и сам размышлял, откуда пошли анекдоты про Василия Ивановича и Петьку, пока в очередной раз не посмотрел «Чапаева».

...Когда говорят о национальной литературе, имеют в виду и язык, и духовную первородность, и неотрывность от земли, со всей ее историей, с бедами, несчастьями и радостями, которые на этой земле произошли. И донести до остального мира все это можно лишь тем языком и с той душевностью те, которые родились, выстояли, а затем, любя и страдая, просуществовали на этом куске земли, унаследовали ее память, впитали ее соки и ароматы, усвоили все цвета и оттенки, уловили каждый звук и даже шорох и воплотили затем в творении богобоязненного, но отчаянного человека. Но если то же самое, твое, исконное, родное, стараться донести с помощью чужого языка, иной формы и другого миропонимания, получится лишь анекдот, и хорошо, если смешной. Если бы меня перенесли в ярангу и доверили настругать обледенелого чира, то есть совершить нечто простое, вроде нарезки хлеба или очистки картофеля, то действия мои вызвали бы бурю смеха у местного населения. А представьте наше с Вами участие в охоте на нерпу или лахтака! Поверьте, не будет нелепее картины, если перенести на заснеженные тундровые просторы пушкиногорских гусей с коровами и огласить величественное безмолвие чукотских далей хрипловатым гоготом и унылым мычанием. Да если к этому добавить лягушачье кваканье, едва слышную гармонь из соседнего селения и чью-то брань... Обхохочешься.

Крайний Север и Чукотка полны преданий, легенд, сказок и сказаний, которые формируют и уже сформировали своеобразный пласт, из которого произойдет национальная литература. В этом смысле чукотская земля напоминает Россию предпушкинского века. И если только найдется избранный, способный услышать, увидеть, прочувствовать и все это ясно передать, появится художник, который скажет и напишет о Чукотке так, как сказал бы и написал каждый ее житель, если бы умел это делать. Мне кажется, что это будет женщина...

Ольга Павловна считает, что так и произойдет. Она верит в молодых писателей и поэтов, знающих язык, могущих на нем изъясняться и писать. Верит и в то, что новые таланты будут поддержаны властями и бизнесменами, что они смогут издавать свои произведения, и из тоненьких «Записок Чукотского литературного музея» вырастет толстый литературный журнал или альманах, вокруг которого объединятся писатели и поэты — чукчи, эскимосы, эвены, коряки, юкагиры, все национальности Чукотки, включая русских.

Что касается книг, написанных о Чукотке писателями материковыми, если так можно выразиться, то здесь я доверюсь мнению Олега Куваева. Он высказывается в письме к другу, тоже писателю:

«...В литературе есть три Севера. Север ранней эпохи в дневниках полярных путешественников XVIII—XIX веков. Страшный, мрачный, ужасный и так далее. Север Джека Лондона — где борьба человека и природы идет на равных. И есть книга Бориса Горбатова «Обыкновенная Арктика». Я убежден, что в советской художественной литературе об Арктике равных этой книге не было и нет...

...Я внимательно слежу за тем, что печатается на «полярную тему» в журналах. Все это, в том числе и мое, перепев трех мотивов — Джека Лондона, Бориса Горбатова и неких вейний журнала «Юность» конца шестидесятых. Жестоко, но это правда. Нет индивидуальности, нет прозаика, который бы открыл новую грань в новые времена системы Арктика — человек...»

Написано в 1970 году, а умер Олег Куваев в 1975-м.

А вот как мыслил когда-то Чаадаев: «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать».

Оставим конъюнктурщиков, негодяев, писак, просто бесталанных, коих во времена Петра Яковлевича было не меньше (иначе бы он не породил такой пафос). Забудем о всем постыдном, что дала советская литература. Речь о другом: как относиться к тем, кто искренне желал донести о своей родине правду, но «обманывался»? Как быть с теми, кто «добросовестно заблуждался»?

Крайний Север — составная часть всемирного мифа о совершенном обществе и гармоничном человеке. Не о коммунизме речь, о гораздо большем — о мечте. На Севере этот миф рухнул позже, потому что Север — дальше. Север не такой, как остальной мир, и всякий, оказавшись здесь, сам оказывался «не таким». В обществе идеологизированном, где власть зиждется на насилии и лжи, Север — одна из немногих правд и одно из немногих мест, где человек не испытывал в такой степени унижения от раздвоения личности. Можно сказать, что Север был прибежищем Правды. Мучительные вопросы: «Как жить не по лжи?» или: «Как во лжи жить?» — не ставились здесь столь апокалиптически. Тяжелые условия, их сейчас называют экстремальными, не позволяли доминировать «героям» с низкими моральными качествами. Низкое здесь гасится, как гибнет зловерный вирус на устойчивом морозе.

Северяне лучше знают, когда именно романтизм уступил место прагматизму. Вероятно, то и другое существовало всегда, только в разных пропорциях. Но прагматизм стал доминировать в одночасье, и не только на Севере. Поколение студентов пятидесятых и шестидесятых — счастливейшее из поколений уходящего века: им грезилась лучшая жизнь, они верили в мифы и, главное, воплощенные этих мифов ставили в прямую зависимость от своей деятельности. (Счастливейшее, потому что за это их не убивали и от них не требовалось никого убивать.) Они и до сих пор находятся во власти мифов и оттого проигрывают повсюду, где в цене прагматизм и расчет. Новые поколения принимают эту добродетель за социальное уродство и в лучшем случае посмеиваются.

«Мещанский конформизм, который проникает в нашу жизнь,— страшная сила. Я знаю многих людей с великолепными и любимыми специальностями, которые работают клерками в каких-то конторах, лишь бы не уезжать из Москвы... Это можно было бы понять, если бы они любили именно этот город. Они его не любят, но престижно жить в центре.

Вторая болезнь все того же мещанского конформизма — болезнь накопительства и приобретательства. Сейчас она со скоростью эпидемии распространяется на Севере. Она при жизни делает человека глухим, слепым и мертвым ко всему, кроме мечты о собственных «Жигулях» и какой-то даче. Вот будет «это», и все будет хорошо. А это ложь. Хорошо уже не будет, так как человек отравлен».

Эти строки принадлежат все тому же Олегу Куваеву.

Что бы сказал сейчас, спустя четверть века, этот наблюдательный художник, почитаемый на Чукотском полуострове и в Магадане? Какими бы словами отозвался, глядя на то, как многие из его героев покинули воспетый им Север и

живут в ухоженных квартирах, на роскошных дачах или в коттеджах, а ездят на чем угодно, только не на «Жигулях»? Что бы вывел пером, пройдясь по заброшенным поселкам и оставленным селениям? Что бы посоветовал бы певекчанам, марковцам или билибинцам, болеющим «накопительством»... на спасительный отпуск или на учебу детям? Неужели упрекнул бы за приобретательство навыков по выживанию там, где уже и жить невозможно, и правил бегства не существует? И как бы теперь назвал свой роман?

А теперь зададимся вопросом, имея в виду тех, кто будет после нас: какое им дело, обманывались мы или кто-то нас обманывал? Что им наши нравственные страдания и искания, разочарования и внутренние противоречия, если «обманываясь», мы своей неправдой обманули их? «Отсутствие разменной монеты не освобождает от ответственности за безбилетный проезд», — так было написано в каждом советском трамвае. Но приглядитесь: не то же ли написано и на небесах?

Надеюсь, Вы мои литературоведческие изыски никому не покажете.

Р. S. Пересылаю Вам заклинание шамана. Вот образец настоящей литературы Чукотки!

Заклинание для приручения диких оленей

(Из книги В. Г. Тана-Богораза «Чукчи»)

«Это диво! Это диво! Я вытаскиваю твою сердечную жизнь [tetkejin] вместе с аортой. Я тащу их через твой задний проход и присваиваю их себе. (Человек, произносящий заклинание, поднимает с земли две щепки или два стебля, вынутые из оленьего следа, и вкладывает их в свою левую рукавицу. Вернувшись домой, он заворачивает их в кусочек кожи и подвешивает над лампой во внутреннем положе.) Это диво! Это диво! Я вытаскиваю твой желудок. Я тащу его через твой задний проход и кладу, как мешок, на твой нос. Это диво! Это диво! Я превращаю тебя в ручную важенку. Как же так! Иди и пощи мужа себе среди людей Утренней Зари. Это диво! Это диво! Ты принес сына небесной трещины. Это диво! Это диво! Ты принес сына верхушки Утренней Зари. Это диво! Это диво! Ты принес сына «отдельных облаков». Это диво! Это диво! Я поставил тебя на широкую скалу. Это диво! Это диво! Я поставил тебя в огромный овраг. Это диво! Это диво! Камнями, падающими с обеих сторон, я делаю глаза твои невидящими. Это диво! Это диво! Камнями, падающими с обеих сторон, я делаю твои уши неслышащими. Как? Я привязываю камни к кончикам твоих волос. Как? О, Зенит! Дай мне твой поражающий камень... (Человек, произносящий заклинание, делает вид, будто он что-то берет левой рукой.) Я положу его этому на темя, между рогами. Как? Я поставил тебя на огромное озеро. Это диво! Это диво! Я ставлю тебя, слепого, на ледник, который трещит и раскалывается с оглушительным шумом. Как? О, Зенит! Дай мне твою раздвоенную палку, я положу ее на эту шею. Стадо будет на нее наступать с обеих сторон.

От Вселенной заговор ее я прошу. От Передней головы правого упряжного оленя прошу; смиренного быка прошу, впереди идущего в обозе. С аортой дикого оленя я их связываю. От середины Зенита сердечную жизнь извлекаю, этим ударяю тебя. Потом зову: «Ка, ка, ка!» Убежать не может по окончании связывания. Песчаную реку дорогой делаю, западный ветер зову и восточный ветер, чтобы от всех жителей дым принесли. Костер перед дверью развожу, большой очаг делаю. Потом я говорю: «Главный гость ты! Войди! Потом поедим дома, самую лучшую еду есть станем. Ты жену возьми, главный зять, ты!» Назавтра кочует народ, действительно желание идти с обозом обнаруживает [дикий олень]. Немного погода прирученного оленя убивают, весь заговор отдают обратно хозяевам. Правого оленя Передней голове возвращают. Потом делают колобки, все ветры кормят, в разные стороны бросают. Только».

Сообщил Аппавант, олений чукча
в Колымском округе

15 декабря. Анадырь

Валентин Яковлевич!

Вслед первому высылаю еще одно письмо.

Был в храме, где познакомился с молодым настоятелем — отцом Сергием. Храм неприметный, приземистый, видно, что перестроен. Находится в стороне от города, на вытянутом полуострове, с одной стороны которого река, с другой — лиман. Храм этот — самый восточный православный храм на всей Земле! Зная это, по-особенному смотришь на него, вглядываешься в иконостас, иначе звучит и проповедь. Место, на котором находится храм, называлось (и сейчас называется) Ново-Мариинск. Это самая старая часть Анадыря. Здесь до сих пор стоят несколько дореволюционных домов и склады какого-то американского предпринимателя. Казаки, основавшие острог, назвали его, как считает настоятель, в честь Марии Магдалины. А в топонимическом словаре утверждается, что острог назван «в честь царицы Марии». Я больше верю отцу Сергию, да и Мария из Магдалы мне ближе.

На месте, где сейчас церковь, до революции стояла часовенка. Она считалась самой далекой во всей России. Отец Сергей утверждает, что на этом месте благодать Божия. И действительно, когда в Анадыре метёт, на этой небольшой косе — тишина и покой. Чукчи — признанные мастера по нахождению лучших мест для проживания, и, возможно, казакам это место подсказали именно они. А может, чукчи здесь жили, а казаки их согнали.

Православная община Анадыря зарегистрирована в 1993 году. Священника сначала не было. Он приезжал из Магадана, где расположена епархия. Затем в храм был назначен настоятель — иеромонах Питирим. Его и сменил отец Сергей.

Он родился в 1963 году во Ржеве, Тверской области. Там же закончил среднюю школу и машиностроительный техникум. Затем отслужил на Балтийском флоте и вернулся во Ржев, где проработал год. Потом уехал на Чукотку, где работал семь лет в строительно-монтажной организации. О службе Богу не помышлял. Но вот в Анадыре восстановили церковь и он стал ее посещать. Участвовал в службе и помогал настоятелю Питириму. Богословского образования у отца Сергия нет, но есть практика службы в кафедральном соборе Магадана. Там он был рукоположен в диаконский сан и под руководством отца Питирима совершал службу в течение года. Затем был возведен в сан иерея и послан в Провидения настоятелем храма, где прослужил два года. Храм сгорел и до сих пор еще не восстановлен. Народ здесь небогатый, мягко говоря, на восстановление храма и на то, чтобы содержать священника с семьей (у отца Сергия к этому времени было трое детей), денег не было. Не было и помощи извне. Когда иеромонаха Питирима перевели в Магадан, отцу Сергию предложили перебраться в Анадырь и совершать богослужение в Новомариинском храме. Он подчинился и с тех пор живет и служит в Анадыре. Недавно у него родился четвертый ребенок — Василий.

...Лишь однажды я разговаривал со священнослужителем. Это было десять лет назад в Варшаве у костела св. Якова, рядом с могилой священника Ежи Попилушко, зверски убитого польскими гэбистами. В то время большего атеиста, чем я, не существовало, и разговор свелся к тому, что я доказывал, что Бога нет, а ксендз объяснял, что Бог есть и я нахожусь на пути к Нему, чем злил особенно. Я бы поверил в существование Бога тотчас, но для этого надо было, чтобы Сын его прошел на моих глазах «по морю, яко по суху» или хотя бы воскресил Лазаря. Тексты Священного Писания были мне недоступны, нагорная проповедь и притча о блудном сыне казались сентиментальными сказками, а главной ценностью в то время для меня был «Закон о кооперации в СССР». И вот, спустя десятилетие, на краю земли я встретился с православным священником, который к тому же моложе меня.

Отец Сергей довольно настороженно принял меня в небольшой комнатке, где он уединяется для работы. Это и есть бывшая Новомариинская часовенка. Письменный стол. Телефон. Книжный шкаф. Кровать. Шкаф для одежды. Иконы.

Разговор поначалу не клеился. Я больше говорил о мирском, в частности, о Пушкине, а отец Сергей о Божием. (Александр Сергеевич, видимо, не лучшая верительная грамота при знакомстве со священнослужителем.) В конце концов мы, кажется, стали понимать друг друга лучше. Я записал разговор и конспект этой беседы пересылаю Вам.

— Я много езжу, вижу, как трудно живется людям. Но здесь, на Чукотке... Такие цены и такая зарплата!

о. СЕРГИЙ. Я священник, для меня цены, финансы, экономика, политика...

— Понимаю. Это брэнное, но людям живется трудно. Вероятно, вы это знаете. Нельзя же отрешиться и говорить, что не хлебом единым жив человек, когда этого хлеба нет... К вам приходят люди, жалуются, ищут утешения?

о. СЕРГИЙ. Приходят постоянно, и я слушаю их сгования. Скажу откровенно: я советую тем, кто здесь жить уже не может, в частности пенсионерам, при первой же возможности покинуть Север. Дело не в том, что я не патриот Чукотки. Церковь прежде всего печется о духовном здравии паствы, а здесь далеко не у каждого есть возможность совершать богослужение, таинство исповеди, духовно совершенствоваться. У нас один священник в Анадыре, второй — в Билибино. Люди годами живут без исповеди, без покаяния, не могут принять святое крещение! А ведь без этого есть угроза отойти к Богу без покаяния, без отпущения грехов, без причастия. Для христианина, для его души — это страшнее всех материальных трудностей.

— Что же вы советуете тем, кто не может покинуть Чукотку?

о. СЕРГИЙ. Им поддержка наша духовная и утешение. Оказать помощь материальную мы, увы, не можем, так как жертвуют нам немного. Ну а тем, кто пытается жить мирской жизнью, надо прилагать старание для материального благополучия. В том нет греха, если человек честно трудится, зарабатывает и безбедно живет. Не надо только забывать о душе. А служить одновременно Богу и золотому тельцу непросто.

— Но люди живут плохо оттого, что не выплачивают зарплату, а той, что получают, недостаточно, чтобы достойно жить. Врачи в Билибино — не знаю, верующие они или нет, — трудятся на совесть, лечат, принимают роды, но им с апреля не платят. Как им жить? Они-то свой долг выполняют: и гражданский, и профессиональный, и человеческий. Может, они себя считают атеистами, но поступают по-Божиему.

о. СЕРГИЙ. Конечно, те люди, о которых вы говорите, поступают по заповеди Божией. Врачи, учителя, военные работают, несмотря ни на что. А те, кто им не платит... Слово Божие говорит: «Не удержиши мзды наемничьей». Невыплата зарплаты — нарушение заповеди. Если ты обязался выплатить своему наемнику им заработанное, то должен это сделать до вечера. По заповеди, даже на другой день не имеешь права переносить.

— Значит, невыплата зарплаты — грех не только перед людьми, но и перед Богом!

о. СЕРГИЙ. Конечно. Но почему у государства нашего нет возможности выплачивать зарплату? По тем же причинам. Отступление от заповеди Божией влечет искажение всего мировоззрения. Когда жизнь строится без упования на Бога, тогда ничего не получается ни в экономике, ни в финансах, ни в политике. И у людей тоже ничего не получается. Своими силами, без Бога, что наше брэнное естество может построить? Только башню Вавилонскую... Здесь, в этой комнате, где мы беседуем, была часовенка. Ее построили казаки в благодатном месте, и люди в ней молились. А после революции из часовенки сделали склад, затем переоборудовали в клуб, в котором устраивали песни и пляски, потом переделали в магазин и торговали водкой...

— Отец Сергей, на какие средства вы живете? Ведь четверо детей, жена... Здесь если не будешь хорошо питаться — замерзнешь. И одежда нужна хорошая. Кроме того, нужны деньги на отпуск...

о. СЕРГИЙ. У меня минимальные запросы в пище и в одежде. Как христианину мне проще, потому что большая часть времени в году — пост. Постных дней около двухсот пятидесяти. Кроме того, слава Богу, у нас водится рыба. Есть красная, есть белорыбица. Мы, взрослые, в продуктах ограничены, но стараемся побаловать детей, чтобы они витамины получали. Покупаем для них творог, сметану, масло. Мясо, конечно, далеко не везде даже для детей. Мы в семье его редко едим. Еще есть то — спасибо людям! — что приносят в храм в качестве пожертвований: крупа, макароны, хлеб, выпечка. Пьем в основном чай. Едим варенье из морошки. Компотов и соков, конечно, не видим, потому что цены для нас высокие. Картофель тоже бывает не часто. Такая вот наша пища. Что касается отпуска, то выезжаю я за пределы Чукотки редко.

— За границей бывали?

о. СЕРГИЙ. Кроме Украины, не был нигде. Меня и не тянет. Я патриот... Разве что на Святой Земле бы съездил. А глядеть на «цивилизацию» у меня особого желания нет.

— Не страдаете от одиночества? Не хотели бы встречаться с такими же священнослужителями? Понимаю, вы патриот, но разве не хочется увидеть соборы Франции и Италии, картины Рембрандта, Рафаэля или Леонардо? Или если не творения человека, то природу — фиорды Норвегии, каньоны Америки, море?... А Афон или Рим? Или хотя бы Суздаль, Владимир, Новгород? Встретиться там с братьями... Ведь хотя бы раз в год необходимо странствовать. И еще, вам надо следить за религиозной жизнью, приобретать книги. Сейчас их довольно много издают.

о. СЕРГИЙ. Приобретать книги мы должны в епархии. Но сложно с доставкой. Проще бы доставлять из Москвы, но там надо иметь доверенного человека, который бы закупал книги и переправлял на Чукотку. Что до моего одиночества... Я обязан очищать совесть и душу таинством покаяния, должен исповедоваться. А в этом я ограничен так же, как и миряне. Им даже проще. Они приходят ко мне, а мне прийти не к кому. Мне тяжело совершенствоваться духовно. Я рукоположен недавно, опыт у меня небольшой, и духовность моя недостаточна, чтобы длительное время выдерживать без исповеди, как пустыnnики. Я совершаю богослужение, литургию, причащаюсь и перед этим должен очистить совесть покаянием. Если я долго не исповедуюсь, мне тяжело. Это моя самая большая трудность.

— Вы обращались к кому-нибудь за помощью? Например, к губернатору, чтобы он помог с билетами на самолет?

о. СЕРГИЙ. Я нахожусь на послушании. Есть правящий архиерей, который распорядится всем моим временем, является моим отцом и руководителем. Без его благословения я не могу покидать приход. Раньше, когда с транспортом было легче, из Магадана приезжали священники, и можно было исповедоваться. Сам епископ часто ездил по Чукотке. По правилам апостольским и соборным постановлениям он должен раз в год объезжать епархию. Но у нас уже скоро год, как назначен епископ, а приехать к нам не может. Нет средств.

— В поселках люди не могут причаститься или исповедаться, но если бы это от вас зависело, вы совершали бы миссионерские визиты?

о. СЕРГИЙ. По возможности я их совершаю. По благословию нашего епископа побывал в Беринговском, летом был в Providения. К сожалению, это все. Я бы и рад побывать везде, но местному приходу пришлось бы потратить все сбережения только на билет. Не осталось бы денег на свечи, на книги, на обустройство храма. А там, в глубине Чукотки, надо бывать. Во многих районах развились секты из Америки. Да и в самом Анадыре они существуют. У них нет трудностей с деньгами. Они покупают благоустроенные квартиры, устраивают приходы и заманивают прихожан. Особенно коренных жителей. Противостоять им трудно.

— Может статься, что на Чукотке, а возможно, в самом Анадыре, родится первый младенец двухтысячного года. Кто знает, может, его принесут в этот храм и вы будете крестить его. Что бы вы пожелали этому младенцу?

о. СЕРГИЙ (после паузы). Кто бы ни родился, мальчик или девочка, русский или коренной, каким бы ни было это чадо, если Господь дарует ему милость появиться на свет, дарует бытие, то хочется пожелать, чтобы ребенок был здоров, хотя на Чукотке это непросто. Я говорю о телесном его здравии. А по духовному здравью — чтобы он познал Истину. И если я буду его крестить, он получит в первую очередь очищение греха первородного. Если это произойдет в нашем храме Преображения Господня, то это будет для нас радостным событием.

16 декабря. Анадырь

Здравствуйте, Борис Исаакович!

Пишу по следам посещения краеведческого музея, где я сегодня разглядывал графику на моржовом клыке.

Между прочим, не только клыки моржовые используются для поделок, но и иные части этого безобидного животного. Оказывается, у моржа детородный орган тоже из кости, во что трудно поверить. Органы эти в большой цене, и их стараются привозить на материк. Утверждают, лучшего сувенира не придумать. Оставляя прочее, все тотчас обсуждают подарок, строят догадки и предположения, воображают, что и как происходит. При этом жалеют моржих...

Я увидел эти удлинённые предметы неожиданно. В музее стоит небольшой столик на оригинальных и не совсем ровных ножках. Стал я разглядывать эти ножки и поинтересовался, из чего они сделаны. Оказалось, из «мужского достоинства моржа», проще говоря, из хрена моржового. Вот у Вас есть небольшой столик, за которым мы пьем чай. На него я бы не рискнул поставить что-нибудь тяжелое, а на тот, что в музее, можно хоть садиться, столь прочен он и устойчив.

Дорогой Б. З., о столь важном с искусствоведческой точки зрения объекте умолчать не могу. Без него панорама Чукотки не будет полной. Может, я приобрету пару таких «достоинств» и привезу их в Москву.

Теперь о графике на клыке.

Если миниатюрную скульптуру относят к древнему искусству, то графика на клыке — искусство новое, возникшее только в конце прошлого века. Предназначалась она исключительно для американцев как сувенирная продукция.

Границы как таковой между Америкой и Россией не было, и на Чукотке всю хозяйничали американцы. Помимо моржей, китов, пушнины и оленины, они пронюхали про здешнее золото. В 1908 году за две недели они добыли неподалеку от Анадыря три пуда. Это по три с половиной килограмма в день! Билибинский ГОК добывает по пять, и считают, что это хорошо. Так ведь, кроме золота, американцы добывали морского зверя, рыбу, оленей, причем такими темпами, что местному населению ничего не оставалось. Все это вывозили в Америку, а взамен привозили всякие цацки, вроде бисера. Наивные туземцы и этому были рады. Но ладно бы только бисер! Американцы бочарный спирт и спаивали население. Это продолжалось и после установления советской власти, которая на первых порах была не в состоянии оказать сопротивление.

Я пришел в ужас, когда узнал о том, что здесь творилось. Мне казалось, что в далекой тундре, кроме кочующих племен, никого не было, что край этот был глух, нем и совершенно неведом миру. Ничего подобного! И в прошлом, и в нынешнем веках на Чукотке без ограничений действовали всевозможные организации и концессии, среди которых особенным хищничеством отличалось Северо-Восточное Сибирское общество во главе с американцем Свенсоном. В двадцатые и даже в тридцатые годы американцы, англичане, японцы отсюда не вылезали. С ними заодно были и наши «предприниматели». Между этими хищниками, в сравнении с которыми полярный волк — агнец, находились тщедушные северные народы. Береговые чукчи и эскимосы разговаривали по-английски, а дети наиболее состоятельных из них учились на Аляске. Даже законы в этих местах устанавливали американцы. Чукчи-посредники давали оленеводу за двадцать пыжиковых шурупов двадцать швей-

ных иголок. Соотношение стоимости — пятьдесят к одному! Песца у охотника покупали за пять рублей, а продавали скупщикам за тридцать. За одну сушку (даже не бублик!) посредник брал белку. Я даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы охарактеризовать то жуткое положение, в котором оказались чукотский оленевод, рыболов или охотник. Американцы вели себя на Чукотке так же, как у себя в отношении индейцев. И, конечно, вывозили, вывозили, вывозили...

Потом на Чукотку пришла советская власть. Установила новые законы и порядки. Чукчи и эскимосы заговорили по-русски, а их дети стали учиться в советских школах. Началась классовая борьба, раздуть которую наши миссионеры в штатском были горазды. И опять — вывозили, вывозили, вывозили... Золото, пушнину, оленину, кости мамонтов, клыки моржа, все, что только можно. Взамен завозили спирт. Вывозили и самих аборигенов. Обучали их нашему языку, нашей науке и, конечно, нашему искусству.

И что же? Может, от вывозимого богатства, от золота, пушнины, нефти, никеля, алмазов и прочего, чем богат Север, богатели чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы, юкагиры — наподобие того, как разбогатело население Кувейта или Саудовской Аравии? Как бы не так! Шагающие в торбасах по таблице Менделеева северные народы — от Кольского до Чукотского полуострова — не просто нищие. Они вымирают.

Какой толк от добытого золота и от продажи нефти? В чем выражается пресловутое богатство тайги и тундры? Ведь полностью не газифицирован даже Салехард — столица Ямало-Ненецкого округа, добывающего более половины российского газа и нефти! Какой прок от алмазов, платины и прочих драгоценностей? Где и в чем это вывезенное богатство? Уж не в сникерсах ли, которых на Чукотке в избытке?

Ну хорошо. Вывозили все это в центр страны, на так называемый материк. Так, может, за счет грабительской экспансии разбогатели русские, украинцы, белорусы, казахи?... Тоже нет. И те, и другие, и третьи, и прочие могут спорить до хрипоты, кто из них более нищий. И, знаете, никогда не выяснят.

Все это добро уходило за рубеж, в обмен на доллары, которые наши чиновники публично ненавидели и втайне любили. Не надо было рисковать американским бизнесменам, тащиться за тридевять земель в холодные пустынные края и вербовать в посредники алчных алитетов. Посредник нашелся лучше некуда: наше государство, время от времени меняющее кумач на триколор, звезды на орлов, но, в сущности, остающееся прежним. Это его полномочные представители соперничали между собой за право вбить колышек, поставить вышку, раскопать сопку, спилить дерево... Что делать с этим «наследством» нынешним начальникам Чукотки? Как выбраться из вековой трясины грабежа, беззакония и мародерства? Где найти силы и средства, чтобы остановить распад и спасти огромную часть России, которая, кажется, не нужна уже и мародерам?

Дорогой Б. З., в 1978 году я несколько месяцев работал на стройке под Сургутом и только раз видел ханта. В 1959 году к северо-западу от Сургута было 62 национальных поселка. Теперь остался один! Думаете, на Чукотке по-другому? Простите, но я должен об этом сказать. А то мы все об искусстве да об искусстве.

Кстати, а каким в этой ситуации могло быть искусство? Могло ли оно сохраниться, если вторжение в жизненный уклад северных народов было столь всеобъемлющим? Я даже не знаю: графика на моржовом клыке — народное искусство или это своеобразный продукт социальной деформации? Ведь графические изображения на моржовом клыке появились, существовали и до сих пор существуют как сувенирная продукция, рассчитанная на пришельцев. Мы ли это будем, американцы или японцы, не важно. Важно, чтобы за нее платили...

И платят, и будут платить, потому что графика на моржовом клыке завораживающе прекрасна.

Расписанный в нежных, неброских и плавных тонах, тщательно обработанный клык сам по себе интересен и привлекателен. Глядеть на него — одно удовольствие. На нас, «цивилизованных», производит впечатление еще и то, что это

часть огромного и недоступного животного, обитающего в далеком северном море. Этим клыком он распахивал берег при передвижении, вспарывал брюхо сопернику и, уж точно, ласкал моржуху. Затем клыком завладел охотник и отдал его в мастерскую Уэлена или Инчоуна. Там его обработали, отполировали до зеркальной поверхности и передали художнику-граверу. Он нанес на клык рисунок, выгравировал его специальным инструментом и затем раскрасил.

Если миниатюрные скульптуры передают пластику северного человека, то гравировка на клыке повествует о его жизни. Можно сказать, что каждый гравированный клык — это своеобразная книга, включающая самые разные сюжеты, в том числе придуманные, воображаемые или желанные. Я видел клык с изображением Ленина. Он сидел на пригорке, в накинутом на плечи пальто, в окружении чукчей и, видимо, рассказывал им о революции. Быть может, есть клык, который изображает пребывание на Чукотке Пушкина или Льва Толстого. Ведь если Чукотку посещали видные советские художники, литераторы и работники искусства, то чему-чему, а фантазии нашей реалистичной они местных умельцев научили.

И все же главное, о чем рассказывают изображения на клыке, — это быт чукчей и эскимосов, их повседневная жизнь: тяжелая, полная опасностей и тревог, на берегу и на море, в тундре и в яранге, зимой и летом.

Вот клык, на одной стороне которого изображена охота на кита...

Огромный морской зверь, для которого утлое суденышко, что щепка, ударил хвостом, и охотники вмиг очутились в ледяной воде. Скорее всего они обречены. Метатель гарпуна, несмотря на то что выброшен в море, не выпускает веревку. Раненый кит увлекает его в морскую пучину. Идет охота. Та самая, изначальная, жестокая и священная, что дает прокорм и обеспечивает жизнь. Изображена лишь первая фаза трагедии, у которой будет печальное продолжение. Гибель охотников может привести к гибели и их семей. Если не добыт кит — целую зиму в поселке не будет еды. Нередко китовое мясо — единственная пища. Возможно, за жестокой схваткой наблюдают, стоя на высоком берегу, старики и дети. Трагедия происходит у них на глазах, но они не в силах помочь. Лишь спустя годы страшные и горькие воспоминания об этом роковом дне свидетель отобразит на клыке, и благодаря ему мы узнаем о беде, случившейся на побережье северного моря.

А на другой стороне клыка изображена жизнь на берегу. Оставшиеся в поселке женщины еще не ведают, что происходит на море, и всецело заняты тяжелым трудом. Вот они направляются в тундру собирать корни и листья, без которых не обходится ни одно национальное блюдо. Впереди опытная чукчанка, кажется, знающая о тундре все. Она рассказывает девушкам о чудодейственной пользе того или иного растения, а заодно знакомит их с окружающим миром, показывает озера, реки и сопки — вспоминает легенды и предания. А молодые стараются уловить каждое слово, интонацию, даже малейшую нотку. Как скоротечно лето в тундре, так скоротечна и сама жизнь, и вскоре уже они поведут за собой подросших девочек и будут рассказывать им то, что слышат сейчас. И так бесконечно... А другие женщины в это время обучают щенков. Они возвращают из этих забавных и милых существ надежных и верных помощников, готовых ценой собственной жизни спасти хозяина. Собак особенно кормят, учат, обкалывают на небольших нартах, доверяют возить детей по поселку, а затем подросшего щенка могут впрячь и в настоящую упряжку, рядом с опытным псом или даже с вожаком, и уже вожак будет учить вчерашнего щенка законам и правилам тундры. Вот и здесь все построено на преемственности.

Художники изображают жизнь даже внутри яранги, для чего «просвечивают» чукотское жилище, делая его прозрачным. И тогда мы видим, как заботливая мать или бабушка укладывают ребенка спать, накрывая его мягкой пыжиковой шкурой. И, пока тот не уснул, они не спеша, нежным северным голосом рассказывают ему сказки. О-о-о-о! Это необычные сказки, лишённые откровенных назиданий и уроков. Послушайте одну из них:

Куркыль и лисята

Жили-были вороны Куркыль и Митинеут. Были у них дети. Неподалеку жила другая семья: лисица с лисятами. Как-то раз пошли лисята на берег моря собирать морскую капусту и увидели там убитую нерпу. Хотели ее забрать, но тут появился Куркыль. Лисята сели на нерпу, чтобы закрыть ее от вороны.

«Что это у вас?» — спросил Куркыль.

«Плавник», — ответили лисята.

«А разве бывают у плавника глазки?»

«Бывают».

«А бывает у плавника шерстка?»

«Бывает».

Видит Куркыль, что непросто согнать лисят с нерпы. Стал хитрить: «Подойдите ко мне, поищите у меня блошек».

«Я не могу, глазки болят», — говорит самый старший из них.

«И я не могу. У меня тоже глазки болят», — поддержал его средний лисенок.

А младший не удержался и соскочил со своего места. Куркыль изловчился, схватил нерпу и улетел. Остались лисята без еды. Зато Куркыль сытно поужинал. Разозлились лисята, встали среди ночи, подкрались к яранге вороны, набрали грязи и набросали в котел с остатками нерпичьего мяса.

Утром Куркыль, как только проснулся, позвал жену: «Митинеут, налей-ка мне бульону и принеси мяска».

Зачерпнула старая ворона из котла бульон и принесла мужу. Попробовал Куркыль еду и рассердился: «Знаю, кто мне испортил обед! Это дети лисы. Всех поубиваю за это».

Схватил копьё и побежал в соседнюю ярангу. Видит, играют лисята как ни в чем не бывало и не обращают на него внимания. А младший, заметив Куркыля, закричал от радости: «Смотрите, дедушка пришел!» Окружили его лисята и давай петь песенку про веселого соседа:

И-я-я, и-я-я, и-я-я, хок! Хэй!

И-я-я, и-я-я, и-я-я, хок!

Тут и прошла вся злость у Куркыля. Забыл даже, зачем прибежал. Стал играть с лисятами. Так играл, что устал и захотел спать.

Проводили его лисята в ярангу, а сами вернулись к матери. Все».

Так художник-гравер «приоткрыл» ярангу в далеком Нунымо, и я увидел бабушку, рассказывающую внуку сказку. Когда мальчик подрос и ему исполнилось десять лет, он вспомнил сказку и пересказал ее собирателям фольклора. Сказка вошла в небольшую книжку и спустя тридцать лет перекочевала в мое письмо к Вам. Давно уже нет поселка Нунымо, скорее всего не осталось в живых бабушки, неизвестна судьба памятливого мальчика, но остались от них Нежность и Правда, запечатленные в небольшой книжке и на гладкой поверхности клыка.

17 декабря. Анадырь

Наиль, привет из столицы Чукотки!

Ветер — первое, что обращает на себя внимание. После уютного и убаюкивающего Билибино мне здесь беспокойно. Второе, что привлекает, — местные красавицы. Еще в Москве меня предупреждали, что среди северного народа попадаются такие экземпляры, от которых можно потерять голову. Вроде бы даже приезжают за ними из парижей, лондонов и нью-йорков. Там привыкли уже ко всему, а северными нимфами еще способны восхищаться.

Я обратился к директрисе краеведческого музея с просьбой познакомить меня с коренными девушками. Свою просьбу я мотивировал сугубо академическим интересом: мол, необходимо обозреть панораму жизни на Чукотке, а такая будет неполной, если я не донесу до читателей образы чукотских красавиц. На мои невинные пожелания отозвались, и спустя два дня в музей пришли сразу шесть девушек. «Это для начала», — сказала директриса.

Идея присмотреться к северным красавицам пришла мне еще в Кепервееме. Там разговор зашел о коренных девушках, и работницы Дома культуры решили тотчас продемонстрировать местных красавиц. Сейчас я сожалею, что не записал подробных сведений о них и даже имен не запомнил, знаю только, что одна девушка — чуванка, а вторая — чукчанка. У чуванки лицо почти европейское, светлое, глаза карие, взгляд кокетливый, даже соблазняющий. Такая за просто охмурит и уведет в тундру. У чукчанки — больше первозданности и той самой дикости, которая опаснее всякого кокетства, потому что перед этим мы особенно слабы. Во взгляде ни йоты наигранности, она вся как на ладони. Чуванка словно зазывает идти за собой на край света — было бы кого. Чукчанка, напротив, сама готова идти на этот самый край — было бы за кем...

Обе девушки учатся в кепервеемской школе, причем учатся прилежно, они трудолюбивы, мастерицы и умеют вести хозяйство. Чуванка к тому же большая редкость. Такую девушку не часто встретишь даже на Чукотке. Чуванцев осталось тысячи полторы или даже меньше. Часть их кочевала, а часть оставалась оседлой. Последние были тесно связаны с казаками и даже приняли православие. Проживали они в основном в поселке Марково и в верховье Анадыри. Там есть река Чуванка. Отсюда, видимо, и название народности. Язык чуванцев утрачен, поэтому говорят они либо по-русски, либо на языке чукчей. В энциклопедическом словаре начала века чуванцам отведено всего две строки, из которых следует, что народ этот почти вымер. Но вот в Кепервееме, в глубине Чукотки, отыскалась чуваночка, и я даже смог ее запечатлеть.

Еще я познакомился с одной эвеночкой. Из Билибино. Я был на вечере, где собрались чукчи и эвены. Уже собирался уходить, как увидел стройную, изящную и яркую девушку. (Я, кажется, уже о ней писал.) Она была в кожаных джинсах и в такой же облегающей жилетке. Ее родственники, заметив, что она мне приглянулась, говорили, чтобы я забирал ее с собой...

И забрал бы, если бы не обстоятельства, тысячи больших и малых причин, мириады оков, сотканых из предрассудков, обязательств и забот, которыми мы окружены и наглухо скованы, и уже не принадлежим ни себе, ни делу своему, ни призванию. Кто из нас способен на решительный и дерзкий поступок, на отчаянный шаг или хотя бы на робкую попытку его совершить? Так, плывем, барахтаемся, кувыркаемся под неодобрительный, требовательный шум, под упреки и нудный треск со всех сторон. А как бы славно приехать за тысячи километров, на ту же Чукотку, свободным, независимым, полным жизненной энергии и надежд да поколесить по этой далекой стране, приглядеться к ее красотам, нетронутым, незамеченным, а значит, и не оцененным еще никем, и вот такую эвеночку, чуваночку, юкагирочку, эскимосочку или чукчаночку присмотреть, увезти с собою, и пусть живет себе где-нибудь рядом, неподалеку, через квартал, чтобы всем было хорошо... А каково с такой эвеночкой, чуваночкой, чукчаночкой или эскимосочкой прокатиться по Франции! Открыть ей Париж! Каково показать ей замки Луары, поля подсолнухов и грядки лаванды в Провансе или готические строения. Уверяю, и соборы бы наклонились своими шпилями, чтобы лучше разглядеть прелесть, явившуюся под их сень...

Чего мы ищем в женщине?

Собственного самоутверждения.

Длинные красивые ноги? Конечно. Упругая грудь? Обязательно! Большие и задумчивые глаза? А как же! Нос, уши, вообще лицо, полное благородства и врожденной чистоты? Да, все это — непременно! Волнистые волосы до плеч, скрывающие суть и призванные помочь нам обмануться? А как же! Также важно, чтобы она была не только красива, но и очаровательна. Вот, вот! Очарование дороже красоты, потому что эта добродетель более редкая. Обворожительность? (Теперь ее называют сексапильностью.) Да! Такая, чтобы завидовали и, глядя на нее, никто не остался равнодушным, чтобы она была предметом приглушенных разговоров — только положительных, только положительных! При том, чтобы не давала поводов для треволнений...

Вот как надо, вот чего хочется! И сверх того, больше красоты и очарования, дороже и ценнее всего — ее пластика. Чтобы шла она так, как никто, и что-

бы движения ее были не только изящны, но обворожительны и неповторимы. В пластике — разгадка неповторимости... Вот! Неповторимость — главное достоинство женщины. И если эта неповторимая, ни на кого не похожая — твоя, если она рядом, то уже сама она величайшее твое достоинство. Должно быть то, чего нет ни у кого! Вот что необходимо нашему самоутверждению. Остальное домыслим, допишем, домечтаем...

Поэта взор в возвышенном безумье
Блуждает между небом и землей.
Когда творит воображенье формы
Неведомых вещей, перо поэта,
Их воплотив, воздушною «ничто»
Дает и обиталище и имя...

(Шекспир)

Не того ли искал (и почти нашел) Александр Сергеевич в Наталье Николаевне?

Это уже потом, потом, потом... хочется, чтобы у спутницы твоей были ум, восприимчивость и понимание, чтобы оказалась она при этом хорошей матерью, доверительной и заботливой подругой. Если же она ко всему еще умеет готовить рассольник, то цены ей нет... Между тем годы идут, идут, потом бегут, и уже из всех прочих добродетелей предпочитаешь в женщине незаметность и ненавязчивость, и хорошо если бы она была врачом...

А чего они ищут в нас? Что нужно им? Вот этого никто не знает...

Пожалуй, вернемся в Анадырь.

Итак, директриса музея пригласила девушек из Анадырского педагогического училища. Все они в назначенное время пришли в музей, и, оказавшись среди них, я поначалу не знал, куда себя деть.

Первая девушка — Наташа. Ей семнадцать лет. Она из поселка Лорино, расположенного на берегу Берингова моря. «Лорино» с чукотского переводится как «Найденное становище». По словам Наташи, удачно выбранное место оберегает поселок от непогоды, и, даже когда повсюду пурга, в Лорине тишина и благодать. Ее папа — русский, из Хабаровска, а мама — чукчанка. В поселке живут в основном охотники на китов и моржей. Наташа знает не понаслышке, что такое охота в море. Вместе с другими лоринскими детьми она не раз выходила на высокий берег наблюдать за тем, как отчаянные охотники борются с китом.

Вторая девушка, Олеся, — обладательница нежного имени, упоминание которого пробуждает чувства и влечет в непроходимые заросли и пущи. Но это только имя у нее белорусское. Мама у Олеси — чукчанка, а папа — армянин. Олесе шестнадцать лет, родом она из поселка Усть-Белая, в глубине Чукотки. Это, должно быть, невероятно живописное место, поскольку там к Анадыри присоединяются сразу несколько рек, самая большая из которых — Белая. Отсюда и название поселка. Учится Олеся на преподавателя по труду. Но это не тот «труд», уроки которого я любил за то, что их можно было не посещать. Олеся будет обучать труду в тундре. Это значит, что ее профессия — едва ли не самая важная для будущей хозяйки: шитье, приготовление пищи, уход за детьми, врачевание. А трудолюбия девушке из Усть-Белой не занимать. Да и папа наверняка привил дочери, помимо густых бровей и длинных ресниц, еще и южный темперамент, напористость и смекалку.

Третья девушка — Лариса. Она из Провиденского района, из поселка с красивым названием Сиреники. Ученые полагают, что название поселка, находящегося на восточном побережье Анадырского залива, восходит к эскимосскому слову «сиг‘ыных» (рога оленя). Но, глядя на Ларису, хочется думать не о рогах, а о сирени, любимых весенних цветах. Мама у Ларисы — сиреникская эскимоска, а папа — украинец, которых в этих широтах, кажется, больше, чем в Бердичеве. Эта невероятная смесь делает Ларису неповторимой и непостижимой. Ей шестнадцать лет, она учится на учителя математики.

И уж подавно никто не разберется в генеалогическом древе Ксении. Ей также шестнадцать, она будущий преподаватель английского. Мама Ксении — чукчанка, папа — русский, из Хабаровска. Но это только «по паспорту». На самом

деле в Ксении течет кровь американцев, французов и даже ингушей. Она проживает в Анадыре и является настоящей столичной девушкой. Поразили ее образованность, начитанность и восприимчивость. Скорее всего она продолжит образование в Москве, а то и вовсе за границей.

Пятую девушку, Ирину, следует не мешкая хватать и помещать в этнографический музей. Да не в анадырский и даже не в московский, а в парижский или нью-йоркский, если они там есть. Надо создать все условия для того, чтобы посетители могли любоваться этой редкой красотой, целомудрием и нежностью. Вот такая же Ирочка побудила первооткрывателя северо-восточных окраин назвать живописный мыс — Акчори. Ирина — настоящая чукчанка, без примеси и дополнений. Ее мама и папа — чукчи-оленоводы. Ирина из континентальной тундры, из Билибинского района, из бедного, труднодоступного поселка Островное, и можно только догадываться, как непросто было родителям устроить дочь учиться. Наверное, помощь в этом оказывают и администрация, и отдел образования, ведь надо платить и за общежитие, и за еду, и чтобы выглядела девочка достойно. Ирина обязательно выучится и, возможно, поступит затем в магаданский институт.

Наконец, еще одна девушка — Юля. Она из Чукотского района, из далекого поселка Инчоун («Кончик носа»). Там неподалеку есть скала с отделившимся камнем, похожим на отрезанный кончик носа. Отсюда и название. Этот «кончик» расположен почти на самом конце евразийского континента. Юлины родители — чукчанка и русский — произвели на свет девушку невероятного обаяния, милой и притягательной внешности. Возможно, оттого, что отец Юли из Ростова-на-Дону и скорее всего донской казак. А казаки знают толк в женской красоте. Можно только предположить, какая у Юли мама! Юле пятнадцать лет, она хочет стать учительницей русского языка и литературы.

Вот Юлю я бы увез не задумываясь. Под разными предложениями я уже стал было подбираться к ней, но обнаружилось, что у нее в романтических героях какой-то Ди Каприо, о котором я, к своему стыду, до сих пор не слышал. Мое дремучее невежество, обнаруженное Юлей, стало причиной полного ее ко мне равнодушия.

Девушки учатся, и свободного времени у них почти нет. Они понимают, что учеба — не просто желательная строка в биографии. Это надежда родителей, родственников, друзей. Это возможность увидеть мир, больший, чем тот, что окружает поселок, это шанс познакомиться с новыми людьми, обрести друзей и, быть может, встретить любимого. Девушки знают, что родители пожертвовали ради них многим, быть может, всеми сбережениями, и отблагодарить их можно только старанием и прилежностью. Кроме Ксении, все живут в общежитии. По субботам ходят на дискотеку, а в обычные дни их отдых сводится к телевизору и чтению. Часто получают письма от родных и пишут сами. Их стипендия — двести рублей. Бывает, задерживают. Родители по возможности помогают. Кормят студентов три раза в день в ресторане «Анадырь». Причем студентов из числа коренных национальностей бесплатно!

Я заговорил о любви. В ответ девушки хихикали, переглядывались и говорили, что ни у кого ничего ни с кем нет. Затем Лариса сообщила, что претендентов много, но нет достойных. И только Ирочка из Островного призналась, что у нее есть Слава. Он русский, ему семнадцать лет, он учится в училище. Было что-то и у Юли, во время отдыха на Кавказе, где она ненадолго отодвинула Ди Каприо. Но с окончанием каникул и отъездом на Чукотку права и престиж кинозвезды были восстановлены. Созналась в пробуждающихся чувствах и Ксения. У нее был претендент, в отношении которого вынашивались самые дерзкие планы. Но... Ксения — девушка образованная, и претендент был отвергнут за несоответствие идеалам. Когда я спросил, какое качество девушки ценят в мужчине больше всего, они тотчас ответили: ум. И лишь Юля отдала дань еще и красоте.

Пристрастий национальных у девушек нет. Кажется, тема эта их не интересует. Важнее, чтобы были у будущего мужа деньги. Чтобы можно было поездить и посмотреть мир. Я спросил, сколько бы они хотели, чтобы получал муж. Ирочке из Островного достаточно, чтобы он получал две с половиной тысячи рублей в месяц. Лоринскую Наташу устроил бы супруг с жалованьем в три ты-

сячи, а Ларисе из Сиреников было бы достаточно, если бы муж зарабатывал двести долларов. Олеся из Усть-Белой о деньгах говорить не желает. Она хочет, чтобы муж был актером, причем не зарубежным, а российским. И только инчунской Юле, грезящей о Ди Каприо, денег нужно много! «Чтобы на всех хватало,— мечтает она не стесняясь,— тысяч тридцать!» «Юля у нас крутая»,— подшучивают подружки.

А для Ксении главное, чтобы муж имел вес в обществе и был хотя бы... министром. Причем не культуры или здравоохранения, а обороны, финансов или иностранных дел на крайний случай. Но даже и в этом случае она от него зависеть не желает и деньги зарабатывать надеется сама.

Таковы их желания и мечты, в которых девушки невольно себя ограничивают, и едва ли в этом они чем-то отличны от тысяч таких же, как сами.

Вот, Наиль, какие здесь дела.

Новый год совсем скоро. По-видимому, я его буду встречать в Анадыре и скорее всего в одиночестве.

18 декабря. Анадырь

Дорогая Веро!

Сегодня встречался с окружным акушером...

Никакой надежды на то, что первый младенец родится на Чукотке, нет. Это можно было предвидеть еще в Москве и даже в Париже, когда всё только затевалось. Стоило лишь пошевелить мозгами. Но куда там!

По словам Александры Андреевны, сегодня родить в тундре и остаться незамеченной нельзя. Последний случай был в Билибинском районе несколько лет назад. (Видимо, о том же рассказала Валентина Ивановна из Тавайваама.) Здесь родить на дому — и то нонсенс. Это не Москва, где полно неучтенных родов. Сейчас в родильном отделении несколько рожениц, и вроде бы они могут родить и тридцатого, и тридцать первого, и первого. Зависит это не от врачей. «Оправиться и родить — нельзя погодить!» — сказала Александра Андреевна.

Есть «кандидаты» и в других районах, хотя все стараются направлять рожениц в Анадырь, причем задолго до родов. Сейчас из Провиденского района доставили беременную, у которой всего четырнадцать недель срока. У нее сахарный диабет, и местные врачи, опасаясь не справиться, таким образом избавились от роженицы. Теперь уже ее никак не отправить обратно, хотя еще нет даже шевелений. А недавно привезли роженицу с туберкулезом легких: что хочешь, то с нею и делай...

Когда Александра Андреевна приехала на Чукотку, ее поразило отношение к местному населению. Она назвала его жутким словом «геноцид». Его устроила советская власть, привив коренным народам психологию иждивенчества.

В чем это выразалось?

Александра Андреевна считает, что если народ жил в тундре, то женщины там же, в тундре, должны и рожать, как это было на протяжении тысяч лет. Мы же все это круто изменили. Как только в тундре объявлялась беременная, ее тотчас вывозили в район, помещали в больницу, где она жила, оторванная от своей среды. За ней день и ночь ухаживали медсестры: поили, кормили, мыли, лечили. Затем она рожала, после чего ей давали пару одеял, кучу пеленок и прочее, необходимое для ребенка. В тундре она уже на следующий день трудилась бы и забыла, кого и когда родила, а здесь у нее начинается «послеродовой период». Медсестры ее вновь поят, кормят, моют, лечат... Ее невозможно выписать на шестые сутки, как это происходит с прочими мамашами. Коренную роженицу выписывали не туда, откуда она прибыла рожать, а в детское отделение, где она вместе с грудным младенцем находилась еще месяц, а то и больше. Только после этого, если ребенок оказывался здоровым, а мать признавалась «благонадежной», ее выписывали домой. Благонадежность выражалась в том, что она не пьет, дает ребенку грудь и не создает угрозу его жизни. А когда выписывали мать, то ребенка могли забрать и в интернат, и куда угодно.

Казалось, какой «геноцид»? Наоборот, всеми способами старались сохранить ребенка и мать. В действительности уничтожали обоих. Но, но, но...

Вопрос о вмешательстве или невмешательстве советской власти в жизнь коренного населения — непростой, хотя уместнее и, быть может, правильнее говорить о вмешательстве в эту жизнь цивилизации вообще. Те же врачи приезжали на Крайний Север из разных концов бывшего СССР и работали не щадя себя. Они не могли мириться с тем, что увидели, и проявляли искреннее желание помочь таким же людям, как сами. Их можно корить, напоминать, что благими намерениями вымощена дорога в ад, но это было бы не совсем справедливо. В своем анадырском жилище я обнаружил несколько книг, посвященных Северу. В одной из них рассказывается, как сто лет назад, только не зимой, а летом, на Чукотке побывал русский врач И. Акифьев. В 1904 году он издал дневники под названием «На Далекий Север». Акифьев был в составе американской экспедиции, которая искала здесь золото. Пароход стал на якорь у бухты Провидения.

«<...> Победавши, я взял фотографический аппарат и съехал на берег...

...При моем входе в одну из юрт мне сейчас же указали на одну женщину. Она, совершенно нагая, вылезла из-за полога. Ее голова была покрыта струпьями; воспаленныя, гноящияся веки с трудом поднимались, распухшия запекшиися губы показывали белья десны, сухие жесткие волосы на голове перепутались и образовали что-то вроде кошмы. Железы на шею распухли, из груди вместе с сильными звуками голоса вырывались свистящие хрипы. Желтая, сморщенная кожа была покрыта слоем жира и грязи. Это было что-то ужасное! Она просила меня помочь ей. Я обещал, успокоил, как умел, но что я мог тут сделать? Наш пароход уйдет сегодня ночью, а лечить эту женщину нужно целые месяцы, потому что у ней найдется целый десяток болезней.

В другой юрте я нашел больную женщину, подобную первой, и еще больного ребенка нескольких месяцев; когда его повернули лицом ко мне, я, человек привычный, невольно отвернулся. Маленькое, красное, сморщенное лицо ребенка представляло один сплошной струп.

И немудрено: одет он в грязныя шкуры, его носят на спине, под одеждой, такой же грязной, сосет он грязную грудь своей матери, мытья не знает. А вот девушка, она была бы, пожалуй, не дурна, но за ушами и на шее у нея гноящаяся короста. Видеть этих несчастных, сознавать, что я мог бы им помочь, но никак ни при том образе жизни, какой они ведут, сознавать, что мои сведения не применимы, сознавать полное свое бессилие в данном случае было больше, чем тяжело».

Особенно примечательны последние строчки. Врач Акифьев — не этнограф Тан-Богораз. И хотя они были в тех краях примерно в одно время, реакция их разная. Этнограф со знанием дела фиксирует жизнь, глядя на нее со стороны, не помышляя вмешиваться. Врач, давший клятву, отстраненным оставаться не может, даже если осознаёт свою беспомощность: «...я мог бы им помочь, но никак ни при том образе жизни, какой они ведут».

Но там, где подчеркнута безучастен этнограф и мучится от бессилия врач, оказываются всемогущими социальные реформаторы. Они взялись изменить образ жизни и преуспели. И не только на Чукотке. Теперь главной задачей было сохранить малые народы, чтобы они влились в большую, единую и счастливую «семью народов». А начинать эту священную работу надо с зарождения жизни, с беременных.

Нацисты пошли еще дальше. Они начинали с совокупления, создав специальный институт по зачатию истинных арийцев. Кстати, среди различий, которые существовали между двумя тоталитарными режимами (сейчас чаще говорят о сходстве), надо отметить и это: нацисты стремились спасти мир за счет господства лучшей расы — арийской. Для чего остальные расы и народы желательно если не подчинить, то уничтожить. Коммунисты справедливо называли это варварством и безумием. Сами они, наоборот, пытались вытолкнуть из настоящего в будущее всех, включая даже самые отсталые, непросвещенные народы и племена. Для этого их предстояло не уничтожить, а спасти, сохранить и просветить. Во что бы то ни стало.

Где-то прочел, как одного шута вели на казнь и на всякий случай спросили, что он предпочитает: быть повешенным или обезглавленным? И шуту хватило нахальства ответить, что он предпочитает молочный суп!

«Разве это сохранение? — сетует Александра Андреевна. — Мать сама должна заботиться о ребенке, а мы, врачи, можем только помогать. Но если она с первой минуты привывает к тому, что за ее ребенком ухаживают другие, а сама его не видит, то что из этого может получиться? Вот они и не знают, что с ребенком делать. Сколько случаев, когда, вернувшись из роддома в тундру, они теряли детей, оставляли без присмотра, и, случалось, голодные собаки их загрызали. Как это так? За каждой роженицей ходят по три медсестры, затем акушерка с гинекологом, потом детский врач... А они, пойдите посмотрите, стоят под лестницей, курят и болтают. Кто в конце концов рождает?»

Александра Андреевна сегодня весь день искала роженицу, которую доставили на вертолете из далекого поселка. Когда ее привезли в родильное отделение, при ней была трехлитровая банка какой-то дряни. Эту банку Александра Андреевна выбросила, но спустя день исчезла сама роженица: ушла к друзьям в Анадырь! К каким друзьям? Кто знает? А если она там родит? И кого она в этом случае родит? Не первого ли младенца двухтысячного года, специально для меня?

Окружной акушер считает, что, если женщина хочет рожать, пусть рождает. Но прежде пусть подумает, во что ребенка завернуть, во что одеть, чем накормить, куда уложить. Почему русская мама должна об этом думать и заботиться, а чукотская нет?

Я привел в пример Марию Васильевну из Билибино, которая не только родила восьмерых детей, причем шестерых в тундре, но и воспитала их, вырастила, выучила, и теперь они здоровые, образованные, крепко стоят на ногах.

Александра Андреевна говорит, что они потому и здоровые, что рождены так, как и должно быть в тундре. Но развращать, делать из народа иждивенцев нельзя. «Этим мы их убиваем», — считает она.

Сегодня роженица-чукчанка спрашивает у Александры Андреевны: «Почему мне пеленку не дали?» А она в ответ: «А почему тебе должны ее давать? В роддоме их осталось всего двести. С чем мы будем у остальных роды принимать?» Александру Андреевну возмущает, что все прочие мамы сами заботятся о себе и своем ребенке, а коренным надо обязательно все дать. «Мы сами их к этому приучили, и в этом наша главная вина перед коренными народами».

Может показаться, что Александра Андреевна жестокосердна по отношению к тем, кого наши начальники высокомерно называли «младшими братьями». В действительности, в ее словах гуманизм и сострадание: «Вот они живут в тундре или в далеком поселке, придет пора рожать, и будущая мать, если захочет, выйдет из тундры, придет к нам, и мы с радостью ей поможем».

Окружной акушер мечтает о мобильной медицинской службе, хотя бы отчасти похожей на ту, что организована на Аляске. «Там во дворе больницы стоят три-четыре вертолета, готовые к вылету. Сами больницы небольшие, коек на двадцать. Причем больнички эти практически всегда пустые, хотя все врачи на месте. От них не требуют «койко-дни», как от колхозников «трудодни». А у нас, если больница пустует, значит, врачи зря деньги получают. Почему-то к пожарным отношение иное. Они сидят и, если нет пожара, могут просидеть долго. А в больнице надо, чтобы обязательно лежали больные, и чем больше — тем лучше. Иначе идут сокращения, увольнение...»

В советскую эпоху врачи вылетали в бригады оленеводов, в каждой из которых работали по две-три женщины, и проводили профилактический осмотр. Вылетала в тундру и Александра Андреевна. В первый раз она была шокирована не меньше доктора Акифьева. В яранге прямо в пологе осматривала чукчанку. Запах там был нестерпимый. Было темно, женщина лежала на шкурах, тут же бегали дети, тут же — собаки, которых надо было постоянно отгонять. Поначалу стало дурно, потом привыкла.

Александра Андреевна, как и большинство приезжих, живет в вялотекущем ожидании возвращения. Дети ее уже уехали, и вроде бы ей самой выделили квартиру в Подмосковье. Квартиру эту она еще не видела и, как сейчас там, на материку, не представляет. Поэтому, пока позволяет здоровье, продолжает работать.

...Когда мы клянем советскую власть, ставим ей в вину разные пороки, в том числе те, о которых упоминала окружной акушер, надо помнить и о самой Александре Андреевне, и о тысячах таких, как она. Ведь для большинства жи-

телей тундры эта самая «советская власть» олицетворялась не столько далеким или близким начальством, сколько такими врачами, как Александра Андреевна. Без них чукчи так бы и жили, в том же виде и с теми же болячками, с которыми их застал сто лет назад врач Акифьев.

В конце разговора я вернулся к главной теме: появится ли на Чукотке младенец в первый час после Нового года? Александра Андреевна достала журнал рождаемости и положила передо мной. Знакомство с этой документацией оказалось для меня более чем безрадостным.

За прошлый, 1998 год в Шмидтовском районе зарегистрировано сорок родов. В других районах ситуация не лучше, и даже самый многодетный, Чукотский, не перевалил за сотню. «Кто же вам станет рожать в новогоднюю ночь?» — улыбаясь, сказала Александра Андреевна.

«А вдруг? — умоляюще спросил я. — Ведь они обязаны предоставлять информацию согласно приказу».

«Да, но согласно приказу они не могут родить», — ответила окружной акушер, перелистывая журнал.

В 1999 году первый ребенок на Чукотке родился 1 января, в 22 часа 30 минут. Девочка. Значит, раньше этой девочки кто-то родился в Москве, в Париже и, возможно, даже на Аляске! А следующий ребенок родился на Чукотке лишь 4 января, в 3 часа 40 минут.

В 1998 году первые роды на Чукотке были только 3 января, в 3 часа 35 минут. Родился мальчик. А в 1997 году первой родилась девочка: 2 января, в 17 часов 25 минут. И во все предшествующие годы ситуация не лучше...

Боже мой! На Чукотке еще никто не появлялся на свет в первый час наступившего года. Во всяком случае, в журнале это не отмечено. Так что Чукотка, первой встречая рассвет и имея абсолютную возможность стать родиной первого младенца двухтысячного года, в действительности никаких шансов не имеет.

Фиаско мое полное, и, простившись с Александрой Андреевной, я побрел в свою берлогу. Мне уже незачем куда-то ехать. Можно оставаться здесь на Новый год и ждать неутешительных сведений из роддома.

Завтра возьму билет на первый посленовогодний рейс в Москву.

19 декабря. Анадырь

Вероника! Это письмо — вдогонку.

Меня измучила совесть оттого, что я так и не побывал в отдаленных местах Чукотки. Едва ли еще предоставится такой шанс. Думаю: пусть не отыщу младенца, зато хоть где-нибудь побываю. Но оказалось, что с рейсами внутри Чукотки просто беда. Нет таких, чтобы, вылетев, я через два-три дня вернулся в Анадырь. Возвратиться можно не раньше, чем через две недели. Что же мне делать в каком-нибудь поселке целых полмесяца?

И только в один поселок можно вылететь и через неделю вернуться — в Лаврентия. И то, если вылечу завтра. Это конец света и, по утверждению многих, не только в прямом смысле. Меня заклинали туда не соваться.

Целый день ходил в раздумье: лететь или нет, и от безысходности пошел в администрацию, где набрел на симпатичных женщин из транспортного отдела. Прознав, зачем я на Чукотке, они пристыдили меня и убедили обязательно лететь. Говорят, что настоящая Чукотка именно в Лаврентия, а не в уютных городах, вроде Анадыря или Билибино. Они позвонили в аэропорт и забронировали для меня билет. Затем начальник этого отдела связался с Лаврентия и договорился, чтобы меня приютили. Таким образом, меня буквально вытолкали в Лаврентия. Теперь уже некуда деться, и я собираю вещи.

(Продолжение следует.)

Кирилл АНКУДИНОВ

С Д В И Г

Если принять за основу тот факт, что литература в ее традиционных формах сдает позиции, неизбежен вопрос: *чему* она сдает позиции?

Этот вопрос легко смешать с несколько иным вопросом: *почему* она сдает позиции? Ответы на второй вопрос приходят сами собой. Ложные, кстати, ответы. Принято ругать издателей. Но издатели — те же читатели. Если есть разрыв между приоритетами писателя и читателя, этот разрыв должен проявиться в отношениях между писателем и издателем. Еще одно больное место — система книготорговли. В нашем субъекте федерации — Республике Адыгея — например, она ужасна: ни одна серьезная книга художественного или филологического характера не попадает в продажу. Но книготорговец — тоже читатель, следовательно, и это не случайно.

Ясно, что нынешние читатели ждут от литературы не того, чего было принято ждать раньше, а потому сама структура текста трансформируется изнутри. Возьмем, скажем, традиционную психологическую прозу. Это игра со своими строгими правилами, заданными изначально: в прозе должны присутствовать сюжет, конфликт, система персонажей. Смысл игры — выдумывание людей. Чем в большей степени придуманные люди похожи на реальных, тем произведение ценится выше. Как и люди, персонажи должны быть наделены свободой воли; если их действия слишком привязаны к авторскому замыслу, значит, игра не удалась. В то же время проза должна обладать идейным содержанием, то есть человечки сотворяются писателем не просто так, а для того, чтобы нечто показать и этим доказать. Два смысла игры — креативный и поучительный — не очень вяжутся друг с другом, что придает ей особую сложность. Это-то здорово, игры должны быть трудными. Плохо другое — всякая игра обречена на то, чтобы сначала превратиться в эстетское времяпрепровождение, а затем забыться. Собственно говоря, все игры произошли от магических ритуалов, но в тот час, когда ритуалы потеряли свое сакральное значение и стали только игрой, судьба этих ритуалов оказалась предрешена — они потеряли свое бессмертие. Игра — то, без чего человек может легко обойтись и обходится.

С учетом всего этого снова зададимся вопросом: *чему* сдает позиции литература, в частности, *чему* сдает позиции традиционная психологическая проза?

Существуют три явления, вытесняющие суть художественной прозы, подменяющие ее собой. Каждое из этих явлений стоит рассмотреть отдельно.

Во-первых это, конечно же, публицистика, то есть прямое обращение к политике. Политика вообще склонна вытеснять «чистую литературу», иллюстрация этому — «Литературная газета», медленно и верно превращающаяся во «вне-литературную газету». Ничего не поделаешь, то, что происходит в стране, волнует всех, с этим надо считаться. Игра под названием «проза» от публицистики, разумеется, страдает — персонажи становятся одномерными репродукторами авторской политической позиции, положительные герои целыми страницами митингуют, отрицательные окарικатурируются. Итоги воздействия публицистики на ткань художественного текста налицо — гляди хоть в Войновича, хоть в Бондарева.

Во-вторых, на современную прозу решающим образом влияют некоторые жанры массовой литературы, прежде всего боевик и триллер, в меньшей степени — «крутой» («американский») детектив; «классический» («английский») детектив явно не входит в этот ряд — он представляет собой слишком эстетский и

слишком игровой феномен. С безразмерным термином «фантастика» следует разобрататься — этот термин включает в себя очень разные явления. Если их упрощенно отклассифицировать, разделив на две условные группы, придется признать, что «фэнтези» влияет на современную прозу, а «научная фантастика» совершенно не влияет (если это не боевик под маской фантастики). Естественно, под словом «влияет» я разумею процессы, происходящие в пространстве текста, а не в иных пространствах, к примеру, в пространстве магазинного прилавка; дело не в том, что массовую литературу сейчас издают, продают и читают охотнее, чем литературу «высокую», дело в том, что сама «высокая» литература под воздействием массовой становится другой. Боевик, триллер и даже «женский роман» предполагают принципиально иное по сравнению с психологической прозой отношение к герою, принципиально иные параметры сюжета. Правила игры меняются, и проза не может не реагировать на это. Анатолий Азольский — не Юрий Казаков. И Маканин конца девяностых — не Маканин середины семидесятых.

Наконец, существует то, что в наибольшей степени оказывает воздействие на массовое сознание, то, что радикальнее всего изменяет структуру прозаического текста, полностью сводя на нет креативные цели этого текста, — так называемая «учительская литература», произведения полухудожественных и нехудожественных жанров, посвященные различным религиозным учениям и обращенные к мистическим практикам.

Литература этого рода имеет огромное значение для довольно широкого круга людей, с которым я общаюсь: ее влияние на умы настолько велико, что я затрудняюсь в описании степени этого влияния — мне могут не поверить. Вот один из недавних примеров: ко мне с целью показать свои стихи зашел юноша-абитуриент, приехавший из соседнего города. Чуть ли не с порога он заявил, что ему не нравятся ни Пушкин, ни Блок, ни Пастернак, ни Ахматова, ни Цветаева. Позже я выяснил, что момент эпатажа в этих словах был минимален — мой собеседник действительно ничего не находил для себя в творчестве упомянутых им авторов, зато он оказался большим поклонником «Диагностики кармы» Лазарева. Я попытался поставить под сомнение его символ веры и получил сильнейший отпор. Нельзя сказать, что человек, с которым я беседовал, не имел духовных запросов, напротив, они были очень высоки, но почему-то традиционная литература была бессильна их удовлетворить — я столкнулся с любопытной невосприимчивостью культурных ферментов. Такая особенность восприятий могла бы показаться курьезом, если бы я не знал, что она типична. Полтора года назад в нашем городском литературном объединении разгорелся яростнейший спор по поводу все той же «Диагностики кармы», это был единственный на моей памяти за последнее десятилетие спор между участниками литобъединения по поводу современной книги. Факт, говорящий за себя. К этому стоит прибавить следующее: время от времени мои знакомые интересуются тем, как я отношусь к тому или иному автору. При этом я всякий раз слышу либо фамилию особо мифогенного и мифолюбивого масскульта (к примеру, Головачёва или Сергея Алексеева), либо, что гораздо вероятнее, фамилию представителя «учительской литературы», чаще всего Лазарева. Абсолютно немисливо, чтобы кто-то спросил мое мнение о прозе Олега Павлова или Алексея Слаповского. Насколько люди разбираются в «учительской литературе», настолько же они не имеют представления о современной прозе. Изменилось культурное поле, являющее совокупность читательских приоритетов. Если в семидесятые годы это культурное поле включало в себя имена Юрия Трифонова, Булата Окуджавы, Фазиля Искандера, Валентина Распутина, то поле нынешнее предполагает несколько иные имена...

Среди них — теософы, в первую очередь семейство Рерихов, а также всевозможные компиляторы (Клизовский, Рудзитис), популяризаторы (Шюре) и беллетристы (Кора Антарова) от теософии — странно, что имена Штейнера и Кришнамурти, действительных авторитетов в теософском мире, публику интересуют в меньшей степени. Луиза Хой (это уже где-то на грани с медицинскими пособиями, но к «учительской литературе» все-таки отнести можно). Для «продвинутой молодежи» — Шри Раджниш и Кастанеда, для менее продвинутых — Анастасия (строго говоря, Анастасия не автор, книги о ней пишет господин по фамилии Мегрэ, но почему-то они запечатлеваются в сознании как книги Анастасии). Весьма популярный в Майкопе Саи Баба. Экзотичный, но широко читаемый Григорий Климов, кошмар либеральной интеллигенции (его творения с некоторыми со-

мнениями можно включить в разряд «учительской литературы»). Авторы, приворяющиеся «жанровиками», а на деле полноправные представители «учительской литературы»; те же Головачёв и Алексеев, а также многие другие. В общий ряд, разумеется, входят представители христианского дискурса, мне несколько обидно ставить их рядом с Анастасией, но некоторые из них подходят по всем жанровым критериям. Книги о Серафима Роуза — типичная «учительская литература», именно поэтому они широко читаемы, а вот произведения Александра Меня и Андрея Кураева гораздо ближе к философии, поэтому и не пользуются успехом (в Майкопе книги Кураева я видел только в епархии, книга Меня не видел вообще, зато неплохое хождение получила антикураевская книжица Ксении Мяло, защищающая рерихианство). Иногда в разговорах всплывает фамилия Гурджиева. Семь лет назад были модны Даниил Андреев и Юрий Мамлеев, сейчас их имена неупоминаемы, по-видимому, эти авторы оказались чересчур элитарными.

Нравится ли мне сей список? Не нравится. Половину имен из него я с большой охотой заменил бы на более достойные. Понравится ли список взыскательной аудитории? Не думаю. Боюсь, что она меня может засмеять: нечего, мол, обращать внимание на подобную среду. Интеллигенции свойственна скверная черта — все недостаточно культурно значимое становится в ее глазах несущественным и несуществующим; это не нравится, значит, этого нет — таков силлогизм типичного эксперта по культуре с безупречным вкусом. Но проблема не во вкусах, вкусы могут быть разными. В Майкопе больше читают Анастасию и Климова, в Москве — Толкиена, Кастанеду и Александра Дугина. Проблема в том, что читатель кличет в одной комнате, а он давно находится в другой.

Мне кажется, что это дает объяснение многому из происходящего в сфере традиционной литературы. Единственный современный прозаик, которого действительно читают в массовых кругах, единственный автор, получающий отклик не только со стороны критиков, единственный человек, литературный проект которого реально работает, — это Виктор Пелевин. Подлинно ли это исключение из правила или мнимо? В литературном мире на Пелевина смотрят как на прозаика, но так ли смотрят на него его многочисленные поклонники? У меня есть предположение, что Пелевин воспринимается ими как гуру (как Кастанеда или Шри Раджниш), что его тексты в большинстве прочитываются не как художественные романы, а как явления «учительской литературы». Далеко не случаен также новый всплеск интереса к «Мастеру и Маргарите». Если в советское время была актуальна сатирико-эксцентрическая составляющая этого произведения, то сейчас актуализировалась иная линия, которую можно назвать метафизико-гностической. Булгаков попал в один контекст с Даниилом Андреевым, хотя изначально он не принадлежал к этому контексту.

Основное отличие между психологической прозой и «учительской литературой» заключается в следующем: если первую интересует человек, то вторую прежде всего интересуют закономерности, воздействующие на человека, который оказывается впаянным в мироздание, становится мухой в янтаре неукоснительного. Почти вся «учительская литература» откровенно деперсоналистична и антиперсоналистична (исключение составляют разве что христианские авторы, да и то далеко не всегда). Эта литература стремится разомкнуть границы личности, преодолеть «самость». Нетрудно заметить, что она также фактически отрицает понятие «случайность», отменяет случайное как категорию. То, что по недоразумению называют «иррационализмом», являет собой мощнейший выплеск рационализма: человек ощущает собственное бессилие перед случайностью и стремится загнать ее в клетку железных закономерностей. Если учесть тот факт, что вся традиционная (психологическая) проза выстроена на категориях индивидуального и случайного, можно получить представление, насколько ее принципы «сочетаются» с принципами «учительской литературы». Эта литература полностью изменяет писательское сознание: новое в сознании, подобно едкой кислоте, выжигает саму сущность художественной прозы как игры, уничтожает ее правила. Восхитительно жизненосны, индивидуальны, неповторимы, непредсказуемы Татьяна Ларина, Лиза Калитина, Пьер Безухов, князь Мышкин, но герои «учительской литературы» лишены всех этих качеств. Его создавали не для этого. Он рисунок со стрелочками в учебнике анатомии, схема, на примере которой удобно показывать воздействие космических законов, учебная модель или аллегория. Каждый шаг такого героя комментируется автором, получает оценку, исходя из

определенных приоритетов. Как правило, если этот герой — главный, он представляет собой идеальную безличность, чистую доску, по ходу действия заполняемую надлежащими письменами, второстепенные же персонажи обычно оказываются воплощением абстрактных категорий. «Учительская литература» сводит на нет конфликт, превращая его в схему столкновения сил Мирового Добра и сил Мирового Зла или в схему столкновения столь же сухих абстракций, тогда как конфликт в психологической прозе немислим без многоплановости, непредсказуемости результата, четко проработанной индивидуализации. «Учительская литература» эстетически бедна. Это объяснимо: занимающемуся по профессии не красота, а литература данного характера не что иное, как пособие. Часто происходит любопытная путаница — авторы черпают свои представления о мире из «учительской литературы», но по инерции облачают их в форму художественной прозы и называют собственные произведения «прозой». Они еще считают, что литератор должен создавать прозу, а не философские трактаты, но уже не имеют представления о том, что такое проза, строят ее не из тех кирпичей. Это прозаики, не читающие прозу. Они обречены творить «гибриды». Между прочим, за последнее время я крайне часто встречаюсь с «гибридами» подобного рода. Для меня это — важный показатель серьезного сдвига в сознании массового читателя. И в сознании массового писателя, потому что писатель — тоже читатель. Таким образом, круг замыкается.

Ко всему я мог бы присовокупить четвертую напасть — массивированное нашествие на «элитарную прозу» эссеистики и мемуаристики. Территория, занимаемая прозой, стремительно сокращается под натиском враждебных сил. На оставленных ею землях ведут кровопролитные бои «экшн» и «нон-фикшн». И одно, и другое — не проза в традиционном понимании, потому что проза в традиционном понимании — «экшн» плюс «нон-фикшн» плюс кое-что еще. Да и традиционно ли это понимание? Три века назад все компоненты находились в разьединенном состоянии. Тот же «экшн», тот же «нон-фикшн». Только их тогда называли другими именами. Было ли то, что мы определяем «психологической прозой»? Сомневаюсь. Это — явление новейшего времени, трех последних веков. Исторические обстоятельства сложились так, что «экшн» и «нон-фикшн» внезапно соединились, к ним добавилось кое-что еще — так началась священная игра. А теперь исторические обстоятельства сложились по-другому — «кое-что еще» улетело, остались только рыцари, позабывшие себя, — «экшн» и «нон-фикшн», они бьются друг с другом и не знают, что некогда были вместе. И кружит над ними с хохотом страшный змей-шестокрылат. Змей этот зовется именем «ню-эйдж». Вся «учительская литература» до «нового православия» включительно есть порождение «ню-эйджа» (хотя «нового православия» можно поспорить, слишком тесно оно связано со «старым православием»; поправлюсь: «новое православие» — зачастую порождение «ню-эйджа», вся же прочая «учительская литература» — порождение «ню-эйджа» безусловно).

Оставим в стороне эссеистику и мемуаристику, они угрожают исключительно «элитарной литературе», не имея отношения к массовому сознанию. Обратимся к тому, что воздействует на массовое сознание — к политической публицистике, экшн-прозе и «учительской литературе». Почему именно они обладают воздействием на треклятое массовое сознание, а психологическая проза уже не обладает? Она не имеет чего-то такого, что имеют политическая публицистика, экшн-проза и «учительская литература»? Она не имеет чего-то такого, что некогда имела сама? Но что общего между политической публицистикой, экшн-прозой и «учительской литературой»?

Ответ прост: все это — формы современного мифа.

Не думаю, что литераторы, вводящие публицистику в свои произведения, претендуют на лавры объективных политологов-аналитиков. Они транслируют политические мифы, причем зачастую самые примитивные. «Литература действия» по своему генезису восходит к народному эпосу. Если взять, с одной стороны, Геракла, Роланда, Нибелунгов, русских богатырей, прочих эпических героев разных народов, с другой стороны — Евгения Онегина, Пьера Безухова и генерала Серпилина, а затем сопоставить всех с Рэмбо, Рокки и с их отечественными отпрысками, всякого рода «слепыми» и «бешеными», кого более напоминают последние — нибелунгов или онегиных? Конечно же, нибелунгов. Боевик, «крутой» детектив, фантастика-экшн воскрешают героический эпос; мистический

триллер и фэнтези являют собой непосредственное мифотворчество. То-то порадовал бы Константин Аксаков; он, как известно, мечтал о возрождении эпоса и находил это возрождение в гоголевских «Мертвых душах». Думаю, что цикл о Бешеном более смахивает на эпос. Что, интересно, испытал бы Аксаков, увидев Рэмбо? Наверное, смущение. Он понял бы, что не всякий эпос и не всякий миф безобидны. Экшн-проза — полноправный *миф*. Что же касается «учительской литературы», то она предполагает прямое подключение к природным энергиям, то есть это в отличие от эпоса не литературная проекция мифа, не летопись событий, имевших отношение к мифо-реальности, а пособие по осуществлению контакта с мифо-реальностью здесь и сейчас. Таким образом «учительская литература» — наивысшее выражение *мифа*.

Ну а психологическая проза? Имела ли она содержание, относящееся к сфере мифа? Да, имела вплоть до последнего времени. Вспомним, как часты были в советское время обвинения авторов в «очернительстве». В центре общественного устройства находилась идеология, одна из форм логоса — это означает, что советское общество было логоцентричным. Люди опасались, что неправильно сделанный восковой-текстовый человек навлечет порчу на все государство. Они верили в эту магию. Нынешнее общество перестало быть логоцентричным. Всем стало ясно: придумай хоть тысячу персонажей — ничего в жизни от этого не изменится. Для чего же тогда нужна проза, если она ничего *не меняет*? Для приятного времяпрепровождения? Да. Причем не для приятного времяпрепровождения читателей, а для приятного времяпрепровождения писателей. Создание прозы превратилось в хобби. Есть нумизматы, есть кактусоводы, есть любители тамагочи, а есть прозаики. Кто-то крестиком вышивает, кто-то из макового зерна фигурки вырезает, а эти выдумывают персонажей. Вреда от этого никому, а компании польза. Стрессы опять же это дело хорошо снимает. А то, что умельцев никто не читает (последний ценитель их творчества год назад попал под автобус), не беда; умельцы сами себя читают и этому рады... Вот что такое хобби. И такая судьба ждет психологическую прозу? Боюсь, что такая.

Ужасна судьба заклинаний, потерявших силу. Слово «абракадабра» когда-то сопровождало таинственные и грозные обряды. Это обстоятельство никак не влияет на современную судьбу данного слова. От «абракадабры» к абракадабре — вот путь обряда, обратившегося в пустой ритуал, в изящную игру. Современная проза движется к тому, чтобы стать абракадаброй. Это у нее получается, абракадабризация уже проявляется на уровне языка, его стилистических и даже синтаксических связей. Но это — зримые последствия. Сначала к ремеслу теряют интерес, вырождается оно только после этого.

В мире существовало большое количество интересных ремесел. Было ремесло создателя каменных фигур у жителей острова Пасхи. Было ремесло толковательницы речей Кумской сивиллы. Было ремесло надзирателя за разрезанием на тысячу кусочков клятвopеступника в Древнем Китае. Было ремесло хранителя королевского балдахина при французском дворе. Было ремесло изготовителя священных обсидиановых ножей в государстве Майя. Было ремесло скандинавского скальда, сочинявшего саги по твердым правилам. Было ремесло советского преподавателя научного коммунизма. Все эти ремесла, достойные всяческого внимания, сначала потеряли свое магическое содержание, а затем исчезли. Очень жаль. Такие дела.

г. Майкон

Последний русский роман

●
Борис Житков. ВИКТОР ВАВИЧ. М.,
Издательство «Независимая газета»,
2000.

●
В юности мне довелось несколько раз слушать замечательные монологи-импровизации одного поэта, обращенные к его ученикам. Мэтр был человеком артистичным, лукавым, склонным к гиперболам и мистификации. Однажды он поведал юношеству, что лучший русский поэт XIX века — Иван Козлов, автор (точнее, переводчик) романа «Вечерний звон». *Настоящие* рукописи Козлова, затмевающие Пушкина и Лермонтова, найдены недавно. Их держат в спецхране, чтобы не вносить беспорядка в школьные хрестоматии. Не знаю, может быть, кто-то и поверил.

Борис Степанович Житков (1882—1938) в русской прозе занимает (занимал) едва ли не меньшее место, чем Козлов в поэзии. Да, автор милых рассказов для юношества — фактурных, качественно написанных... Да кто ж в двадцатые годы плохо писал короткие рассказы? Эта проза была великолепна именно в малых формах. Бабель, Добычин, Зоценко... Камерные вещи на сто-двести страниц тоже весьма удавались — взять хотя бы Вагинова или «Смерть Вазир-Мухтара», не говоря уж о «Зависти». Да и Набоков, великий антагонист советской прозы двадцатых, остановился именно на этом жанре: в конце концов он стал главным не только в отечественной, но и в мировой прозе XX века. Двести страниц — на столько (максимум) хватит читательского дыхания... Роман-повесть, роман-анекдот или роман-притча (под это определение подпадает и гениальный, ни на что не похожий «Чевенгур»). А вот настоящий, старорежимный эпический роман, *большой* роман — с распахнутым пространством, с десятками героев, летопись жизни

народной — был вроде бы уже неосуществим.

То есть, конечно, такие романы писали. И тогда, и в особенности позднее. Но что же вдруг резко отвращает в благородной по духу и мастерской по исполнению «Жизни и судьбе» Гроссмана? Есть в этом романе сцена, где с толстовской обстоятельностью описываются тончайшие оттенки чувств героини... которую ведут в газовую камеру. Но толстовского героя не могут вести в газовую камеру, не могут стереть в лагерную пыль. Его выбор — действительно личный выбор. Логичность его (и авторского) мышления предусматривает осмысленность мира. Сложность и разветвленность человеческого «я» — его защищенность. Все это относится, разумеется, только к героям «из общества». Но ведь никто из русских классиков, кажется, и не описал «изнутри» крепостного крестьянина, которого продают, или николаевского солдата, которого проводят сквозь строй. Им сочувствовали, за них клали жизнь... Однако описывать их не умели.

Проза двадцатых годов в своих характернейших образцах порождена, конечно же, духом времени, всемирным преклонением перед «людьми действия», презрением к рефлексии, и корреспондирует с тогдашней психологией, в которой психоанализ успешно теснили бихевиористские концепции. Человек есть его действия, его поведение. Мир должен быть описан в зримых внешних проявлениях. Никакого разжевывания психологических тонкостей. Пруст только входил в моду, в России его еще не знали, но время его, казалось, прошло. Прошло и время Толстого.

Теперь представим себе толстый роман, написанный *такой* прозой... Невозможно да и не нужно. Но писатель Борис Житков, оказывается, написал такой роман. Предваряя все дальнейшее: роман превосходный. Это, безусловно, одна из тех книг, которые в момент появления на свет становятся незыблемым «литературным фактом». Составлять заново хрестоматии придется. Житков отныне — автор не третьего и даже не второго ряда.

Но все тот же вопрос: зачем? Зачем эта тончайшая, филигранная работа, в сущности, работа переводчика сложнейших душевных движений людей прошлого века (еще прошлого, хотя время действия — 1904—1905 годы) на простой и грубый язык людей послереволюционной эпохи? Перевода всех этих «вспомнил чувства, охватившие его, когда...», «ощутил до глубины сознания, что...» — на язык, в котором есть только «взял», «сказал», «сделал», «ударил», «выстрелил» и т. д.?

Повторяю: перевод виртуозный. Причем особенно дается Житкову все тончайшее, нежнейшее, неуловимое и, казалось бы, совершенно непереводимое. Сцены влюбления: Саня — Таня, Надя — Филипп, Гая — Израильсон... Вавич — Груня:

«Они сидели близко и слышали, как шумит какой-то поток в голове. Не мысли, а шум. Как будто они едут, катят по дороге...»

В это время вышла из кустов девочка, красная, напряженная. Она неловко ковыляла голыми ножками в носочках. Сзади на веревке ехал по песку ватный зайчик.

Груня вдруг встала, зонтик полетел назад... Груня присела к ребенку, обхватила его полными горячими руками, прижала и принялась целовать, без памяти, до слез. Она запыхалась, душила ребенка и не заметила, что плачет.

Виктор смотрел широкими глазами, слезы вдруг навернулись, он поднял руку и со всей силы стукнул кулаком по скамейке.

Груня оглянулась, взглянула мутными глазами на Вавича. Нянька вразвалку побежала к ребенку, с детскими граблями в руках, с куклой под мышкой.

Вавич встал, подал Груне зонтик. Рука чуть дрожала.

На главной аллее Вавич радостно и четко встал во фронт отставному интенданту. Не надо было — подарил старика».

Я привожу такую длинную цитату, чтобы показать фактуру (и качество) прозы на микроуровне. А вот уровень глобальной — с выходом на социальную проблематику...

«Земельный? — Тиктин насторожился: — Земельный национализм?» — Тиктин поправил пенсне на скользком носу.

«Конечно, все можно объяснить случайностью, — читал Тиктин. — Даже нельзя назвать человека шулером, если

он убил десять карт кряду. Случайность... Случайно могут оказаться вместе и сто двадцать восемь человек одного вероисповедания. <...> «Это наш «Земельный банк», роскошное палаццо... Нет, это русские хоромы с хозяином в боярской шапке, с боярской бородой, а вокруг — столычники и подъячие. Где уж поганым иноверам! Бьют челом...»

«Фу ты черт! — И Тиктин сдернул пенсне, ударил по газете. — Мерзость какая!»

Действительно, большинство служащих были русские. Было несколько поляков, немцы, был даже латыш, но евреев в «Земельном банке» не было».

Как реагирует на это Тиктин? Первая реакция (про себя!): *«Что же, реверансы все время? Расшириваться прикажете? Так?»*

Далее — неожиданный поворот: Тиктин вспоминает, как он «щегольнул юдофильством», отстаивая в городской Думе выделение земли под еврейское училище и как ему потом улыбались в еврейских лавках.

И — без перехода: *«Почему это передовитость измеряется еврейским вопросом? Да скажите, пожалуйста! Так эксплуатировать свою угнетенность!»*

Эти «качели» — не внутренний монолог. Внутреннего монолога в этой прозе уже быть не может, есть лишь внутренние жесты, разрозненные душевные движения, сравнимые с «репликами в сторону» классицистской драмы. Но вот появляется реальный собеседник — бухгалтер. Теперь Тиктин высказывает свою ярость другому, вовне. *«Это, скажите мне, чей национализм? Тех, кто только одну свою нацию и видит».*

Дальше разговор идет по обычному руслу: *«...а вы их спросите — есть ли хоть один русский в конторе у Брунштейна, у Маркуса?»* И по дороге домой Тиктин уже обращает внимание на избыток еврейских лиц.

Но спустя пятнадцать страниц (соответствующие нескольким часам «реального времени» и едва ли одному — читательского) Тиктин, обедая с сослуживцами, оправдывает авторов «пошлой статьи». *«А когда вас всюду тычут «жид» и у вас нет лица, а с жордой, харей, рожей жидовской вы должны всюду являться, посмотрим, как вы тогда запоете!»*

Вся эта дьявольская сложность, много-

сложность отношения русского интеллигента к «еврейскому вопросу» у Толстого стала бы предметом многостраничного анализа всеведущего автора; у Достоевского — развернутого спора нескольких персонажей (в котором, конечно, были бы заделы и так занимавшие автора «Дневника писателя» метафизические аспекты проблемы). Чехов? Да, ему хватило бы, может быть, и нескольких реплик. Только Чехов не писал романов. А Житков написал.

Интерес Житкова к только что затронутой теме, разумеется, неслучаен. Начать с того, что если одним его другом по Одесской гимназии был Николай Корнейчуков (он же позднее — Корней Чуковский), то другого, не менее близкого, звали Владимир Жаботинский. В 1905 году Житков вместе с Жаботинским участвовал в организации отрядов еврейской самообороны. Евреи его интересовали, и, конечно же, он был юдофилом. Любопытнее другое: в русской литературе начала XX века было два способа изображения евреев, которые могли служить «обоснованием» юдофильства. Первый — еврей-интеллигент (вариант после 1917-го: еврей-революционер), «человек нашего круга», «практически русский»... Житковым этот взгляд грубо и беспощадно пародируется: «А евреи некоторые бывают, я даже сам видел, прямо как русские, и даже не обижаются, сами говорят — я жид и смеются... Некоторые крестьяне даже, так что совсем как русские, и даже своих жидов ругают». Был и второй взгляд: идеализированный, какой-то совершенно теоретический представитель «святого народа», измышленный сторонниками христианского филосемитизма а la Владимир Соловьев. У Житкова — ничего подобного. Очень конкретные провинциальные евреи, далеко не образец интеллигентности и (по крайней мере на первый взгляд) одухотворенности (даже флейтист Илья Израильсон, в которого влюблена сестра Вавича, не Бог весть какой Спиноза; а так все — лавочники, зубные врачи...) А тщательность и реалистичность воспроизведения речевых оборотов и интонаций («Цыць на тебе! Там есть кто? Слушайте! Что вы хотели?») в ином случае вызвала бы обвинения в антисемитизме.

В городе, где родился Виктор Вавич, из евреев, кажется, только семья Израильсонов и есть. В другом городе, куда он отправился служить полицейским, околоточным надзирателем, «много людей, в осо-

бенности евреев». В остальном эти города — двойники. Провинция, но провинция живая, культурная, с университетом, с театром, с «политикой». Не душный добычинский «Город Эн», где 1905 год отдается глухим шумом за неизменной сценой. Нет, здесь идет борьба, спор. Пока вольноопределяющийся Вавич идет в полицию, другие молодые герои романа устремляются в революцию, в анархисты, в эсеры. Обеим сторонам автор дает высказаться. «Спокойно ночью спите, бай-бай? Спустили шторы и баста? А не видно вам за окном — в трескучий мороз, да-с! — стоит там городской! Да-да, которого вы фараоном дразните... А ну тронь вас кто в темной улице — так уж орете благим матом: городской! Яблоко на базаре стянут — городской! Лошадь упала — городской! Что ж вы не кричите — фараон! — позвольте спросить?» Это с одной стороны. Убедительно? Еще как. Маленький человек. Станционный смотритель. С другой: «Понимаешь, ты любишь женщину, женился, просто от счастья женился, и вот дети. Твои, от твоего счастья дети... и дети эти на табачной фабрике, в семь, восемь лет. Я сам таких видел. Они белье совсем, глаза большие, разъедены, красные и ручками тоненькими как научки работают... Ты бы что сделал?» То же ведь ничего не возразишь.

Здесь, конечно, есть свое лукавство. Есть игра с читателем. Как, например, зовут героя, рассказывающего про детей на табачной фабрике? Алеша. «Ты бы что сделал?» Был другой Алеша, который, услышав об издевательствах над ребенком, не выдержал и закричал: «Расстрелять!» А ведь дальше его дорога, по замыслу автора, должна была как-то пойти — в революцию... С каким же это Алешей выпивает Саня? Кого он прячет от полиции, кому никак не переведет деньги? Другой персонаж, Семен Башкин, — тоже живая цитата из Достоевского. «Цитируется», впрочем, не только русская классика. Илья Израильсон, добрый, милый парень, — почему он не скрипач? Не пианист? Что за двусмысленный инструмент дал автор еврею, которого безнадежно любит обреченная на безумие, на гибель русская девочка? (Как называется родной город Вавича — не Гаммельн ли? А в каком городе он служит?)

Но между этими двуплановыми героями и очень ясный, никем до Житкова не описанный рабочий Филипп, которого

приводит в революцию отнюдь не голод (он неплохо зарабатывает, ходит по ресторанам; кстати, жалование околоточно-го надзирателя Вавича было ниже зарплаты квалифицированного рабочего), и не мечта о мировой справедливости, а... недовольство мастером, который не похвалил как надо, не оценил работу молодого токаря, не воздал ему должное.

Не хорошие, не плохие — нормальные люди, которые преследуют какие-то сложные цели, у которых идеалистические устремления смешиваются с прозаическими, и всё — с любовью, с эротикой, с щенячьими восторгами юности... Все они участвуют в какой-то не ими затеянной игре, которая к пятисотой странице книги, к концу второй части, взрывается все объясняющим кровавым кошмаром.

«Бросают что-то с балкона, валят кучами и внизу режут, скачут — что это на одной ноге? Это брюки валят из «готового платья» — надевают брюки, скачут. И вдруг глаза упали вбок, на край тротуара, — человек лежит, тушей вмяк в камни. Искал лица — из кровавого мяса торчали волосы — борода, и вон белая ладонь из лоскутьев... Идет какой-то, шатается, раскореялся, тугие ноги: штанов много, и вдруг встал над этим. Санька видел, как лицом вздернула лицо ярость.

— А, жидовская морда! Жидера, твою в кровь — веру. — И железной трубой с двух рук с размаху ударил в кровавое мясо, где была голова, и молотил, и брызгало красное, вздрагивало тело.— У! Твою в смерть...»

В городе, где служит Виктор Вавич, происходит еврейский погром — при прямой поддержке полиции и участии переодетых в штатское полицейских (среди них — сам Вавич). В родном городе Вавича при разгоне демонстрации пострадала (сошла с ума от страха) его сестра. Легко увидеть здесь простенький мотив «возмездия». Но на деле с героями происходит нечто еще худшее.

Погром описывается на десятках страниц, все главные ужасы («Поклал жиденят у корыто, толчет прямо, ей-бога, у капусты...») беспощадно называются, но почти не показываются. Показывается только движение осатанелой толпы. Человеческое стадо — яростное, испуганное, бессмысленно рева, толчется в городском лабиринте. Этому стаду противопоставляется последний, отчаянный, безнадежный человечес-

кий, *личный* поступок. Некто Мамиканян, чья семья погибла во время погрома в Баку, пытается прорваться на помощь к громимым евреям — через полицейский заслон. Его пристреливают. *«И улетел свет»*. Людей, которых описывала русская проза XIX века, больше нет и не будет.

Вот о чем книга. И не случайно она называется по имени не самого вроде бы главного персонажа (хотя и связывающего действие воедино). С другими героями как будто ничего не случилось. Они и не знают, что перешагнули черту и оказались в мире, адекватном использованному для их описания языку. Мире, в котором сами они уже не нуждаются в *переводе*. Душевные сложности им уже не по чину. А Вавич — самый несложный из всех, но все-таки человек, личность, «я» — превращается в ничто в грязь, в падаль. Его убивает женщина (женщины в этом новом, неизведанном мире сильнее мужчин), и начальство брезгливо отстраняется от его смерти, не желает ее расследовать.

Почему в качестве символа начала XX века избран именно погром? Житков не мог не знать статьи Жаботинского «Русская ласка» (1910), блестяще написанной, но такой же «тенденциозной», как и та заметка про «земельный национализм». Жаботинский обвиняет классическую русскую литературу в равнодушии к судьбам национальных меньшинств Империи и даже враждебности к ним. Между прочим, он возмущается «Тарасом Бульбой» Гоголя, где с пафосом, с восторгом описан еврейский погром, — «невиданный пример в мировой литературе». Не исключено, что Житков своим романом ответил другу юности. Можно, впрочем, увидеть в его книге, законченной в год принятия нюрнбергских законов, мрачное пророчество.

Так или иначе «большая» историческая и художественная правда в этом взгляде была. Что касается правды эмпирической... Попустительство полиции погромам было повсеместным, участие Рачковского и Комиссарова (чинов охранки, последний потом работал в ЧК) в организации погромов в 1905—1906 годах несомненно, но прямое участие переодетых полицейских — это все же эксцесс. Однако не требовать же, чтобы автор «для симметрии» изображал эксцессы по другую сторону баррикад: например, взрыв на железнодорожном вокзале, организованный какими-нибудь максималистами-безмотивни-

ками? Тем более что в третьей — послекастрофной — части вполне отчетливо говорится о сращении революции с уголовным миром.

Шок, пережитый русской интеллигенцией в связи с погромами начала века, неслучаен — хотя погромы происходили и раньше: и еврейские в Западном Крае, и армянские в Закавказье. Но см. вышесказанное про николаевских солдат и крепостных. Впервые представители интеллектуальной элиты почувствовали, что происходящие ужасы касаются и их лично. Впервые они ощутили себя не защищенными от стихии насилия. Почему? Потому что городской оставил свой пост и присоединился к бандитам.

Так начался XX век. Чтобы «Виктор Вавич» увидел свет, век должен был закончиться. Книга, набранная в 1941 году, оказалась «неуместной» (Фадееву хватило времени, чтобы в первые месяцы войны, под бомбами, прочитать и забраковать «талантливую книгу»). Набор был рассыпан. Почему «Виктор Вавич» не привлек внимания издателей в дни перестройки, остается загадочным. Может быть, дело именно в несовпадении жанра и фактуры, делающем книгу «чужой» и для любителей Добычина и почитателей Шаламова, и для читателя самого распространенного, «постнабоковского», эстетского типа, и, с другой стороны, для поклонников Гроссмана и Солженицына. Чтобы прочитать книгу Житкова, надо сделать усилие. Но она того стоит.

В конце концов это последний русский роман.

Валерий ШУБИНСКИЙ

Поэзия «над Законом»



О. Проскурин. ПОЭЗИЯ ПУШКИНА, ИЛИ ПОДВИЖНЫЙ ПАЛИМПЕСТ. М., «Новое литературное обозрение», 1999.



Станция столичного метрополитена «Пушкинская», своеобразная архитектур-

ная реплика на ежегодные мероприятия вокруг «нашего всего», хранит немало гениальных обмолвок. Бронзовеющее пророчество о всяком сущем языке соседствует с высказываниями о Москве и Михайловском. Ожидающие поезда народы скользят глазами по витиеватым строчкам, на фоне которых незримо присутствует учительница начальных классов с длинной указкой. Но авторитет ее сегодня, похоже, близок к нулю.

Торопливое, размашистое время за просто проходит мимо авторитетов. Культура постмодерна заменила их знаками и масками, поставила в новый контекст. «Я помню чудное мгновенье/ Люблю тебя, Петра творенье/ Невы державное течение/ Кто написал стихотворенье?/ Я написал стихотворенье?» Эти стихи Вс. Некрасова, актуализирующие оппозицию «автор — произведение», помогают взглянуть на классика другими глазами, почувствовать движение знакомых текстов в новом пространстве. Этой цели способствуют и такие глубоко научные филологические штудии, как фундаментальная монография О. Проскурина «Поэзия Пушкина, или Подвижный Палимпсест». Исследователь (как сказано в аннотации) показывает связь панталон, фрака и жилета с полемикой о старом и новом слоге, размышляет о Владимире Ленском как о поэте-порнографе, отслеживает в поздней пушкинской лирике превращение мифа о священном государстве в миф о сакральной личности. Он стремится быть одновременно и серьезным, и доступным рядовому читателю. Говорить по существу, не снижая планку исследования, и в то же время оставаться веселым и изящным.

Правда, автору не всегда удается удержать взятый тон, и тогда на фоне его высказываний появляется знакомая учительница начальных классов. Конечно, на нее можно не обращать никакого внимания, как это делает толпа на «Пушкинской». Но, поскольку стихи все-таки не манная каша и разговор о них адресован штучному потребителю, хочется поспорить с ней — единственный раз, на перемене. И то ради девочки из соседнего ряда.

Спор касается такой деликатной проблемы, как материя текста. Попросту говоря, вопроса о литературной норме. Анализируется знаменитый «Памятник». Справедливо утверждая, что ключевой смыслообразующей оппозицией пушкинского стихо-

творения является антитеза *Памятник нерукотворный/ Александрийский столп*, автор отмечает две основных традиции объяснения смысла «Александрийского столпа»: «согласно первой Пушкин имел в виду Александровскую колонну в Петербурге, согласно второй — Александрийский маяк». О. Проскурин предлагает собственное толкование фразы: «Эпитет “Александрийский” в пушкинском тексте — не неологизм и не грамматическая вольность. Обозначая петербургскую Александровскую колонну, эпитет действительно связан с египетской Александрией». При этом он отбрасывает как несущественное толкование Шустова, отождествившего Александрийский столп с Александровской колонной. По мнению Шустова, замена прилагательного Александрийский на Александрийский произведена «исключительно по соображениям стихотворной метрики. Это — своеобразный неологизм, поэтическая находка поэта». Не соглашаясь с подобной аргументацией, Проскурин пишет: «Даже если Пушкин создавал неологизмы... он законов языка не нарушал, мысль же о том, что Пушкин совершил это насилие над языком для того, чтобы втиснуть слово в четырехстопный ямба, исполнена непреднамеренного комизма».

Но так ли уж не прав Шустов? «Поток тайнослышания» обходится с предметами, темами, с внутренним и внешним миром человека как с объектом. Это хрестоматийная истина. Как заметил И. Ахметьев в одном из стихотворений, «ну окно здесь для рифмы/ как ты не понимаешь/ — а что не для рифмы?/ — ничего не для рифмы». И «законы языка» для поэта тоже могут быть всего лишь материалом для построения текста. Штамп о прозрачности, точности, гармоничности и естественности пушкинского стиха создали пушкиноведа. Но, если присмотреться, у «нашего всего» можно найти и чистый концептуализм («Евгений Онегин»), и постмодернистскую игру со штампами, и пластическое отношение к слову, допускающее нарушение синтаксических норм, отступление от логики дневного сознания. Последнее отметил, в частности, Л. Слонимский. В стихотворении «Для берегов отчизны дальней» почти неосознанно становится синтаксическая неувязка в последних стихах автографа:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ним и поцелуй свиданья...

«Это с ним заменяет здесь слишком прозаическое “вместе с тем”», — пишет он в книге «Мастерство Пушкина» (М., 1963). Исследователь приводит еще несколько примеров нарушения синтаксических норм:

Когда ж умчится ночи мгла
И ты мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забить любовь до новой ночи.

(«Начальное придаточное предложение предполагает иное продолжение: то пусть душа моя...»)

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

(«Дай вам Бог...», кажется, относится к какой-то другой конструкции»).

Примеры легко продолжить:

Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра к милой возвратись...

Почему, в самом деле, не сказать: «Завтра к Нине»? Видимо, потому, что «ничего не для рифмы». Поэт чувствует, что здесь, как в разговорной речи, обязательно должен быть какой-то перехлест, неувязка. Иначе взволнованность автора может не дойти до читателя. Пушкин здесь не столько идет по пути Жуковского, сколько выявляет природу поэтической речи. Или такое восьмистишие, рисующее не 1828 год, а этак 1950-й или около того: совершенно советские пространства, и соответствующая реакция на них, и бежать хочется, и некуда, и маленькая ножка — руку протяни. Впрочем, с маленькой ножкой проблема:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Всё же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Выделенная строчка решительно ломает грамматические нормы. А комментаторы, следующие только за логикой дневного сознания, оказываются в тупике. «Контрастом к описанию холодной и угрюмой северной столицы, где царят неволя, холод, скука и гранит, является второе четверостишие, лирически тепленное иронией, глубоко интимным, личным признанием. Поэту становится «жаль немножко» всего этого (?) при мысли о скорой разлуке со столицей, ее

холодным гранитом, так как именно здесь ступала «маленькая ножка», именно здесь вьется «золотой локон», — утверждает Н. Л. Степанов (в книге «Лирика Пушкина», М., 1974). Непонятно все-таки, чего *этого* жаль. Маленькой ножки (выражение, имеющее, к слову, и гетеросексуальный окрас — слабосильный фаллос Петербурга)? Но об этом не говорится. Или все-таки «пышный город»? Но тогда можно было бы просто сказать: «Все ж мне жаль тебя немножко». Логически ясно и просто. Но — сразу исчезает наполненность города живыми людьми. Для Пушкина внешнее пространство важно не менее, чем внутреннее. «Вы» звучит как «я», как «моё» переживание. «Вас» введено для семантической многозначности и символической насыщенности стиха. Возникает «бездна пространства», о которой писали многие. Логическая неувязка создает облако смыслов, площадку, на которой могут плясать самые разные филологи.

Вернемся, однако, к «Памятнику». Вернемся, точнее, к той главе проскуринской монографии, где он говорит о новозаветной топике. *Александрийский столп*, по мысли ученого, связан с эсхатологией, с отказом от кумира христианской Империи ради духовной свободы. Автор неоднократно цитирует послание к Галатам апостола Павла (Гал. 4, 21—26, Гал. 5, 1, Гал. 2, 4—5), где манифестируется независимость от Закона. Полностью соглашаясь с мнением исследователя о том, что пушкинское «непокорство» находится в оппозиции рабскому и безличному «покорству» мирской власти, заметим, что апостольское послание имеет и «стиховедческий» аспект. Апостол, рассуждая о Законе, не отвергает его. Он различает два различных уровня его выполнения. Первый — ограничительный — связан с жестким соблюдением требования декалога: око за око, а не два ока, не три. Второй — когда человек способен любить Бога и поступать при этом как хочет. В рамках поэтического поведения Закон неизбежно оказывается связанным с нормой речи. Пророческое служение поэтов неоднократно описывалось в литературе. Часто оно было пророческим лишь по форме, как дань романтизму. Но иногда в нем действительно воскресали фигуры речи и поведения правдолюбцев древнего Израиля. Языковые интуиции в этом смысле орга-

нично подключились к пророческой парадигматике.

Ситуация «под Законом» — первого уровня — предполагает правильную, нормированную речь. Второго уровня — допускает разного рода сбивы (при этом, однако, следует иметь в виду, что сами по себе сбивы еще не свидетельствуют о языковой свободе, текст может быть выстроен на неправильностях как приеме, косноязычная речь может просто-напросто не дотягивать до «законного» уровня).

Как бы там ни было, «поток тайнослышания» трудно отследить на приборах стиховедов. Но он, как ни крутись, — сердцевина поэзии. Для продолжения разговора можно было бы взять примеры из монографии О. Проскурина. Их здесь более чем достаточно. Так что, споря с Шустовым, исследователь, похоже, спорит сам с собой. По всей вероятности — выдвинем такое предположение, — отказ от шустовской аргументации связан с желанием автора выстроить собственную концепцию. Нисколько не отвергая блестящее герменевтическое толкование О. Проскурина, в заключение скажем, что для интерпретации *Александрийского столпа* вполне можно было бы остаться в скромных филологических рамках.

Борис КОЛЫМАГИН

Книга «на вырост»

●

Владимир Гандельсман. ТИХОЕ ПАЛЬТО. Новые стихотворения. СПб., «Пушкинский Фонд», 2000.

●

Как ответить на вопрос, что такое стихи Владимира Гандельсмана, — блестящий традиционализм, не ускользающий из рамок традиционных представлений о традиционной петербургской поэзии конца XX века? Или же некие авангардные построения, даже местами заумь, но воспринимаемая только в таком режиме, когда слова порою распадаются на составные части, на буквы, и их не то чтобы последовательность, но расположение ощутимо всеми фибрами,

жабрами, чем там еще воспринимают поэзию.

В «Балладе по уходу», например, — где в самом названии, в самом языке держится как «уход за больным, престарелым», так и «уход из жизни». И все это плотносклееносредствами того же самого языка:

Шел, шел дождь, я приехал на их,
я приехал на улицу их, на их,
всё друг друга оплакивало в огневых.

Мне открыла старая в парике,
отраженьем беглым, рике, рике,
мы по пояс в зеркале, как в реке.

При этом части слов не теряют смысла, а ловят какие-то новые его оттенки, уточняют образ — в этом самом «рике» видятся фрагменты отражения в трюмо. Или эхо старческих голосов, падение листьев осенью, слов, не имеющих в общем-то значения.

Стереоскопический эффект поэзии Гандельсмана вообще огромен:

Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть как сверкает ярко та

елочная, увидеть
сквозь еще полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений

Поэт чудит, плачет, поет, говорит; он пока не окончил школ — о, вечный мальчик петербургской поэзии — и не надо. С этой точки зрения кажется не совсем естественной изначальная установка некоторых стихотворений: сидит автор в одиночестве в кабаке. Ведь в том-то и дело — в любой попытке описания пространства — вокруг он смотрит детскими глазами и всегда замечает те детали, которые взрослому невозможно заметить:

Не слишком красивая пара
целуется у окна,
короткие пальцы пожара
любовного на затылке его она.

.....

Он крупно легко зевает,
она встает в туалет,
он ее направляет
шлепком, несколько лет

проходит, за ней проходит
он в туалет,
они взаимно и постепенно находят
губы друг друга. Падает свет.
Закатывается под стол. Едва ли
найдешь его. Сытые,
они покидают, и я едва ли
хотел бы видеть их сном убитые.

Текст называется «В Блумингтоне», но это могло бы быть где угодно. Поэт не выходит из кафе, он выходит из того, что всегда теснее, — из времени и из грамматики. Они (он и она) тоже вроде бы не уходят, но «покидают». Очень простые слова, и только синтаксис несколько смещен, сдвинут, но из-за этого почему-то остаются неразрешенными многие вещи.

Хотя в конце концов поэзия в любом случае — не детектив по пятницам, напоследок же — самое главное: «о, тихое пальто,/ ты куплено на вырост»... — мотив, что эту книгу, «купленную на вырост», так сразу и недовоспримешь.

Дарья СУХОВЕЙ

Пути России

●
КРАСНЫЕ ХОЛМЫ. Альманах. М., Издательский дом «Городская собственность», 1999.

●
Материалы, опубликованные в альманахе «Красные холмы», посвящены проблемам современной России, страны, прошедшей через горнило политических и экономических реформ. Авторы этой публицистической книги — известные ученые, писатели, журналисты. Альманах продолжает традицию, памятную выпуском легендарных «Вех». Тогда, в начале века, в 1909 году, «Вехи» вызвали неслыханный общественный резонанс. Сборник был написан людьми, составлявшими цвет нации, вызвав шквал рецензий и острую полемику. Нельзя забывать, что «Вехи» вышли в эпоху слома старой монархической системы, в эпоху либеральных реформ, в эпоху провалившейся революции 1905—1907 годов.

Вместе с тем Серебряный век русской общественной мысли в некотором роде был «началом конца». Русская интеллигенция, получив мощный заряд энергии возрождения, обещала стать передовым интеллектуальным отрядом Европы. Никогда прежде Россия не вмещала столько великих умов, сострадавших своему отечеству, но следующая революция

разорвала не только геополитическую реальность Российской Империи, но и реальность русской интеллигенции, большинство передовых представителей которой оказались высланы за пределы родины.

Сегодня, в конце XX века, постсоветская Россия и ее интеллигенция представляют собой не менее сложный комплекс идей и настроений, а люди, страдающие своему отечеству, по-прежнему размышляют о его настоящем и будущем. Искренность и логика, глубокий анализ и ясное видение проблем — вот позитив «Красных холмов». В стороне от предвыборной шумихи и новейшей пропаганды в духе public relations происходит работа, рассчитанная на пробуждение самостоятельного мышления. Материалы альманаха призывают читателя не закрывать глаза на очевидные факты, но осмысливать их. Россия больна; боль не только нравственная, но и физическая пронзила страну и ее народ.

Есть внятная логика в том, что открывает альманах очерк писателя Олега Павлова. Предельно четко выражено здесь отчаянное положение россиян. В основу «Русских писем» Павлова положены подлинные письма, адресованные А. И. Солженицыну. В них — крик о помощи, крик душевной боли, и автор принимает эту боль на себя. В одном из писем есть замечательные слова: «Русский тем счастлив, что его Родина в величии». Так могут ли быть счастливы россияне, если видят, что их Родина «унижена и оскорблена»? Письма обнаруживают чудовищный диссонанс насаждаемой сегодня в России идеологии «всеобщего обогащения» и реальной жизни. Олег Павлов пишет: «...никакой гуманитарной революции не произошло, лечат человека — а ему еще больней». Во всех без исключения письмах звучит одна и та же мысль: слишком много лжи вокруг истинного положения дел, слишком много пустых фраз о правах человека, и эта ложь, как многотонный пресс, давит на сознание людей, порождая отчаяние и сознание безнадежности любого сопротивления.

Главное для Олега Павлова — нравственное положение человека. Писатель не только регистрирует факты, но и выдвигает ряд обобщений и предложений: и по вопросам административного устройства, и по вопросам идеологии — вплоть до требования к государству признать

бедность общественным злом. Нам остается одно, убежден писатель, «жить по совести», ибо «среди нас большинство остаются к человеческим мукам по-звериному глухи».

Известный американский писатель и публицист Стивен Коэн размышляет о ходе российских реформ в их социально-идеологическом контексте. Резюме Коэна категорично: «...краха Союза не было. Он был упразднен немногочисленной верхушкой руководителей и высшей номенклатурой по причинам, связанным в первую очередь с собственностью и властью». Коэн пытается осмыслить, каким образом произошла «трансформация страны в нищее государство». Вступая в спор с американской советологией, автор приходит к выводу, что процесс перехода к обществу западного типа с политической и культурной точек зрения в России отсутствует. Вместе с тем подчеркнута мощное возрождение тоталитаризма в США, ставшее выражением американского идеологического триумфализма. Профессор Коэн последовательно излагает факты российской истории 90-х годов XX века, отмечая, что идеологический прессинг и по сей день не позволяет доносить до сознания общественности альтернативную точку зрения по вопросам реформ в России: достоянием гласности не стали ни позиция Синявского, ни Солженицына.

В обширной статье Юрия Буртина проанализирован феномен нэпа, дана подробная характеристика состояния советской экономики до его введения. Позитивным явлением считает нэп и Вадим Белоцерковский. Анализируя становление капитализма в России с XIX века, автор приходит к выводу о чуждости этой социально-экономической модели для россиян, отмечая, что развитие капитализма в России вызвало две революции — 1905-го и 1917 года. Однако Белоцерковский не склонен рассматривать капитализм как негативное явление, предлагая осуществить синтез капиталистической и социалистической моделей. Разговор о возможностях социалистической модели общества продолжен и В. Межуевым. Что такое социализм, как он соотносится с ныне существующей стратегией развития России и каковы его перспективы в нашей стране? Автор статьи убежден: реальный социализм не состоялся, хотя отдельные элементы модели

проявили себя не только в СССР, но и во многих индустриально развитых странах мира.

Что принесли реформы России? Какова их цель, какова цель деятелей, предложивших и осуществивших в стране очередные крупномасштабные перемены? Обойти эти вопросы нельзя, сама жизнь заставляет задуматься о предназначении и смысле любой социальной деятельности. Речь идет в первую очередь об ответственности за «содеянное». Осознают ли современные политические деятели, какое бремя ответственности возложили они на свои плечи, на какую судьбу обрекли Россию в результате «безудержного реформирования»? На какие основания они опирались? Ведь беспричинных следствий, порождающих социальные, геополитические и экономические изменения, не существует.

Авторы альманаха почти единогласно сходятся во мнении: отечественные СМИ создали две страны, два мира. Один — для богатых, другой — для бедных. Большинство граждан нашей страны еще совсем недавно имели жизненный уровень, несравнимый с теперешним, и имеют память, позволяющую им сопоставлять цели и идеалы того общества и сегодняшнего. На этом фоне совершенно справедливо звучит негодование авторов «Красных холмов» по поводу положения дел в отечественной науке, культуре и образовании. Отечественная наука, еще совсем недавно гордость страны, терпит неслыханное унижение, пущенная в свободное плавание по рыночной стихии.

Академик с мировым именем Никита Моисеев убежден, что в России невозможны перемены к лучшему без смены политических элит. «Россия — урок миру, — пишет он. — Мир транснациональных корпораций привел к мировому тоталитаризму особого типа со своими жандармами».

Замечательный очерк, посвященный Н. М. Карамзину и М. М. Сперанскому, публикует на страницах «Красных холмов» профессор Ю. Пивоваров. Он размышляет о мифотворчестве в русской истории, стремясь обосновать две системы политического мышления. Его герои — Сперанский, давший России понятие о принципе разделения власти и идею Государственного совета, и Карамзин — поборник абсолютной монархии, воплотивший свои

идеи в «Истории государства Российского».

Об исторических судьбах русской интеллигенции, ее предназначении и смысле ее деятельности размышляет М. Л. Гаспаров — академик РАН, выдающийся филолог-классик. Гаспаров возражает прозвучавшему в научной публицистике мнению о некой «элитарности» интеллигенции, подчеркивая, что интеллигент в первую очередь есть «человек, несущий в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный».

Несколько статей сборника посвящены российскому искусству и архитектуре. Москва и ее новый архитектурный облик, лихорадка строительства, многообразие стилей, органично подчеркивающих столичную динамику, — все это говорит о том, что город живет и обновляется, ничуть не уступая в великолепии зарубежным мегаполисам.

Краткий очерк Александра Якимовича «Русское искусство в XX веке» рассматривает революционный авангард, социалистический реализм и неофициальное искусство второй половины XX века в их развитии. Автор очерка пишет о художниках-новаторах, чьи имена прогремели по всему миру: Врубеле, Сомове, Баксте, Клюне, Малевиче, Татлине, Шагале, о классиках архитектурного авангарда во главе с К. Мельниковым. Возвращению в «сталинскую» эпоху традиционного искусства и его идеологической роли в строительстве советского общества посвящены отдельные строки очерка.

«Красные холмы» пытаются через историческую ретроспективу обнажить корни современных социальных противоречий. Дело не только в том, что Россия обнищала вместе с ее народом. В альманахе настойчиво проводится мысль: наша страна обладает неистощимыми интеллектуальными ресурсами. Сохранение этих ресурсов и вовлечение их в позитивную деятельность на благо страны должно стать приоритетным делом на пути к социально-экономическому, интеллектуальному и нравственному возрождению. Но возрождение невозможно без выпрямления морального пространства вокруг собственной личности, поскольку любая деятельность несет в себе доминанту высочайшей ответственности. «Красные холмы», продолжив традицию «Вех», не подводят итоги, а призывают к диалогу.

Диалогу, направленному на понимание сути проблем, возникших не в одночасье.

Максим КУЗИН

Энергия почина, или Философские роды постистории

С. С. Хоружий. О СТАРОМ И НОВОМ. СПб., «Алетейя», 2000.

Из опубликованных за последние годы в солидных изданиях статей, частично уже разобранных на цитаты другими авторами (особенно виртуалистическая «Род или недород»), у Сергея Хоружего сложилась книга. Название ее повторяет заголовок написанной в 1838 году статьи Хомякова, с которой, кажется, следует вести отсчет не только славянофильства, но и евразийства — не поздней, а, наоборот, самой ранней из всех форм выражения славянофильской идеи. Сам по себе Хомяков в общем-то не очень жалует Хоружим, так что название включает естественный элемент отстраненной авторской иронии, увы, не уравновешенной необходимой в таких случаях самоиронией.

Автор не просто демонстрирует открытое им новое, но приглашает присутствовать на его драматичных и мучительных родах. Он предъявляет новую концепцию русской философии, пережившей «родовую травму» несоответствия означаемого и означаемого. Основу для долгожданной свободной встречи России с Западом автор ищет в преодолении бинарной оппозиции Россия — Запад, открывая для этого третий структурный уровень — «восточно-христианский дискурс», патристико-аскетическое мышление. Хоружий выясняет, что этому дискурсу соответствует особый тип «энергийной» (а не сущностной) онтологии, новое понятие энергии. Путь «бесконечной патристики», «внимания-трезвения», «умо-зрения» как точное, «правое» держание фундаментального онтологического вектора от человека к Богу, где догмат никак не оковы мысли, а ее стимулирующее и питающее начало. Догмат здесь — идиома, свернуто доносящая до разума

сверх-(но не анти!)-разумный опыт цельности и Богочеловеческого бытия-общения, нечто вроде философского вечного двигателя. Энергийная реальность включает и текущую возможность аисторичной истории, «постистории». Сама «конституция Покаяния» как парадигма преобразования «икономии» конечности и смертности должна строиться не в эссенциальном, а энергетическом дискурсе (как речь о волениях и побуждениях, режимах сознания и стратегиях деятельности). Раскрывающаяся онтология виртуальности вынуждает вновь обратиться к истокам анти-эссенциалистских тенденций, к роду не-сущностных и не-именных, а глагольных понятий, носителей «энергии почина». Компьютер энергийно, а не чисто механически помог обнаружить Хоружему наряду с виртуальным «суб-временем» или «недо-временем» само место истинного самоосуществления, во всяком случае, возможность перехода в новую топикку: «Энергия как высказывание о бытии есть, конечно, бытие-в-действии, бытие-в-деле, бытие как осуществление (но, вообще говоря, еще не самоосуществленность). Прежде всего это действительно не есть имя бытия. Это — глагольное высказывание, говорящее не о том, *какое*, а о том, *каким образом* свершается бытие». Сквозь монитор-икону входящий в моду дискурс синергии предстает как «предельное сообразование, соработничество энергий человека энергиям Внеположного Истока». Образцом «свободной встречи» Востока и Запада представлена философия бытия-к-смерти Хайдеггера — как вариант стоического аскетического принципа предвосхищающе-приготавливающего переживания зол, противоположного «прячащему уклонению от смерти».

Парадигма Покаяния, вступающая в оппозицию с «нутряной» русской религиозной философией, приобретает у Хоружего все же какой-то вывернутый характер. Автор явно пытается совместить профессии акушера и хирурга с «бритвой Оккама» в руках, обручая антитезис с антиклимаксом. Акушерский пафос наглядно выразился в специфическом профессиональном юморе относительно одного из не очень удачливых носителей идеи Славянского Возрождения — «поэта с жутким гинекологическим псевдонимом», хотя преобразование немецкой фамилии Вагингейм в Вагинов на равных можно было проинтерпретировать как в патриотичес-

ком (на фоне переименования Петербурга в Петроград), так и несоизмерительном ключе. Вот уж воистину «Сестры тяжесть и нежность...»... Образчик стилия свободного философствования, помноженного на новейшую виртуальность: «Сбылось в точности по Мандельштаму, где-то сказавшему однажды...» («Если где-то кое-кто у нас порой...»)

«Так надо ли говорить о ней, надо ли ставить сие лыко в строку русской софиологии?» — решительно рвет автор пуповину, связывающую рекомендуемый им дискурс со свободной теософией Владимира Соловьева, а заодно с кабинетными утопиями типа корпорации «Карсавин и Евразийство». «Надо, Федя, надо», — следует воспитательно-гносеологический вывод. А ведь ряд задаваемых Хоружим вопросов: «Как возможно богословие после Освенцима (тезис)? Как возможна софиология после Октября (антитезис-антиклимакс, хотя не совсем ясно, какого из октябрей, 1917-го или 1993-го?)» — вполне можно было бы продолжить: «Как возможна демократия после Ельцина, насколько перспективна виртуальная бесконтактно-энергетическая гинекология в условиях крепкой Семьи?» Так ли уж актуален диагноз для благодушной софийно-антисофийной бухгалтерии князя Евгения Трубецкого, с бичующим обозначением года написания им «Смысла жизни» (1918): «...Подобная дребедень есть откровенное банкротство мысли — сколь мы ни разделяли бы ее нравственный пафос»? При всей авторской энергетической неэкономности книга все же получилась икономноинтересной.

Александр ЛЮСЫЙ

Реанимация контекста

●
Кирилл Кобрин. ОПИСАНИЯ И РАССУЖДЕНИЯ. Книга эссе. М., «Модест Колеров и “Дом интеллектуальной книги”», 2000.

●
 В определении стоит «книга эссе», что ж — здесь описания вещей и предметов перемежаются описаниями людей, ре-

флексиями в их адрес, вполне можно считать, что Кобрин писал эссе. Только это не так: эссе предполагают проведение некоторой линии, выбор, что ли, своего маршрута в известном городе. Что-то такое, что предусматривает просто подлаживание под себя и без того существующих обстоятельств, культурных ценностей или правил жизни: как я к этому отношусь, как они ласкают/кусают мои рецепторы?

Здесь этого нет, потому что отсутствует основа подобного консерватизма. Здесь и вещи, и какие-то штуки типа футбола, и люди — хоть Кюстин, хоть Пятигорский — выступают в качестве определителей, владельцев отдельных культурных пятачков. В книге происходит пересчет: а что на свете еще осталось? Или, более оптимистично, что есть тут теперь?

Это ощущение выводит книгу за пределы эссеистики, предлагая сообразить: что же такое стряслось?

Словом, раз все это явно не эссе, хотя по форме и эссе, значит, что-то произошло с пространством, в котором — даже рассуждая совсем уж лично о предметах, а это всегда уютные рассуждения — оказываешься вне эссеистики.

Очевидно, изменился дискурс — хотелось бы сделать торжественный вывод, который ничего не объяснит, потому что изменилось что-то другое. Так бывает, когда у тебя умрут все старшие: ты словно перестанешь быть, потому что понимаешь, что тебе уже не с кем уточнить какие-то подробности своей жизни, соответственно этих подробностей будто бы и нет, хотя бы потому, что ты по малолетству мог спутать то, что действительно наблюдал в пять лет, со сном, который видел тогда же; все перепутать и жить в придуманном пространстве. Не в самых важных деталях, а в частности. Которые, конечно, значат не меньше, а больше, потому что они незаметнее. Хотя это ощущение и не объяснить. Оно физиологичней. Но когда пробуешь объяснить — что-то такое и получается.

И вдобавок тут же ощущаешь, что раз так, то и какая-то твоя, безусловно, очевидная структура и последовательность жизни оказываются на деле фиктивными. Ее тебе, скажем, обеспечивали старшие — просто тем, что жили, присутствуя с тобой от рождения. Они этот же-

лоб, в котором все твои события происходили, и выдалбливали постоянно. А теперь — все надо заново. Вспоминать, устраивать себя. Потому что ты мог появиться на свет только что, каким-то искусственным объектом. То есть ты теперь стал кто угодно.

Это все к тому, что когда меняется страна, то ощущение сходное. Тут и речи нет о ностальгии по чему-то утраченному — время эти утраты и без того производит, но здесь все выглядит куда резче.

Будем считать: некий взрыв. Во всяком случае, в том, что касается культурного пространства. Ну в самом деле, что тут теперь есть от этих долговременных советских идеологических раскладов, относительно которых ориентировались и создавались культурные ценности — назовем это так?

«Деррида», например, — нечто четырехколесное, двухместное, с откидывающимся верхом. «Батай» — припахивающие кадавром, назойливо душные духи; «Барт» — сорт трубочного табака, чуть мягче «Кавендиша»; «Делез» — анисовая настойка ядовито-желтого цвета. С Фуко все ясно: он, как известно, маятник. На фоне такого пиршества... «Хайдеггер» тянет лишь на сорт светлого пива».

Вопросы такие: во-первых, что помнишь, видишь теперь, после взрыва? Во-вторых, что из этого сможет жить дальше? В-третьих, чего сам-то теперь хочешь?

У Кобрин свой ряд нюсмейкеров — Пятигорский, Фуко, Кюстин, Барт, — но в проекциях на нынешние прикиды. Мысль нехитрая, но дельная: переодеть их всех в нынешние штаны-куртки. Представлять, сидя в метро, кто тут мог бы быть Шопенгауэром.

Кобрин сводит вещи, явно вместе неуместные. При чем тут Блок на странице 22-й, где речь идет о Кюстине (Блок там нужен Кобрину, чтобы косвенно подтвердить его правоту, вот уж Блок для этого жил)? Но такова степень имеющегося распада, что даже такие — демонстративные — сопоставления оказываются корректны. «Список мутантов нашего века известен, печален и, увы, длинен; длинен настолько, что не стоит и начинать, помянем лишь самого колоритного — бритого наголо культуролога Фуко, в черном кожане, верхом на «Харлей-Дэвидсоне»».

Есть очаровательные по наглости обороты, к примеру: «Цель этого текста...» С их помощью артикулируется полное отсутствие предвзятости относительно того, в какой среде цитирований и приличий мы находимся. Точно так же Кобрин будет рассуждать о смысле пьянства, о геополитических и исторических особенностях футбола.

История как бы психолога Выгодского оттрактована так, как ранее трактована быть не могла. По той уже причине, что прежние комментаторы не испытывали на себе столь резко меняющегося исторического времени и соответственно были вынуждены находиться в определенной плоскости, а мы получили опыт среды, постоянно менявшейся в течение стольких лет, да и размерность этого пространства больше.

Конкретно определяя книгу Кобрин, можно, наверное, сказать, что она — один из первых вариантов описания этого самого пост-катастрофного (в хорошем смысле — потому что последствия вовсе не катастрофические) культурного пространства. Она не отмечена ностальгией по предыдущим схемам рассуждений и дает пример способов рассуждений, их чувственной ориентации в новом культурном пространстве.

Вместе сведены совершенно разные фактуры. Какая-то из них или их сочетание должны сработать, поймав резонанс. Автор — и это хорошо! — не занимался разглядыванием результатов.

Получилась вывернутая герменевтика: производящая контекст. Дающая вспомнить, что такая штука — контекст — существует.

Андрей ЛЕВКИН

Продолжение «Фауста»

•

Адольфо Биой Касарес. ИЗОБРЕТЕНИЕ МОРЕЛЯ. СПб., «Азбука», 2000.

•

Говоря о некоторых произведениях, необходимо обращать внимание на кон-

текст их появления. Представьте начало 40-х, когда электронные СМИ еще в зачаточном состоянии (исключая разве что радио), а уж о виртуальных мирах и слыхом никто не слыживал. И вот где-то в Латинской Америке, не относящейся к технически развитым регионам, появляется роман, описывающий «виртуальную реальность»! Понятно, что такой текст в конце 90-х не особо удивляет и даже кажется в чем-то тривиальным, почерпнутым из фольклора (таков, к примеру, роман «Дженерейшн П», приколы из которого напоминают застольные хохмы). Но в Аргентине! В первой половине века!

Причем речь не о сбывшихся «пророчествах», коих и у Жюль Верна предостаточно. Элементарная экстраполяция технических и научных тенденций в будущее может удивить разве что наивное сознание, еще не уставшее восхищаться так называемым прогрессом. В случае же Биой Касареса мы имеем дело с собственно литературой, которая не только предвосхитила то, что обрело пугающую актуальность в наши дни, но и сказала кое-что о человеке. А еще удивила воплощением, а еще оставила привкус Тайны... Впрочем, об этом по порядку.

Зададимся вопросом: почему уважающие себя авторы всячески отмежевываются от собственно фантастики и норовят самоопределиться через какой-нибудь «магический реализм» или «фантастический реализм»? Не из любви к реализму, думается, а чтобы дистанцироваться от той литературы, которая не озабочена убедительностью, а создает вторую реальность по закону: чего хочет моя левая нога. Здесь Биой Касарес моментально выпадает из парадигмы НФ (SF), поскольку с первых же страниц все, что он предлагает читателю, можно увидеть, услышать и даже почувствовать на ощупь. Принцип, принятый к неукоснительному исполнению еще Эдгаром По: о самом невероятном писать предметно, детально и убедительно — работает здесь на всех уровнях. Мы *видим* странные комнаты-многогранники, зеленые моторы, а главное — персонажей-призраков, выписанных пластично и одновременно — создающих ощущение нереальности. В свое время роман Биой Касареса вдохновил Алена Роб-Грийе на написание сценария «Про-

шлым летом в Мариенбаде», и тот, кто видел знаменитый фильм А. Рене, при чтении наверняка поймает себя на сходстве впечатлений.

Напомним еще одну азбучную истину: героем НФ (SF) является какая-нибудь завиральная *идея*, в литературе же исследуется то, что именуют душой. Хотя исследоваться может и отсутствие оной или, что ближе к нашему случаю, угроза утраты этой самой «психэ» по причине безграничной технологической экспансии, которую *homo sapiens* направил против самого себя. Впрочем, «утрата души» — тоже всего лишь *идея*, пусть и достаточно гуманистическая. Рассуждая на уровне гуманистических *идей*, мы могли бы поставить «Изобретение Мореля» рядом с «Островом доктора Моро» Артура Конан Дойла, поскольку тут даже имена персонажей перекликаются: Морель — Моро. Однако гораздо важнее — и глубже по сути — другая перекличка: Фауст — Фаустина. В переводе В. Симонова виртуальная героиня Биой Касареса сделалась Фостин, однако в более раннем переводе В. Спасской она именовалась именно так — Фаустина, что отсылает ко всей европейской традиции последних столетий и, конечно, к очевидному кризису европейской «фаустовской» цивилизации. Не исключено, что аргентинский автор, создавший свой текст в 1940 году, вдохновлялся в том числе и знаменитой книгой Освальда Шпенглера, который выделил ту самую «фаустовскую» душу, особо подчеркнув ее одиночество: «Зигфрид, Парсифаль, Тристан, Гамлет, Фауст суть самые одинокие герои всех культур». В этот ряд попадает и Фаустина, но прежде всего Морель (в пародийно-сниженном варианте, коль скоро речь заходила о «Дженерейшн П», сюда попадает и пелевинский Вавилен Татарский). Латиноамериканская литература, конечно, отталкивалась от европейского наследия, выстраивая собственный эстетический космос, но в данном случае мы имеем дело как раз таки с прямым продолжением магистральной проблематики.

И все же философские глубины, когда рассматривается художественный текст, не столь важны. Важнее другое: насколько талантливо и удачно автор умеет вплести философский контекст в ткань произведения и внедрить его в чи-

тательское сознание (или, если угодно, в подсознание). Биой Касарес делает это мастерски, ловя читателя на крючок приключенчески-фантастического сюжета, в который вплетается нравственно-философская драма. С самого начала включается сюжетный мотор, который работает не хуже, чем «зеленые моторы» изобретателя-сумасброда, заставляя читателя с напряжением следить за странными гостями и рассказчиком, еще не знающим, что перед ним — виртуалы. По сути, мы имеем своеобразный жанровый «микст»: приключенческое обрамление, психологическую драму отношений Мореля и Фаустины и фантастическую подоплеку, которая выявляется при каждом столкновении героя с этими призраками. Причем «микст» тщательно выстроен, сбалансирован, и потому в каждом микроэпизоде повествование вполне органично и всякий раз по-своему убедительно.

Долго живут те произведения, которые имеют в себе загадку и не претендуют на объяснение всего и вся. «Изобретение Мореля», безусловно, — загадочный роман, и в первую очередь это касается персонажа, устроившего на острове то ли виртуальный «рай», то ли наоборот. Морель — человек сумасшедший и в чем-то безжалостный: он же знал, что его изобретение, создавая трехмерную копию, отнимает жизнь у оригинала. И в то же время он явно несчастен, он идет на отчаянный шаг в том числе и в отношении себя, причем мотивы этого за кадром. В тексте мы имеем скорее результат длинной психологической преамбулы, заставившей Мореля обменять свою и чужую жизни на жизнь в варианте «повторяющееся кино». И это тактичное утаивание предыстории Мореля как раз и подталкивает трактовать образ как символический, как квинтэссенцию развития западного человека, который в наше время ринулся в область «виртуальности» просто с диким энтузиазмом.

Эта область и тривиальной, и ужасней того, что когда-то виделось аргентинскому писателю «сквозь магический кристалл». Пошлость телевидения (не тотальная, но в немалой степени) позволяет относиться к нему свысока, и в то же время его могущество заставляет видеть в нем нечто трансцендентное. При всем богатстве фантазии некоторые вещи Биой Ка-

саресу и в голову бы не пришли, хотя, с другой стороны, мы еще вроде бы не научились умертвлять живых, перенося их образ на экран.

Или уже научились?

Владимир ШПАКОВ

Европейская книга русского философа

●

Николай Плотников. «DEUTSCHLAND? ABER WO LIEGT ES?» Заметки о философии немецкой жизни. М., «Модест Колеров и “Дом интеллектуальной книги”», 2000.

●

Ушли в прошлое те времена, когда русский обыватель интересовался «заграницей» в широком смысле этого слова или «Европой» — в узком. Где те чеховские персонажи, в разгар бытовых бурь почитывающие газетку («Русские ведомости» или «Новое время») и восклицающие по поводу очередного балканского кризиса: «Это все твои проделки, Австрия! Узнаю тебя!» Где советские мэнэсы и инженеры — исправные читатели газеты «За рубежом» и педантичные зрители «Международных панорам»? Все в прошлом. Нынешний россиянин, занятый преимущественно борьбой за выживание, окруженный символами нового державного высокомерия — «Ешьте НАШУ колбасу!», презирающий Запад на манер дурацкого слезоточивого боевика «Брат-2», Европой не интересуется, разве что на предмет выпросить чего-нибудь, а то и позлорадствовать по поводу французской авиакатастрофы или очередного баскского теракта. Убогость нынешнего русского ментального изоляционизма особенно ярко проявляется на фоне русских же европофильских традиций; не буду вспоминать хрестоматийные цитаты от Чаадаева до Мандельштама.

В этом контексте появление новой книги русского автора, посвященной современной Европе, точнее — европейской стране, Германии, кажется просто чудом. Философ Николай Плотников, специа-

лист по творчеству немецкого философа Вильгельма Дильтея, научный сотрудник университета в городе Хаген, выпустил книгу эссе с «говорящим» названием «Deutschland? Aber wo liegt es?» и с не менее «говорящим» подзаголовком «Заметки о философии немецкой жизни». Книга представляет собой коллекцию текстов, написанных Плотниковым для разнообразных российских изданий: от «бумажных» до «электронных», от газеты «Сегодня» образца 1994 года до сетевой газеты «Polit. ru».

Издания такого рода обычно отличаются пестротой, эклектикой, отсутствием цельности. К тому же события, в них описываемые, довольно быстро забываются, книга теряет актуальность, превращается в цепочку мертвых следов к забытому источнику. В случае с «Заметками о философии немецкой жизни» дело обстоит по-иному. Цельность книге задает сам автор, его острый, аналитический ум, глубочайшая образованность, его доскональное знание того, *о чем он пишет*, наконец, его подход к разнообразным явлениям немецкой жизни. Вот об этом подходе стоит сказать особо. Это подход *европейца* к европейским делам, что отличает его от авторов прочих современных российских сочинений на «европейскую», «западную» тему. Сейчас в России принято педалировать свою «особость», «непохожесть» на Запад, потому и большинство современных сочинений о Западе есть воплощение «взгляда извне», «снаружи европейской, западной цивилизации». Боюсь, что это взгляд варвара.

Плотников — несомненный европеец, с удовольствием обнаруживающий и анализирующий специфически немецкий стиль жизни и прежде всего стиль мышления. Вот, например, начало эссе «Полвека под одной крышей», посвященного открытию в Бонне музея истории ФРГ: «Существует немецкая версия известного анекдота о слонах. Сочинение про слонов немец озаглавил: “Пролегомены к исторической метафизике слоноведения”». Именно хваленая германская «метафизичность» становится одной из главных тем книги Плотникова; даже не потому, что автор по специальности — философ, а потому, что «философия», «метафизика» и «жизнь» переплетены в германской повседневности особенно тесно. Философы — чуть ли не главные

чемпионы внимания немцев; речь даже не о «классиках» — Гегеле или Ницше, а о современных нам авторах: Гадамере, Хабермассе, Слотердайке. И это неудивительно. Подобно писателям в России немецкие философы были всегда фигурами публичными, во многом определяющими модели поведения всей нации. Приведу цитату из эссе Плотникова, посвященного 100-летию Ганса-Георга Гадамера: «...после окончания войны ему (Гадамеру.— Н. Л.) была доверена советскими оккупационными властями должность ректора университета. Но и теперь, как и в период нацистской диктатуры, Гадамер демонстративно аполитично отстаивал свои взгляды, слегка приспособливая их к господствующему языку. На открытии Лейпцигского университета в феврале 1946 года, после пламенных речей маршала Жукова, призвавшего по привычке бороться с “врагами немецкого народа”, Гадамер повествовал о фундаментальном значении науки и ее самостоятельной роли “в построении новой демократии силами всех трудящихся”».

Однако было бы ошибкой считать, что книга Плотникова посвящена исключительно возвышенно-метафизическим предметам. Отнюдь. Подобно своим предшественникам в русской словесности прошлого века — Александру Тургеневу и особенно князю Петру Борисовичу Козловскому — автор фокусирует внимание читателя и на вещах, так сказать, приземленных, а то и вовсе легкомысленных. Одно из лучших эссе в «Заметках о философии немецкой жизни» посвящено ... финалу эстрадного конкурса Евровидения и нескромному обаянию немецкого поп-певца Гвильдо Хорна. Остроумный разбор творчества этого эстрадного клоуна и пародиста приводит Плотникова к вполне серьезным выводам: «Революционный протест стал таким же культурным жестом, включенным в систему телевизионных шоу, как и консервативная защита “традиционных ценностей”... Гвильдо Хорн просто живет в системе наперекор господствующим в ней правилам, пародируя ее и иронизируя над самим собой. Без идеологии и, слава Богу, без всякого пафоса».

Прочитав сочинение Николая Плотникова, соглашаешься, слава Богу, без вся-

кого пафоса и без всякой идеологии с автором, утверждающим, что «жизнью движут все-таки разумные мотивы, которые поверх национальных границ доступны межкультурному выражению и истолкованию». Вполне европейская мысль. Русского читателя можно поздравить с умной, талантливой и — непременно — европейской книгой об одной из европейских стран.

Н. ЛУКАС

Текучесть твердых форм

О. А. Клинг. **АЛЕКСАНДР БЛОК: СТРУКТУРА «РОМАНА В СТИХАХ». ПОЭМА «ДВЕНАДЦАТЬ»**. М.: Изд-во МГУ, 2000.

Книга Олега Клинга об Александре Блоке оставляет впечатление о блоковской эпохе в целом, что и подтверждает суть этого поэта как символа своего времени.

Избрав эпиграфом блоковские строки: «Художник заключает рассеянный в мире многообразный матерьял в твердые формы. Эти формы должны обладать свойством текучести, они движутся вместе с жизнью, постоянно вновь и вновь воскресая», — О. Клинг и свой исследовательский взгляд ориентирует на «заданные» Блоком художественные принципы «текучести твердых форм». Хотя для писательской природы автора книги естественна забота о художественности своего труда, это, однако, не позволяет ему увлечься сугубо личностной интерпретацией сквозной темы исследования — темы *пути* Блока-поэта. Свое понимание пути поэта-эпохи О. Клинг выстраивает на фоне обширного блоковедческого материала, не только воссоздавая эволюцию блоковедческой мысли, но и параллельно освещая суть и происхождение литературоведческих понятий (к примеру, неслучайность того, что «именно в связи с Блоком Ю. Н. Тынянов сформулировал в 1921 г. понятие «*лирический герой*»), прослеживая общепоэтический контекст блоковских образов.

Драматургия развития блоковского слова убеждает исследователя в том, что Блок «стал воплощением судьбы русского символизма», «пришел в этот мир и ушел символизмом», ощущая «необходимость воплотить свой собственный миф в реальность, слить воедино *текст жизни и текст искусства*». Не случайно, составляя свою «лирическую трилогию», названную по аналогии с «Евгением Онегиным» «романом в стихах», Блок отступает от хронологического принципа, предпочтя тематически-хронологический, позволяющий «текстом искусства» обозначить логику развития «текста жизни». Свойственное символистам стирание границ между этими двумя сущностями наглядно выявляется в той трактовке, с которой О. Клинг подошел к образу Прекрасной Дамы, предлагая оригинальный вывод: «...в разговоре о «я» Блока есть еще один аспект, на который обычно не обращают внимания. Мир автора, в том числе поэта, включает в себя не только лирического героя, героев-двойников, но, казалось бы, оппозицию поэтическому «я» — Вечную Женственность... Безусловно, ...Прекрасная Дама связана с прототипами... Но в этом образе-мифологеме есть и отражение *мира автора*. Так, некогда Флобер говорил, что он сам был мадам Бовари, а Кюхельбекер, познакомившись в ссылке с главами «Евгения Онегина», повествующими о Татьяне, увидел в героине биографические черты Пушкина».

Имя Пушкина рядом с именем Блока в книге возникает не однажды. Но, как оговаривает сам О. Клинг, «не по прихоти автора. Дело не только в том, что речь Блока на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина (1921) стала блоковским публичным завещанием и в то же время предсмертным вскриком. Рассуждая о причинах гибели Пушкина, он писал: «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура». Но это он говорил и о себе». Автор уверен, что в этой речи, несмотря на стереотип восприятия блоковских слов о «веселом имени Пушкина», ничего веселого нет. «Если это и *веселье*, то фантазмагорическое, в стиле пушкинского «Гробовщика», в стиле «полугротеска» (в словаре Пушкина зафиксировано это слово)». Именно в

пушкинской речи, считает О. Клинг, проявилось в концентрированном виде мироощущение Блока эпохи *после* «крушения гуманизма» — последнего этапа его пути после создания поэмы «Двенадцать». В блоковских словах «И поэт умирает, потому что дышать уже нечем; жизнь потеряла смысл» Клингом прочитывается горчайший результат эволюции Блока — «утрата смысла

жизни», «шаг в столь любимую всеми символистами и самим молодым Блоком *бездну*».

Свое толкование блоковского пути Олег Клинг подводит к цветаевской трагической формуле судьбы поэта вообще, высказанной в связи со смертью Блока: «Удивительно не то, что он умер, а то, что жил».

Лариса ДАВТЯН



Поэзия жизни

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Молодая пара, еще не очень хорошо между собой знакомая, пребывающая на первой приятной стадии взаимной заинтересованности, ехала в трамвае на другой конец города. Вагончик был одинарный, промерзлый, ватно набитый укутанными пассажирами, так что ей приходилось (ехали на день рождения) оберегать неуклюжий кокон из грубой бумаги с торчащими из него, похожими на куриные, ногами гвоздик. Вскоре заворотом маленькой давки ее толкнуло, будто в яму, на освободившееся место. Поставив ей на колени тяжелую сумку с салатами, он некоторое время нависал над нею в почти неприличной близости, «молния» его задравшейся дубленки едва не оцарапала ее тугую от холода красную щеку. Внезапно на одной из остановок в вагоне сделалось свободно, и он, метнувшись без поклажи, успел занять пустое сиденье, прежде чем новый поток дышащих морозом пассажиров забил вагончик почти до потолка.

Потеряв его из виду, она некоторое время ехала спокойно. В заиндевелом окне с ледяными пролысынами проходили, искря и рассыпаясь, ранние огни; сцарапав с протаянного глазка белесый мнущийся ледок, она смотрела на тротуар и на шагающие, будто часовые и минутные стрелки, ноги прохожих, стараясь не пропустить малознакомой остановки. После она вспоминала, что в эти полчаса ей сделался как-то неприятен спутник, надежно скрытый напиравшими на нее животами и глядевший в противоположную сторону — в *другую* сторону от прогибавшегося под колесами, будто бесконечный мост, трамвайного полотна. Почему-то в своем зажатом уединении она с невероятной отчетливостью представляла его узкую черную бородку, похожую на костистом лице на лошадиную упряжь, и с неприязнью думала о его рачительности по части мелких удобств, о суровой по отношению к себе заботливости — словно он был какой-то специальный агент, которому любая экономия сил дает преимущество в борьбе. Кроме того, ей почему-то казалось, что в трамвае, толсто обернутые, едут не люди, а памятники: почти одинаковые фигуры с поднятыми руками, слитно качаемые разворотами вагона над ее глухой от тесного песка, как бы старушечьей головой.

Все-таки, несмотря на полный тромб и чей-то упершийся в колени невидимый чемодан, ей удалось успешно выгрузиться с цветами и салатами в заданной точке. Сперва ей показалось, будто среди пассажиров, лезущих, зависая, из осажденных задних дверей вагона, она различила знакомые вздернутые плечи и енотовую шапку. Тут же она поняла, что ошиблась. Приехавшие быстро рассасывались, ожидающие стояли столбами на цинковом утоптанном снегу, темный тяжелый трамвай, помушиному зудящий не налезавшей на чью-то круглую спину перекошенной створкой, нехотя трогал на зеленый свет. Некоторое время она ждала в растерянности, встречая ледяные вагоны, что невыносимо медленно, будто это грузились какие-то огромные файлы, ползли по рельсам из порошковой мути проспекта; деловитые граждане, торопящиеся в тепло, сталкивали ее, безвольную, на проезжую часть. Потом, добравшись на тупых от холода ногах (чьи отпечатки на тонкой крупке казались ей похожими на дактилоскопические оттиски) до потерявшей их, уже довольно пьяной компании, она узнала, что ее приятель там не появился. Не вдаваясь в детали ее не очень близкого знакомства с этим человеком, не позволившими ей написать заявление в милицию, скажем только, что молодая женщина больше никогда не увидела своего пропавшего спутника и никогда не узнала, что с ним произошло.

Что для одной истории конец, то для другой начало. Загадочное исчезновение немого словного типа, чей облик поразительным образом испарился из памяти героини всего за несколько дней, могло бы служить завязкой детективного романа. Автор такого был бы обязан исследовать каждого, кто явился или не явился в ту набитую битком нехорошую квартиру, выяснять детали биографий, потянуть за путаную ниточку давнего знакомства. В финале читатель вместе с героиней обязательно узнал бы фамилию злодея, что выманил героя из трамвая пачкой фальшивых долларов либо, вооруженный слоновым шприцем, вколол ему сквозь дубленку какую-нибудь гадость и выволок его, одурманенного, на конечной остановке — откуда рукой подать до издырявленного рыбацкими лунками глубокого пруда. Массовая литература на самом деле нестрашна. Несмотря на обилие крови и трупов, она разворачивает перед читателем всю историю целиком: загадка непременно венчается разгадкой. Подлинная прелесть хеппи-энда не в соединении любящих и не в вознаграждении добродетели, но в полноте обретенного *знания*. В этом смысле массовая литература — терапевтична.

И совсем не то реальная жизнь. Героиня рассказанной выше поразительной, но, кто бы что по этому поводу ни думал, *подлинной* истории принадлежит к довольно редкой человеческой породе, чувствующей в невинной обыденности белые пятна. Пруд, лежащий белым наглаженным пятном среди шершавой массы городских застроек, возник в этих заметках из ее ощущений, несмотря на то, что преступление на пруду проблематично: обитатель любой из окрестных многоэтажек, наблюдая манипуляции двух маленьких, как буковки, фигурок, совершенно отчетливых на ночном светящемся снегу, мог понять случившееся так же ясно, как если бы получил описание убийства на белом бумажном листе. Что до нервной, много курящей женщины, о которой я сейчас говорю, то шестое чувство подсказывает ей: всякое как будто прочное знание о жизни окружено и размыто гораздо большим *незнанием*. Силясь объяснить, как действует на нее ее «зияющий мир», она ссылается на страх, что возникает у любого человека при необъяснимой потере какой-нибудь мелочи, которая только что была под рукой и вдруг словно провалилась в подпространственный карман. Эти секундные уколы мистического, такие же общеизвестные, как полеты во сне при помощи диафрагмы, дают представление о том, что испытала героиня на трамвайной остановке, откуда тараканами разбежались все приехавшие с нею пассажиры, и она осталась с этими захватанными цветами и с неудобной сумкой — где лежал, между прочим, его парадный крапчатый галстук. Пожалуй, именно с ней и должна была произойти эта загадочная история, не оставившая концов, — и именно в расписанном дурацкими рекламами екатеринбургском трамвае, в этой буквально движущейся по проложенным рельсам повседневности, где самая грозная неожиданность — нашествие билетных контролеров. Нельзя сказать, чтобы героиня сильно печалилась о своей трамвайной пропаже (на том же дне рождения у нее обозначились новые отношения), однако ее еще долго мучила странная досада: ей казалось, что теперь исчезнувший может ей чем-то навредить. Между прочим, свойственная этой женщине тонкость и даже редкость переживаний внешне проявляются в довольно грубых формах: многие считают жадность основной чертой ее характера. То есть она способна расстаться с какими-то ценностями, если знает, что отдает навсегда, — но ведь такое случается не каждый день. При этом просить у нее займы или одалживать на время какую-то вещь абсолютно бессмысленно: раз она отказалась дать гостям, застигнутым грозой, свой старый зонтик с полуголыми спицами, страдающий к тому же искривлением позвоночника, — объяснив это тем, что совсем недавно потеряла абсолютно такой же, только голубой.

Владимир Березин в эссе «Апология ошибки» («Октябрь» № 8, 2000) взял напрокат у Шкловского фразу Аристотеля: «...вещь можно назвать целой, если она является собой начало, середину и конец». Я же заимствую у Березина высказывание Шкловского, что «поэзия не имеет концов». Добавлю к этому цитату из самого Березина: «Только элитарная культура может позволить себе наплодить ворох загадок, забыв про отгадки. Только она может оставить читателя в недоумении и погрузить его в растерянность и размышления. Или заставить смириться с непостижимостью тайны придуманного мира».

Полагаю, что «придуманном миром» дело не ограничивается. Внутренне соглашаясь с правом автора спрятать концы истории в темную воду, читатель имеет дело и с небезопасной для него *поэзией* реальной действительности. История с исчезновением человека в переполненном трамвае поэтична, хотя и курьезна: многое зависит от интерпретации факта. Полагаю, что почти у каждого человека, в дальнейшем

именуемого «читатель», присутствует доля того мистического чувства, что составляет главную особенность вышеописанной героини. Жизнь сюжетна, а иногда и внешне сюжетна; другое дело, что этот сюжет далеко не всегда открывает участникам причины и следствия свалившихся на них событий. Видимо, трудности контакта с элитарной литературой состоят не только в необходимости напрягать интеллект и погружаться в метафорические глубины сложного языка. Соприкасаясь с поэзией (которая с необходимостью входит в высококачественную прозу), читатель чувствует себя незащищенным от собственного, житейского, со всех сторон подступающего незнания — тогда как самый кровавый триллер предоставляет ему успокоительную модель, где исправно действует причинно-следственная связь.

Попадая в драматическую ситуацию, совершающуюся в действительности или описанную в романе, читатель более всего заинтересован знать, чем кончится сюжет. Между тем любому писателю, работающему в некоммерческом жанре, отлично известно, что прозу легче начать, чем кончить. Часто у писателя вообще пропадает ощущение, будто он движется к какому-то концу. В любом, самом удачном случае финал произведения по сравнению с его завязкой получается искусственный и фальшивый: дорогого натурального материала, пошедшего на фасад эффектно начатой книги, на обратную сторону постройки уже недостает. Между прочим, многие современные авторы смотрят на свои последние главы именно как на непарадные помещения, не нуждающиеся в особой отделке; иногда это просто кладовки текста, куда беспорядочно сваливаются остатки сюжетных конфигураций и вообще предметы, упомянутые где-нибудь в начале книги, но не поместившиеся в пространстве более посещаемых страниц. Этот психологический феномен — признак сугубо частного писательского разочарования в литературе: видимо, автор уже не очень верит, что книга его может быть дочитана. Возможно, трудности финала кажутся писателю непомерными. Притом, что прозу надлежит создавать из истории, «не имеющей концов», финал тем не менее должен присутствовать; если, делая литературу, писатель делает то, чего нет в природе, то к финалу текста это относится вдвойне.

Видимо, прежде на этот трудный случай существовала безопасная конвенциональность, ныне разрушенная. Владимир Набоков в романе «Отчаяние» имитирует промежуточный финал, в котором авантюра главного героя, застрелившего своего двойника ради художественного интереса и дополнительно ради страховки, завершается очаровательной идиллией в миртовом саду.

«Чувствуете тон этого эпилога? Он составлен по классическому рецепту. О каждом из героев повести кое-что сообщается напоследок — причем их житье-бытье остается в правильном, хотя и суммарном соответствии с прежде выведенными характерами их, — и допускается некоторый юмор, намеки на консервативность жизни.

Лида все так же забывчива и неаккуратна...

А уж к самому концу эпилога прибегается особенно добродушная черта, относящаяся иногда к предмету незначительному, мелькнувшему в романе только вскользь: на стене у них висит все тот же пастельный портрет, и Герман, глядя на него, все также смеется и бранится».

Совершенно понятно, что домик с миртовым садиком оказываются макеткой: Набоков не был бы Набоковым, если бы не пустил сюжет под неожиданный откос. Для данных заметок существенно то, что *конец истории*, продемонстрированный классиком с целью провокации, прежде был регламентирован понятием литературной вежливости. Читателя, как дорогого гостя, провожали до порога, попрощаться с ним в переднюю выходили не только хозяева (главные герои), но и прочие участники вечеринки, — и каждый сообщал ему напоследок какие-то милые мелочи, говорил приятные прощальные слова. Теперь же читателя, зашедшего в текст, сразу бросают одного, вовсе не озаботившись познакомиться со всеми присутствующими людьми, и предоставляют ему самостоятельную разбираться, кто целуется на диване в углу, кто мычит, сцепившись в пьяном клинче, на прокуренной кухне, — и уж вовсе остается неизвестным наглухо закрывшийся в туалете безмянный персонаж. Когда же наступает время покидать этот беспорядочный мирок, никто по-прежнему не обращает на тебя внимания: в комнатах продолжают события, выясняются отношения, звучат неизвестно к чему относящиеся диалоги, в прихожей, путаясь с мелкими, как редиски, обмороженными гвоздиками, раздевается какая-то заснеженная женщина, притащившая напоследок дикий анекдот про исчезнувшего в трамвае кавалера, — и ты никогда не узнаешь, кто ушел в твоей правой перчатке, оставив взамен непарное чудовище, похожее на дохлого большого паука.

Никакие конвенции насчет конца истории больше не действуют: *поэзия жизни* прямоком идет в литературу. Счастливы писатели, владеющие искусством открытого финала: они умеют усыпить ими самими разбуженный хаос. Сегодня редки такие

шекспировские концовки, как, например, в романе «Амстердам» Иэна Макьюена: когда друзья, ставшие врагами, устремляются друг к другу каждый с двумя бокалами шампанского и обмениваются именно отравленными сосудами, отдавая безопасные второстепенному, незначительному, как прогноз погоды, персонажу, — в этом есть что-то потрясающе искусственное, великолепно старомодное. Милану Кундере в романе «Подлинность», чтобы усмирить разбушевавшийся сюжет, пришлось заставить героев проснуться, — но фокус в том, что они не засыпали, просто шаг за шагом теряли идентичность. Понятно, что прекратить все это можно было только грозным авторским окриком, возвращением к некой отправной спокойной точке, где *еще ничего не произошло*. Кольцевая композиция, не отменяющая незнание, но ограничивающая его объем, удалась и Дмитрию Липскерову. Несколько перемудрив со своим предыдущим романом «Пространство Готлиба», где разрешение событий удавалось только при помощи произвольной подставной величины, в новом тексте «Последний сон разума» писатель изящно, не отрывая, так сказать, карандаша от бумаги, обвел место размножения химер непроницаемой чертой. Этот роман, полный чудес без последующего их разоблачения, посвящен мистическим мытарствам старого татарина, у которого в юности погибла возлюбленная, — а в конце выясняется, что на самом деле умер герой, а его Айза осталась жива. Вот любопытный эффект: казалось бы, от перемены мест слагаемых ничего не меняется, а получилось что-то вроде хеппиэнда, и читатель, не ожидавший от элитарной прозы никакой потачки собственным чувствам, остался доволен и счастлив.

Конечно, острее всего проблема финала встает перед авторами малой прозы. Им приходится быть вдвойне изобретательными. Обычно у известных рассказчиков имеются наборы фирменных приемов. Так, Алексей Слаповский, напловивший множество лукавых текстов по типу «а вот был такой случай», любит в конце подпустить рассуждение — при этом умудряясь подчеркнуть в рассказанной истории как раз отсутствие концов. Евгений Шкловский умеет делать тексты в «настоящем продолженном времени», отчего проблема финала для него — всего лишь проблема интонации, при том, что этому писателю нельзя отказать в музыкальном слухе. Читая в качестве члена жюри конкурс русского рассказа (учредители — Резервный Благотворительный фонд и журнал «Новый мир»), я порадовалась присутствию там сверхмалого рассказа Александра Яковлева «По согласию сторон». Сюжет сентиментален: пьяница-сын везет мамашу, чтобы сдать в богадельню, а по дороге любящая мама еще и бегает оболтусу за пивом. В финале же выясняется, что это старушка везла сына сдавать на излечение от пьянства. Эта концовка, будто маленькое зеркальце, удваивает рассказ: он перечитывается заново в совершенно ином, саркастическом ключе. Зеркала, как известно, расширяют объемы помещения; они же эффективно его ограничивают, снимая проблему продолжения пространства. Судя по отдельным высказываниям Виктора Пелевина, он пытался делать тексты по принципу зеркального шара — вывернутой зеркальной комнаты, что собирает на себя цветные пятна расширяющейся действительности. Если это и получалось, то опять-таки в рассказах (реальность как бы облизывала полированный шарик); что до больших прозаических вещей, то в них Пелевин вынужден был, как и прочие граждане, подчиняться романной длительности и признавать в глубине души незавершаемость затеянного текста.

Короче говоря, элитарная проза обходится с читателем плохо: подчеркивая свою искусственность всеми возможными стилевыми заморочками, она не защищает читателя от главного — от непознаваемости мира, в котором читатель всячески пытается выгородить для себя безопасный и логичный уголок. Но так же нехорошо автор поступает и с героями текста. «Только начну описывать человека, после первой же ремарки такое чувство, будто я его унижаю, — свидетельствует Петер Хандке в повести «Короткое письмо к долгому прощанию». — Все время кажется, будто поступаешь с героями нечестно, как с собой никогда бы не поступил». Обозначенное здесь насилие над героем заключается, на мой взгляд, в авторском нежелании признать за ним право на внетекстовое, *неизвестное* автору существование. Герой Петера Хандке, драматург (в какой-то мере, видимо, второе «я») остро переживает недостаточность своих персонажей и ищет способ эту недостаточность восполнить: «Тебе, наверное, тоже знакомы такие люди... Всеми, что ни попадет на глаза, даже самому невероятному, они тут же найдут объяснение. Им первым делом нужно определить, что они видят; подыскав определение, они забывают об увиденном раз и навсегда. У них на все готов ответ. Суждения их, как правило, просто смехотворны, ведь далеко не на все случаи жизни уже подобраны готовые слова. Слушаешь их, и кажется, что они просто неудачно пошутили, хотя в тот момент, когда они селятся сформулировать очередное объяснение, они и не думают шутить. Вот почему, ког-

да я пишу пьесу, первое же слово, да что там — даже первый жест кажется мне штампом, и я не могу работать над персонажем дальше. Сейчас я подумываю, не сопроводить ли выход каждого персонажа появлением какой-нибудь побочной фигуры — ну слуги, например, — которая бы поясняла происходящее. Это прямая противоположность традиционному образу мудрого наблюдателя, который комментирует события и держит в руках все нити интриги. Ибо все, что он пытается растолковать — а он пытается растолковать все, — оказывается неверным. Все, что он предсказывает, не сбывается, все его умозаключения — сущий вздор. Он выступает в качестве *deus ex machina* там, где таковой вовсе не требуется». На самом деле то, что не требуется по логике сюжета,двигающего читателя от меньшего знания к большему знанию, абсолютно необходимо там, где *незнание* так же важно, как и вся даваемая в книге информация. Двигаться от некой крепко поставленной точки к максимуму возможного незнанию описанного мира, пока изначальная точка не поглотится этим глобальным пространством поэзии, — вот высший писательский пилотаж, но я пока не знаю ни одного примера современной прозы, где бы это в какой-то мере удалось. Фигура «бестолкового» комментатора из приведенной цитаты Петера Хандке — в действительности один из авторских агентов. Отзываясь на потребность качественного текста в элементах неопределенности, автор тем не менее не решает привнести насыщенный хаос в устройство самого персонажа. В этом и проблема: автор, насколько это вообще возможно, пытается держать ситуацию под контролем, а герой ведет себя совсем как читатель массовой литературы — не терпит либо не отражает никаких необъясненных вещей. Он думает, будто миссия его при столкновении с тайной — лишить ее таинственности. Во времена соц. реализма это называлось активной жизненной позицией. Теперь, в новой генерации постпелевинских модных романов, это выражается в сомнамбулическом апофигизме, соединенном с желанием стрелять во все, что движется, из автомата Калашникова.

Позволю себе привести еще один реальный случай, показывающий, как близко иной раз подступает к человеку великое незнание всего. Две женщины — одна словно бы из прозы Петрушевской, маленькая и властная, с жилистыми, словно изолентой обмотанными кулачками, и другая, семейная, в туго накрахмаленных кудрях — долго работали вместе в каком-то мирном конструкторском бюро. Выход их на пенсию совпал с началом перемен. Первая, бывшая значительно старше, еще продержалась, кажется, несколько месяцев, а вторая сдалась без боя, посвятив себя воспитанию внучек и отовариванию голубых и бежевых талонов, которые в те времена казались бесконечными. Бывшие сотрудницы, в сущности, не имели никаких причин интересоваться друг другом, — и таких знакомых, которые перестали ее интересоваться, у героини этой маленькой истории набралось, наверное, не менее ста человек.

Время шло; женщине казалось, будто она живет уже очень долго. Внуки выросли и превратились в одинаковых брючных девиц с длинными попами и длинными рыжими волосами, разница в два года между ними совершенно исчезла. Младший брат, человек положительный и непьющий, с фамильной сажей в яркой встрепанной седине, сперва разбогател, а потом его убили, стреляя из развешенного во дворе постельного белья. Как ни странно, из зеркала на женщину смотрело то же самое лицо, то и эпоху назад, только кудри стали похожи на сушеные грибы. Чем дальше, тем больше она гордилась тем, что все еще жива. Обратной стороной этой греховной гордости было ощущение, будто все, с кем она общалась в прошлой инженерской жизни, давно уже умерли; женщина не подозревала, что погружается в море незнания, чем-то подобное небытию.

И однажды в продуктовом магазине, лестном для старухи своей богатой новизной, героиня встретилась с прошлым. Бывшая сослуживица, чей профиль походил теперь на цыпленка табака, рылась опухшими пальцами в разинutom кошельке, бормоча и прищаркивая чуточку вперед, когда ей удавалось вытащить что-нибудь из скользкого месива монет. Она, похоже, не важно ориентировалась в пространстве; синяки на ее костлявых одряблых ногах, явно причиненные стоявшей тут же сумкой-тележкой с подлеченным колесом, напомнили засохшие на старой канцелярской мебели чернильные пятна. Героиня не могла бы объяснить, откуда взялось это ощущение внезапного удара. Сотрудницы поздоровались, и по угодливой улыбке собеседницы героиня догадалась, что та не совсем понимает, с кем говорит. Анонимность принесла облегчение, но совсем ненадолго. А получилось вот что: встреча эта каким-то образом дала моей героине понимание собственной смертности. Теперь она спит совсем понемногу, часто даже во сне открывает глаза, больше не гадает на картах и страшноругает внучек за курение сигарет.

Реальный случай, как это часто случается у много читающих людей, немедленно отозвался для меня литературным эхом. В романе Владимира Войновича «Монументальная пропаганда» главная героиня, коммунистическая женщина Аглая Ревкина, надолго пережившая свою эпоху, кажется герою-рассказчику несовместимой с новыми временами: получив по почте некролог, он с удивлением обнаруживает на обороте газетной вырезки слова «Налоговая инспек...» и «Пейджинговая связь». В свою очередь, сама Аглая, погрузившись в сложные отношения с приватизированным памятником Сталину и в бытовой алкоголизм, оказалась посреди того же самого *незнания*, что и моя реальная старуха, в жизни не имевшая партийного билета. Бывшие соратники точно так же казались Аглае Ревкиной живыми мертвецами.

Разумеется, в романе большого писателя все сложнее и тоньше, чем в реальной действительности. Замечательно, однако, то, что элитарная проза лучше всего умеет обращаться с незнанием, то есть обращать поэзию незнания к собственной пользе, когда изучаемым событием становится смерть. Понятно, что все истории на свете заканчиваются одним: полным уходом всех ее участников. Тянуть сюжет до смерти последнего героя любому прозаику было бы затруднительно. Однако присутствие окончательного события словно делает писателя сильнее и дает ему какие-то дополнительные права. В «Похоровах кузнечика» Николая Кононова у героя умирает бабушка. Пристально наблюдая за угасающим «существом», герой не знает и никогда не узнает, что переживает близкий, некогда открытый ему человек. В этом заключается больше поэзии, чем в описании самых роскошных закатов и самой романтической любви.

Незнание — сила. Несмотря на то что под конец мои заметки приобрели довольно мрачную окраску, я завершу их оптимистическим выводом: хочет того читатель или не хочет, готов он следовать за автором, выпустив спасительную цепь причинно-следственных связей, или не готов, но дозу поэзии от современной прозы он получит. Литература старается; «...продленный призрак бытия синее за чертой страницы, как завтрашние облака,— и не кончается строка»,— писал Владимир Набоков, оставляя влюбленных героев романа «Дар» перед дверью, от которой у них не оказалось ключа. Сегодняшняя жизнь не столь благонаравна, но скорее груба и глумлива. Приведу по памяти лимерик из сатирической газеты «Красная Бурда»: «Однажды в пустыне Сахаре съездил кто-то кому-то по харе. И неясно, ни кто, ни кому, ни за что... Много тайн и загадок в Сахаре». Это — об отношении искусства к действительности.



Владимир БЕРЕЗИН

Табулатура

Es war ein schönes und fruchtbares Land mit
Wäldern, Feldern, Flüssen, Straßen und Städten.

Rainer Maria Rilke. *Der Drachentöter**.

Собственно, табулатурой называют буквенную или цифровую запись инструментальной музыки. Сложная система табулатур уступила место нотному письму три века назад. Однако само понятие осталось. Осталось и желание придумать правило-описание для искусства. Битва алгебры и гармонии нескончаема, они уже напоминают пару — финансовый ревизор и бухгалтер, которые, устав от документов, мирно пьют водку вместе.

Табулатуры, различавшиеся, кстати, не только по национальной принадлежности, но и по принадлежности к конкретному инструменту, — это запись гармонии почти алгебраическим способом. Попытка со-поставить буйному миру звуков функцию.

В массовой культуре функции связи видны особенно четко. Советский обыватель воспринимал, например, Вагнера лишь через «полет Валькирий», памятуя о «Люфт-ваффе». У следующего поколения «Валькирии» ассоциировались с магнитофонной записью мелодии, под которую американские вертолеты заходили в атаку на вьетнамскую деревню — в знаменитом фильме Коппола. Для нынешнего — «полет Валькирий» — лишь музыкальный сигнал сотового телефона. Так и избирательно воспринимаемая мифология превращалась в новую мифологическую систему. Но речь идет в первую очередь не о музыке Вагнера, а о литературном мифе его «Кольца нибелунга» — мифе универсальном и оттого ставшем частью актуальной культуры.

В отличие от греческих легенд и сказаний скандинаво-германская мифология воспринималась с привкусом тайны и запретности. Это были сказки врага, побежденного и съеденного. А поскольку он был съеден и переварен, его плоть стала частью победившего организма и функционирует вместе с ним, в его составе.

Действия героев в мифологической литературной конструкции всегда функциональны. Функциональность эта, вслед Проппу, — подчиненность особенности сюжета. Что интересно, древние эпические герои в противовес известному «сделай и не умирай» или «сделай или умри» существуют временно, следуя принципу «сделай и умри». Если они и доживают до старости, то только для того, чтобы доказать, что и в преклонном возрасте способны участвовать в битве, как в «Беовульфе». Чем-то они похожи на японских самураев, бормочущих про себя: «Если перед самураем лежат две дороги, то он выбирает путь, ведущий к смерти». Это пир эсхатологии, пир бессмертных богов. А за столом — герой-одиночка. Его обязанность — умереть.

То, что в мифологии было прямым предсказанием, в иконе подается знаком, изображением. И младенец со скорбным ликом на русских иконах может быть соотнесен с героями эпоса, о которых пишет Гуревич: «Как интерпретируется возраст героя в “Песни о нибелунгах”? В начальных авантюрах песни Кримхильда — юная девушка. Но в последних авантюрах Кримхильда по-прежнему прекрасная женщина, хотя миновало уже около сорока лет. Не убывает за все эти годы могущество Хагена, он, и будучи убелен сединами, остается все тем же непобедимым богатырем. О короле Гизельхере, который впервые появился в эпосе почти ребенком, как было сказано — “дитя”, так до конца и говорится; пав в бою вполне взрослым мужчиной, Гизельхер остается “дитятей”». На этой истории лежит ответ иконописной традиции, в которой младенец Иисус (Спас-Эммануил) изображается с телом ребенка, но со старческим лицом. Младенец на иконе предчувствует путь смертных мук. Он знает о грехах мира и цене их искупления уже на руках Богоматери, и оттого лицо его скорбно.

Вообще в отличие от греческой мифологии, как ее понимает обыватель, мифология скандинаво-германская тяготеет к эсхатологическому сюжету. В конце — всегда завершенность. И больший порядок. Ничего не случается просто так, в силу сле-

* Была когда-то одна страна — прекрасная и плодородная, с лесами и полями, реками, дорогами и городами. Райнер Мария Рильке. Победитель дракона.

пого случая. То есть, конечно, случай обязательно присутствует в мифе, как липовый лист на спине Зигфрида, омега, поражающая Бальдра... Но это лишь смазочный материал мифологического механизма, лишь несколько значков в табулатуре.

Такой закон сохраняется и в эпосе — «Песнь о нибелунгах» изобилует предсказаниями: на уровне сюжета (три девы) и в ходе повествования, когда в последних строках стиха прямо говорится о будущем успехе или неуспехе героев.

Можно это объяснить настоящей потребностью в Законе, необходимом обществу, где безопасность членов, входящих в него, уже не гарантировалась родовыми отношениями и еще не регулировалась никакими другими установлениями.

Отвлечемся от древней мифологии и, перескочив через несколько веков, снова обратимся к «Песни о нибелунгах».

Текст тринадцатого века почти лишен чудесного элемента. В этом тексте гораздо меньше чудес, воин заменен рыцарем, а его необычайные подвиги в пересказе больше напоминают преувеличения военных сводок. Про Зигфрида прямо говорится, что он совершает чудеса, но своим мечом.

Тут надо сказать, что историчность мифа подчеркивается двумя приемами — использованием определенного предмета, вещи и предсказанием.

Вещь поддерживает структуру мифа — невозможно волшебство без волшебной палочки. Волшебство ограничено. Это суть мифа. Нельзя творить чудеса направо и налево или в любое время. Лучше, конечно, если это случается раз в год. Важна и волшебная палочка. Без нее (или другого хитроумного инструмента) чудо не правомочно. Одним словом, нужно стечение мест и обстоятельств. Если бы силы добра (а противоположное страшнее) способны были побеждать без усилий, то и затевать сказку не стоило бы.

Итак, для мифа требуется ритуал. Лучше, если это ритуал победы добра над злом. Такой ритуал не вызывает вопросов. Кроме вещи, в этом ритуале обязательно предсказание.

Предсказание присутствует в эпосе повсеместно: уже говорилось о предсказании трех дев в «Песни о нибелунгах» — на уровне сюжетном или там же — в структуре стиха. Зигфрид Вагнера, слизывая волшебную кровь дракона, слышит и понимает пение птицы, а перед смертью наблюдает пролет двух зловещих воронов — здесь предсказание живет на уровне лейтмотива.

Итак, герои функциональны, их бытие подчинено логике мифа и имеет в его рамках четкую цель. По ходу сюжета эта цель подтверждается предсказаниями и сакральными предметами.

Еще одной чертой мифологической конструкции является связность множества ее героев. В математике связность понимается как возможность установления функциональной зависимости между всеми членами множества. Множество героев объединяют не только функции, но и иерархия. Вагнер для своей мифологической конструкции использует эддические сказания, отказываясь тем самым от куртуазного канона «Песни о нибелунгах».

«Куртуазность» здесь имеет особый смысл. В «Песни...» это мир правильно поступающих, воспитанных (gezogenlich) персонажей. Вагнер заменяет его на совершенно другой — хтонический мир древнего сказания.

Однако новая мифологическая конструкция живет по тем же законам. Герои, как фигуры на шахматной доске, имеют свой удельный вес, взаимосвязь, свои правила движения по клеткам мифологической доски. Красота вагнеровского сюжета в суровости и суровом подчинении мифологическому закону. Но это не эстетика древней мифологии, горькой и обыденной, как вздох хижины, протопленной по черному.

В прологе «Кольца» есть эпизод с выкупом: груды золота и прекрасная Фрея. А в сказании Снорри Стурлуссона Локи убивает Орта камнем, когда тот пребывает в образе выдры: «...Затем с выдры содрали шкуру; Хрейдмар взял ее и велел асам наполнить ее червонным золотом изнутри и покрыть снаружи: это будет выкуп... Затем подошел Один, который должен был покрыть ее золотом снаружи. Потом он позвал Хрейдмара и велел ему подойти и взглянуть, полностью ли покрыта шкура. Крестьянин внимательно осмотрел ее; увидев один волосок от усов, он потребовал, чтобы и его покрыли золотом: иначе уговор будет нарушен. Тут Один вынул кольцо и покрыл им волосок».

Очевидно, что история с дохлой выдрой не годилась автору «Кольца», и вот появляется эпизод с прекрасной богиней, засыпаемой золотом.

Эстетике вагнеровского мифа подчинялись не только герои, но и пространство вокруг сцены. Вагнер создавал мир — оперу, которую считал самым совершенным искусством. Идеальному произведению необходимо идеальное место для представления, с «оркестром, совершенно скрытым от взоров слушателей, что давало бы неценимые преимущества». Слушатель, зритель (или свидетель?) покидал театр в Байрёйте и внезапно оказывался в поле — среди трав...

Есть у него и мотив предсказания, выраженный музыкально, и предопределенность, однако мифологические сказания, во множестве упавшие в единый чан, сыгравшие с либреттистом злую шутку. «...в “Гибели богов” использование напитка, обращающего героя Зигфрида в безголовую марионетку, не ведающую, что творит, в

драматическом отношении ниже всякой критики. Здесь изъяны внутренней взаимосвязи событий, характерные для «Гибели богов», становятся очевидны — ведь и сами мотивы сказаний в «Кольце нибелунга» плохо совмещаются друг с другом. Все, что внутренне не взаимосвязано, все, что приходится соединять силой, все это здесь располагается во все стороны. Зигфрид, убивший дракона и взявший в жены Гутруну, то есть на самом деле Кримхильду, — это одно лицо, а Сигурд, пробудивший ее ото сна и взявший себе в жены, — другое; у Вагнера оба превращены в одно лицо, и напиток оправдывает такое слияние. Итак, чудесный напиток действует выборочно — люди то забывают, то не забывают, в зависимости от того, что требует ситуация». Только музыка удерживает толпу вагнеровских героев от бегства в разные стороны.

Эстетика Вагнера невозможно поместить в расплывчатые рамки романтизма. Выдающееся произведение всегда реально выходит за рамки канона и школы. Табулатура взрывается изнутри, становится достоянием истории.

Фридрих Геббель писал на мифологический сюжет своих «Нибелунгов» одновременно с Вагнером и остался в границах табулатуры.

Возникновение же вариации в каноне описывалось многократно. У Вагнера оно в несколько смешном виде присутствует в другой опере — «Нюрнбергские мейстерзингеры». В одной из своих статей Конрад писал: «Заканчивается поэзия мейстерзингеров. Стар становится сам знаменитый мастер Ганс Закс. На смену ему приходит Вальтер, у которого звучит совсем иная песня. Она очень не нравится Бекмессеру: ведь Вальтер поет не так, «как положено», т. е. не по табулатуре, а табулатура — закон. Закс же понимает, что пришло время именно такой песни. И оказывается, что на Нюрнбергском фестивале поэтической самодеятельности цеховых мастеров и подмастерьев эта песня побеждает, табулатуре же, как и всякой табулатуре, которая начинает воображать себя единственной истиной на свете, предстоит сойти со сцены и даже еще хуже — превратиться, как это получилось у жреца табулатуры Бекмессера, в карикатуру на самое себя».

Канон и вариация находятся в постоянном взаимодействии, но канон обладает — как свойствами — общими закономерностями.

Иерархичность, выверенная функциональность существуют и в скандинаво-германском эпосе, и в русской иконописи.

В меньшей степени они выверены у Вагнера, но тут в силу вступает музыка, превращаясь в главный фактор восприятия.

Связность героев на поле повествования также является единой чертой, и тут уже немецкая музыкальная традиция, основанная на гармонии (а не на мелодии — как итальянская), особенно видна.

Но есть и иной вид табулатуры, чрезвычайно распространенный. Это кодифицированная коммерческая литература. Самым организованным жанром является не детектив, ставший синонимом массового чтения, а любовный, «женский», «дамский» или «розовый» роман.

Все эти названия определяют или, вернее, недоопределяют жанр коммерческого любовного романа с центральным персонажем-женщиной, обязательным happy end и четкой формулировкой нравственных приоритетов. Персонажи любовного романа жестко связаны между собой, их действия предопределены и на протяжении нескольких сотен страниц они лишь сопротивляются своему счастью.

Требования издательства формируют сюжет: объем, скажем, начинает диктоваться полиграфическими особенностями. До десяти — пятнадцати печатных листов можно склеить, а текст побольше нужно шить, что удорожит тираж.

Стиль и лексика заданы табулатурой изначально. Табулатура соблюдена, и по ней герои не связаны, взаимозаменяемы, характеры их замещены темпераментами. Герои этого мифологического мира не похожи на обычных литературных персонажей: в коротком любовном романе они не болеют неизлечимыми или «стыдными» болезнями. Они здоровы — как неживые.

Роман вырастает, как гомункулус в колбе, — лишенный души.

Но, подобно несчастному Бекмессеру, текст проговаривается, выдает себя, вызывает смех — «он обнял ее всю», «его губы были везде». Герой целует героиню в «трогательную ямочку на подзатыльнике». Все это — приметы устаревшей табулатуры. Конечно, такой роман есть не столько предмет литературы, сколько предмет культуры. Впрочем, миф тоже ведет не только литературное существование. Столь приближенный к сказке, любовный роман-лабургер сказкой не становится, тем интереснее феномен его популярности. Этот феномен — предмет серьезного изучения, лежащего вне рамок настоящего повествования.

Функциональность героев, связность их множества регулируют создаваемый мир. Нотная грамота мифа побеждает табулатуру.

Мир с обилием героев, мир с лесами и полями, реками и городами, прекрасный мир мифа...

Франческо ПЕТРАРКА. ТРИУМФЫ. М., «Время», 2000.

Четверть века назад перевел и откомментировал Владимир Микушевич поэму Франческо Петрарки «Триумфы». Но только сейчас она увидела свет. При этом сам автор считал поэму настолько же превосходящей собственные сонеты, насколько выше сонетов Данте «Божественная комедия». В книгу также вошли канцоны Петрарки и цикл его стихов «Петрарка через шесть веков». Переводчик сопроводил книгу статьёй «Поэзия Петрарки как самораскрытие». По мнению Владимира Микушевича, «Триумфы» предвосхищают последующее появление самых различных течений, включающих даже постмодернизм.

Владимир МАРКОВ. ИСТОРИЯ РУССКОГО ФУТУРИЗМА. Перевод с англ. СПб., «Алетейя», 2000.

Также впервые на русском языке выходит книга профессора русской литературы Калифорнийского университета Владимира Маркова. И она написана более четверти века назад, в 1968 году. Несмотря на временные и пространственные разрывы между нынешним и тогдашним издание может считаться одним из наиболее полных по представленной теме.

Александр НЕМИРОВСКИЙ. МИФЫ ДРЕВНОСТИ. Эллада: научно-художественная энциклопедия. (Серия «Античное наследие».) М., «Лабиринт», 2000.

Мы античность учили по Куну, пересказавшему древнегреческие мифы. Но, кажется, на смену признанному авторитету идут имена иные. Время диктует. Автор энциклопедии, известный ученый и писатель, призвал на помощь современные научные данные. И мифы предстали в несколько ином виде. Хотя столь же просто и изящно пересказанные.

Александр ЛАВРЕНТЬЕВ. ЛАБОРАТОРИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА: Опыт графического моделирования. М., «Грантъ», 2000.

В 20-е годы века XX вся Россия являла собой лабораторию. Исчезало или изгонялось все старое. Все новое утверждалось с энергией беспамьятства. Тон задавали конструктивисты. Эль Лисицкий: «Лозунги эпохи — аттракцион и трюк». Родченко: «...конструкция, техника и математика — вот братья современного искусства». В цехах конструктивизма трудились Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, Владимир Маяковский и Илья Сельвинский. Идеи конструктивизма воплощались повсюду: в рекламе и книжной графике, в афишах и логотипах. Присмотритесь к современной рекламе — о конструктивизме не забыли.

ДОМОВОЙ. Семен Степанович Гейченко: письма и разговоры, записанные адресатом писем Валентином Курбатовым в разные михайловские годы, в фотографиях Виктора Ахломова, снятых в те же годы. Тверь, «Русская провинция», 2000.

Название книги, взятое из традиций прошлых веков, сразу же уводит читателя от злобы дня. Вневременной прекрасный русский язык Семена Гейченко, долго и славно трудившегося на благо Пушкинского заповедника в Михайловском, оставляет чувство белой зависти. И то сказать, Семен Степаныч почитывал знатное: «А теперь у меня не сходит со стола Словарь языка Пушкина и я купаюсь в этом великом океане и не нарадуюсь, что у него любимые слова “день”, “любовь” и “душа”».

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ. ПОРЯДОК СЛОВ: Стихи, повесть, пьеса, эссе.

Олег ЕРМАКОВ. ЗАПАХ ПЫЛИ: Роман, рассказы, повесть.

Александр ИВАНЧЕНКО. ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ: Роман, повесть, памфлет.
Екатеринбург, «У-Фактория», 2000.

А вот еще одна славная работа провинции. Именно этими тремя книгами открывают уральские издатели серию «Новый русский век». Выпущены книги изрядно. Впору бы и многим столичным издательствам так расстараться: и редакторски, и полиграфически, и иллюстрационно. А среди авторов серии числятся те, кто заявил о себе уже в постсоветскую пору, что, по замыслу издателей, избавило их от цензурской закрепощенности. Впрочем, не последнюю роль в отборе авторов сыграло и наличие у них престижных премий последних лет.

ВПЕРЕДИ XXI ВЕК: Перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной классической прогностики. 1952—1999. Редактор-составитель и автор предисловия академик РАО И. В. Бестужев-Лада. М., «Academia», 2000.

Такого в мире еще не издавалось. Хотя само собой напрашивается подвести итог попыткам человека подсмотреть за Господом. Попыткам нелепым и хитроумным, смешным и тщеславным. Но во многом дополняющим лишь портрет все того же человека. Века уходящего. Любопытен приведенный в книге «Список профессий будущего». В нем, в частности, фигурируют следующие специальности: аквакультурист, врач — танцетерапевт, врач — специалист по проблемам, связанным с бездельем, детский адвокат... Среди самых перспективных профессий будущего семь мест в десятке лидирующих занимают представители здравоохранения. Впрочем, почти не уступает им и профессия домработницы-гувернантки. А завершается книга вот таким высказыванием: «Нельзя управлять будущим, оно должно наступить само по себе».

Стивен ХОКИНГ. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ: От большого взрыва до черных дыр. СПб., «Амфора», 2000.

На переломе времен — чтение актуальное. И не только для тех, кто еще помнит об ожесточенных спорах физиков и лириков годов 60-х. Хокинг, по сути, отправляется искать ответ на знаменитый эйнштейновский вопрос: был ли у Бога выбор, когда он создавал Вселенную? Убоявшихся математических премудростей автор успокаивает: «Мне сказали, что каждая включенная в книгу формула вдвое уменьшит число ее покупателей. Тогда я вообще решил обходиться без формул. Правда, в конце все-таки написал одно уравнение. Знаменитое уравнение Эйнштейна: $E=mc^2$. Надеюсь, оно не отпугнет половину моих потенциальных читателей».

Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ. СКАЗКИ ДЛЯ ВУНДЕРКИНДОВ. (Серия «Лабиринт».) М., «Гудьял-Пресс», 2000.

Вот так вот. Старая история. Оказывается, во всем мире Кржижановский известен как «русский Борхес», «русский Кафка». А у нас его фантастические новеллы почти сорок лет пылились в архивах. Да и знало о нем лишь считанное количество специалистов. Ох и много же еще открытий нам предстоит! Может, оно и к лучшему, в смысле открытий? А писатель действительно славный. «Любовь у людей пуганая и с зажмурью: ныряет в сумерки, шмыгает по темным углам, шушукается, прячется за занавески и тушит свет»; или: «И я не скажу это никому другому, но тебе скажу: зачем в конце концов пугать детей тьмой, когда можно ею их утишить и ввести в сны?» Так писал в повести «В зрачке» Сигизмунд Кржижановский в 1927 году.

Наталья СЕМЕНОВА, Николас ИЛЬИН. ПРОДАННЫЕ СОКРОВИЩА РОССИИ. М., «Трилистник», «Русский авангард», 2000.

Было дело в годы легендарные, «меняли рембрандтов на трактора», из песни слова не выкинешь. Только песня уж больно грустная. Сейчас, листая прекрасно иллюстрированную книгу, не раз вздохнешь горестно да в затылке почешешь. Разво- ровали... А слышится от века знакомое: ловкие ребята опять без штанов нас остави- ли. И вновь нам копить и беречь. Может, наконец научимся?

Чарлз ДИККЕНС. ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА. М., Издательство «Независимая Газета», 2000.

Собственно, повышенный интерес к прославленному роману связан с коммен- тариями. Составленные Густавом Шпетом в 1934 году, они заставляют заново пере- читать давно вроде бы известное. И заново увидеть диккенсовскую Англию. Это да- же не комментарии, а настоящий путеводитель. А также образцовая работа образ- цового эрудита.

Александр ЯКОВЛЕВ



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209;

для Российской Федерации (годовая подписка) — 72375.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
[www. Gazety.ru](http://www.Gazety.ru)

В первом полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 39 руб. 50 коп.;

для подписчиков стран СНГ — 53 руб. 50 коп.;

годовая подписка (для подписчиков РФ) — 474 рубля
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28;

«Эйдос» — Старосадский пер., 9.

Читайте в следующем номере:

ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ
ИГРЫ ПИСАТЕЛЕЙ
(НЕИЗДААННЫЙ БОМАРШЕ)

«Режим казался вечным. И никогда так не был близок к гибели.

Ангел уже вострубил. И скоро разрушится величайший трон в Европе. Восемь веков монархии — великого опекуна нации — заканчивались. Нация выросла. Она решила жить без Пастырей — королей.

Революция. И плоть человеческая станет прозрачней в огне и крови. И в безвестную яму будет брошена жертва грядущему, прекраснейшая плоть галантного века,— Королева. И варварский обряд похорон жертв гильотины: между раздвинутыми ногами обезглавленной красавицы положат самую красивую голову Европы».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2001 году

«Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Дмитрий БОБЫШЕВ. **Я здесь.** Фрагменты из книги.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**

Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Далее везде.**

Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**

Давид МАРКИШ. **Рыжий.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Тайная история творений.** Рассказы, эссе.

Олег ПАВЛОВ. **Вольная проза.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни.**

Эдвард РАДЗИНСКИЙ. **Игры писателей.** (Неизданный Бомарше)

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Бессмертный.** Повесть.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Продолжение новой книги.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭПЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, писатели Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ, Александр ЯКОВЛЕВ.